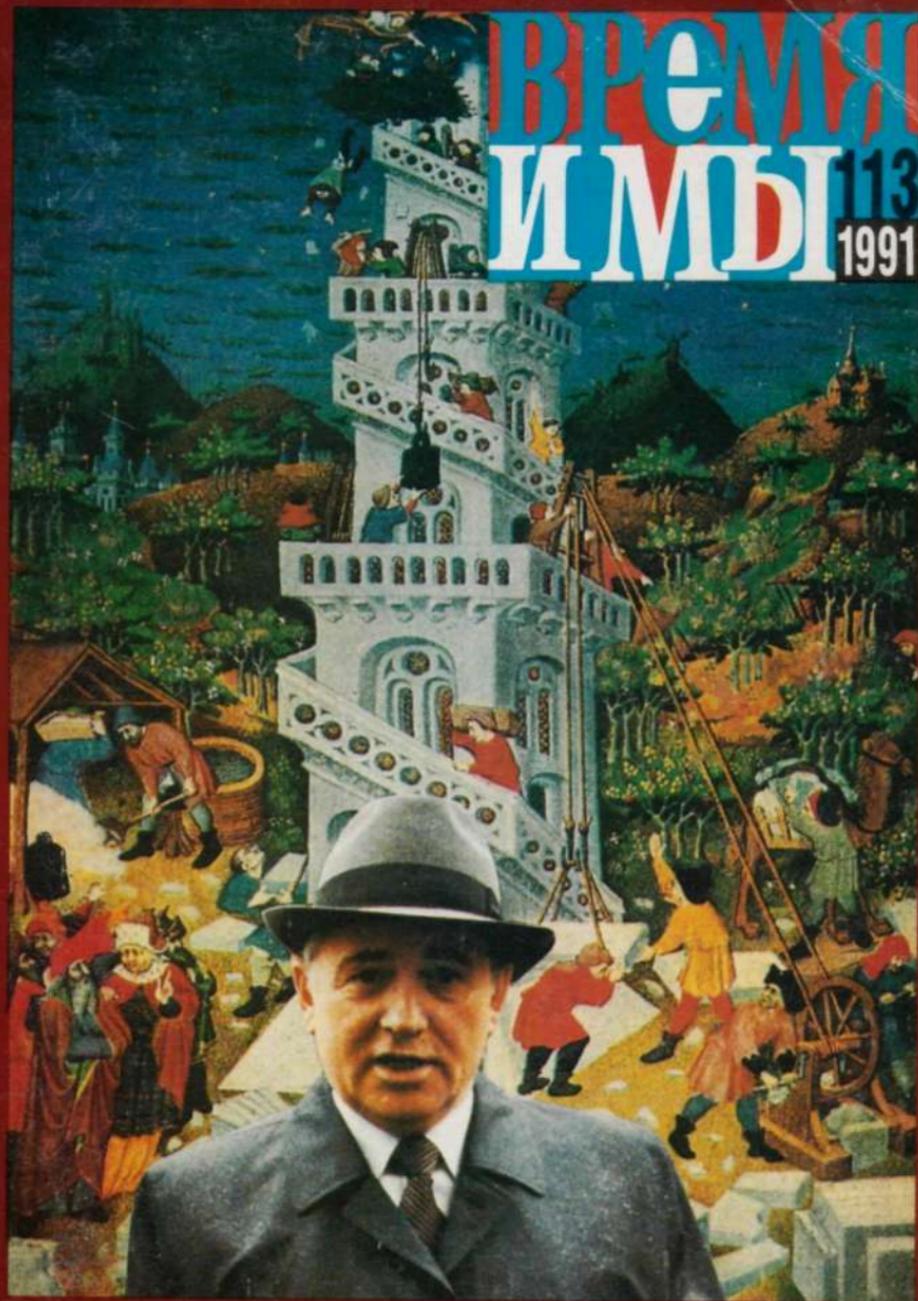


ВРЕМЯ
И МЫ 113
1991



перестройка
вавилонской башни

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Семнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

113
1991

НЬЮ-ЙОРК,

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВРЕМЯ И МЫ“, 1991

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Представитель журнала в Москве
Андрей Колесников
121433, Москва,
Малая Филевская ул., д. 54, кв. 4
Тел.: 146-36-16

Израильское отделение журнала „Время и мы”
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала „Время и мы”
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Manama Shmargon, Shlobstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зиновий ЗИНИК
Дорога домой. 5
Андрей КУТЕРНИЦКИЙ
Без любви. 54

ПОЭЗИЯ

Елена АКСЕЛЬРОД
На языке родном. 70
Михаил КРЕПС
Природу пробуем на вкус. 79
Леопольд ЭПШТЕЙН
Хрестоматийный снег. 88

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Лев АННИНСКИЙ
И как с ней бороться? 94
Андрей КОЛЕСНИКОВ
Пресса партийного будуара. 105
Юрий АЙХЕНВАЛЬД
Как убивали „Дракона”. 121
Ю. КАГАН
Феномен Розанова. 140

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В. ЛЕМПОРТ
Эллипсы судьбы. 159
Яков СИМКИН
Богров и Столыпин 186

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

„Революционер, трибун, бизнесмен”
Из переписки Л.Б. Красина. 199
Письма Ирины Михайловой. 234
Заседание перед убийством. 257

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Э. ШТЕЙН
„Не бейте меня, я лежачий!”. 274

ПРОЗА



Зиновий ЗИНИК

ДОРОГА ДОМОЙ

В загородный дом, то есть по-русски, на дачу к приятелям, опять не поехали. Лена из-за этого проплакала всю ночь, а он ходил в одних трусах по комнате, громоздкий и бесформенный в свете ночника, тряс голым животом и кричал ей что-то резкое про то, что он не виноват, если у него есть отец и что отец его советский человек, и, следовательно, сроки его визита в Лондон зависят от советских билетных касс и энтузиазма народных масс: билет ему выдали неделей раньше. Опять были виноваты кассы и массы. Всю жизнь он перекладывал вину на чужие плечи. Сваливал вину на других. Уклонялся от ответственности. (Как всякий малопрофессиональный переводчик, он не мог остановиться на одной какой-нибудь версии сказанной фразы.) Жизнь была невыносимой обязанностью, вынужденным старым обещанием выполнить чужую просьбу, причем известно, что просьба невыполнимая, но обещание дал, и тебе все время напоминают, звонят

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© „Время и мы”
ISSN 0737-7061

по телефону: когда? скоро ли? долго ли еще осталось? Остается изобретательно врать. Чего они все от него хотят? И кто - они? Отец, железнодорожное расписание, Россия, Лена, галстук? Галстук никак не завязывался, и короткий конец выходил длинным торчащим хвостом. Ему уже сорок пять, а он все еще увивает от обязанностей, как нерадивый школьник. „Оставь меня, я и так опаздываю”, - отмахивался он утром от продолжения разговора.

„Никто тебя не держит. Мог бы и не опаздывать на первую встречу после пятнадцати лет разлуки”, - пробурчала Лена. Было нечто анекдотическое и неправдоподобное в ее строгом тоне: школьница выговаривала завучу за дурное поведение и нерадивое отношение к собственным обязанностям. Она была младше его на четверть века. Она годилась ему в дочери. Чтобы как-то скрыть от самого себя эту разницу в возрасте, он корежил ее настоящее имя и называл ее разными прозвищами, вроде: Ленкин. Или Леннон. А иногда прямо „мой Ленин, мои Ленские прииски, мой Ленский расстрел”. В кругу приятелей, отчасти бравируя разницей в возрасте, отчасти в замешательстве от нелепости их отношений, он называл ее „моя Лолита”, а когда оказывался в незнакомой компании, представлял ее, знакомясь, как свою студентку. (Она действительно ходила к нему на занятия разговорного русского, когда он одно время подрабатывал почасовиком в университете, подменяя заболевшего преподавателя на отделении славистики.) Она наблюдала в полглаза, как Алек суетился перед зеркальной дверцей шкафа у кровати. „Какая разница в каком галстуке ты перед ним предстанешь?”

Она уже обвиняет его в неправильном поведении по отношению к отцу. Знала бы она насчет папашиных жизненных установок. Он сразу почувствовал: она уже встала на сторону отца. Впрочем, неправда: она вообще восторженное существо. Наивняк. Она с тихим восторгом и обидчивым энту-

зиазмом относилась равно и к Биг Бену и Спасской башне. Он упорно пытался перевоспитать ее дебильное отношение к России - Россию она путала с английской загородной местностью: коровы, закаты, цветочки. Ее привезли на Запад ее родители, когда она была еще школьницей младших классов и не успела открыть в себе дарвинистского инстинкта зоологической ненависти ко всему советскому. Она любила и город и деревню, он же мог существовать лишь в мрачных колодцах каменных джунглей, пропитанных бензином и потом человеческого труда. Она любила и то и это, и прошлое и будущее, а он не любил, в общем-то, никого и ничего, за исключением, пожалуй, нескольких обрывочных воспоминаний о своих запутанных отношениях сентиментального порядка в московском прошлом. Его связь с ней была, таким образом, его единственным проявлением любви к человечеству. Она была его сердцем и совестью. То есть он мог спокойно без нее обойтись. С ее скособоченными мозгами, как она будет жить, если он вдруг отдаст концы? Без цели и смысла. А разве нужны обязательно цель и смысл? Короткий конец галстука опять оказался длиннее длинного и пришлось снова перевязывать. Сейчас ей не нравился его галстук. Какая ей разница: все равно в ее глазах он будет выглядеть старым дураком. Старый дурак должен ходить в галстуке.

„Я принципиально в галстуке. Потому что он всю жизнь третировал меня за неряшливость. Пионерский галстук в чернилах. Брюки неглаженные. Пусть теперь видит, что я без него и без его паршивой советской родины хожу прилично одетый”. Алек отбросил, наконец, незавязывающийся галстук и сменил его на другой - в горошек. „Ленин такой носил. Ленкин, ты про Ленина слыхала? Ты еще маленькая, не помнишь: галстук в горошек носил дедушка Ленин. На отца произведет впечатление”. Твидовый пиджак отношения к Ленину не имел, но надет был с той же целью: произвести на отца впечатление. Лена недоуменно пожала плечами.

Это был один из тех августовских сереньких дней в Лондоне, когда пасмурность не сулит дождя, а лишь лицемерно скрывает духоту. Но Алек предпочитал делать вид, что облачность знаменует чуть ли не начало осени, и потому есть возможность вырядиться перед встречей с отцом в униформу английского мелкопоместного дворянина: не только твидовый пиджак, но и вельветовые брюки и даже жилетка (и еще крокетные туфли резной кожи). Лена отметила, как покраснела его шея и лысеющий затылок под клочковатой порослью седеющих волос, когда он затянул удавку ленинского галстука.

„Тебе давно пора шею побрить“, - сказала она так, как будто имела в виду: „шею намылить“. Алек бросил ответный взгляд на ее отражение в дверном зеркале - как будто с потусторонней или, точнее, остраниченной, скажем, отцовской точки зрения - на ее постпанковый ежик на голове. Он посчитал бы ее просто нечесанной спросонья, если бы не отметил этого нового головного вывиха еще вчера вечером.

Отец, с его мещанскими замашками партийного лицемера, - что он скажет, увидев это существо? С такой прической ее вообще могли принять за мальчика. Эта современная тенденция к бесполости. Еще недавно она хоть отчасти напоминала женщину. Правда, волосы на голове были перепутаны, как будто после урагана, свалившего в прошлом году могучие дубы Альбиона. По своим устрашающим результатам этот ураганный хаос соперничал разве что с ералашем бесконечных юбок и жилеток лондонских барахолок: кружева из-под крепдешина, крепдешин из-под вельвета, вельвет из-под бархата, бархат из-под замши - под перезвон и бряцанье браслетов и ожерелий. Это была если не роскошь, то по крайней мере безответственная пародия на изыск. На днях, однако, произошла метаморфоза. Лена явилась стриженная под полубокс. Алек сказал ей, что так их стригли перед при-

емом в пионеры и стоило ли так далеко ехать, чтобы снова изображать из себя заключенных с бритыми затылками. Барокко уступило площадку концептуальному минимализму. Юбки уступили место джинсам. С дырками. Алек не верил своим глазам. Протертые до дыр джинсы. Рваные дырки, как будто в результате изношенности, зияли на самых видных местах. Прекрасные дорогие джинсы - в Москве за такие голову оторвут - взяли и разодрали в самых видных местах. Но все ради чего? В знак протеста против материализма и монетаризма. Типичные настроения среди ее поколения: высокоморальное позерство и показной пуританизм.

Забывается при этом, что эти дырявые символы протеста стоят не дешевле полосатого костюма приличного клерка из Сити. Как она умеет разбазаривать деньги: уверена, что обязательно кто-то выручит; ему всю жизнь приходилось зарабатывать свой ежедневный паек - день за днем, без продыха. Она вот уже год берет у него деньги, делая вид, что взаимны. Он больше не может позволить себе подобную экстравагантность. Он себе не мог позволить самый дешевый „Амстрад“ с русским принтером, а у него завал архивов, он должен, в конце концов, перепечатать весь этот хаос и навести ясность в своем прошлом за сорок пять лет, без „Амстрада“ не разберешься: его запутанная сложная жизнь, его переписка, его переводы, его мысли, им всем наплевать, никто не пожалеет, никто не хочет признать, что у него тоже право на заслуженный душевный отдых. Он всю жизнь совершал поступки, за всех переживал и думал за других. Ему хочется немного покоя и ласки для себя. Вот именно: покой и воля. Давно усталый раб. Слишком давно и слишком усталый, чтобы оценить покой, а тем более - волю. Остается глядеть на дырявые джинсы. Дырка была и сзади, прямо под ягодницей, и тут никаких колготок с рейтузами не проглядывало, а сияла ягодница. Алек открыл рот, облизнул пересохшие губы, промычал, но ничего не сказал. Впрочем, при всей

миниатюрности, ее выдающийся во всех отношениях зад выдавал ее с головой. „Зад выдавал с головой: интересный словооборот“, - усмехнулся он про себя. Что она, интересно, всем этим хочет сказать? Чего она вообще в нем, старом дураке, нашла?

„Ты не хочешь слегка привести себя в порядок перед приездом отца? Я имею в виду слегка, например, подкраситься?“ - пояснил он, заметив, как потемнел от возмущения ее взгляд. В самом повторе этих его „слегка“, в самой манере повторять слова, когда он нервничал, она слышала его диктующую настойчивость, почти диктаторскую настырность.

„Зачем?“ Ее губы сжались в детской гримасе упрямства.

„Ради отца. Знаешь, они любят, в его поколении, чтобы, знаешь, женщина выглядела празднично: юбка, капрон, туфли на высоких каблуках, губы, знаешь. Пусть думает, что у нас все в порядке. Я же ничего особенного не прошу“. Он решил не упоминать дыр на самых непотребных местах. Она, сосредоточенно нахмутив брови, вслушивалась в его невнятные конструкции.

„Накрасить губы, по-твоему, значит все в порядке?“ И тут ее осенила неожиданная догадка: „Ты меня стесняешься? Да? Тебе неприятно показываться со мной на людях, перед отцом, да? Ты скверный человек. У тебя вредные мысли в голове, малыш. Я вообще могу уйти, чтобы у тебя с отцом все было в порядке“. Губы у нее задрожали. Он ожидал, что в ушах сейчас раздастся душераздирающий вопль, потом тихий всхлип, переходящий в безостановочное рыдание, подростковую истерику, с кусанием ногтей, топаньем ногами, битьем головой об стенку. Он вздернул в жесте беспомощности на мгновение руки в воздух, сдаваясь без сопротивления, затыкая уши, зажмурив глаза, как будто готовясь к бомбежке с воздуха. Он не видел, как она вылетела в коридор. Вместо истерических воплей он услышал, как с грохотом захлопнулась входная дверь. Снова из-за отца ему приходится вы-

бирать, с кем и когда общаться. Он бросился за ней вдогонку, но рывок этот был не слишком энергичным, как будто он наполовину надеялся, что она уже успела забежать за поворот и скрыться. Как всегда, он и сейчас сделал невероятное усилие по достижению цели лишь тогда, когда стало совершенно ясно, что добиваться чего-либо слишком поздно или совершенно бесполезно: когда дело заранее было обречено на провал.

Всю дорогу на пути к Ливерпульскому вокзалу колеса надземки и подземки выстукивали все те же строки, засевшие с утра в голове: „Что же сделал я за пакость, я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать...“ Дальше он не помнил, что за пакость этот поэт, и он сам заодно в конечном счете сделал, кроме того, что заставил плакать весь мир, а вот над чем - трудно вспомнить. Просто: весь мир заставил плакать. Этого вполне достаточно. Пот, соленый пот бессмысленного, бездарного и неблагодарного физического усилия капал с бровей на щеки, пот, а не слезы. От духоты и нервного напряжения он обливался потом до такой степени, что, казалось, твидовая шкура на спине между лопаток взмокла и залоснилась, как у загнанного зверя. Мучительный маскарад оказался, однако, напрасным: на отце тоже красовался твидовый пиджак и даже аналогичные вельветовые брюки. Эту аналогичность его вида Алек воспринял как алогичность миража. Он выплывал из парилки вокзальной толкотни как искаженное отражение самого Алека - со сдвигом во времени в выщербленном потускневшем зеркале, как из соседней комнаты, отделенной тонкой перегородкой в пятнадцать лет. И лысина побольше, и патлы все до единого волоска седые, и животик сильнее нависает над ремнем, и общая скособоченность раздутой фигуры заметней - но Алек узнавал себя в каждой детали: карикатурность самопародии, вплоть до твидового пиджака.

„Ты где это пиджак такой отхватил?“ - поинтересовался

Алек, потеревшись формально щекой об отцовские губы. Намеренная фамильярность тона была попыткой придать встрече атмосферу необязательности, как будто они только вчера расстались. Отец глядел на него пристально, не мигая: то ли вот-вот расплачется, то ли завопит от ужаса, как будто на него замахнулись и сейчас очень сильно и больно ударят по лицу.

„Да у нас, знаешь, тоже производят такие пиджаки, - ответил папаша, выдохнув из своих легких сдавленную паузу. - В Прибалтике кооперативщики откуда-то берут. Мне достали. Чего это у тебя такая скептическая ухмылочка?“

„Ну, во-первых, Прибалтика - это не у вас, а в Прибалтике; а во-вторых, твид, конечно, не тот“, - пробормотал Алек, пощупав пиджачный ворс.

„Чего же в нем такого не того?“

„Да это не твид. Это подделка. Через месяц твой пиджак в тряпку превратится“.

„Ну а у тебя, твид этот, что же? Натуральный? - он осторожно, как будто до оголенного провода, дотронулся до Алекиного рукава. - На вид-то твой твид ничем не лучше“.

„Вид, может, и тот же. Твид другой. Но ты в этом пока ничего не понимаешь“.

„Ну вот, опять я, видишь ли, ничего не понимаю. Помнишь в детстве мой синий пиджак? Мы с мамой тебе из него еще форму школьную скроили“. Буквально с первой же секунды встречи он стал предаваться воспоминаниям. „А знаешь, откуда этот пиджак? Это был мой первый пиджак. После окончания университета. Это когда отец - ты помнишь дедушку, аптекаря? - когда отец съездил в командировку, в Прибалтику опять же, между прочим - он там медикаменты закупал для Советского правительства, если не ошибаюсь - и привез вот мне костюм. Синего сукна. Помнишь?“

„Так в чем история? Ну пиджак, да, а дальше что?“ - раздраженно спросил Алек.

„Чего дальше? Куда дальше? Я же тебе объяснил, откуда

у меня первый пиджак появился, синего цвета, суконный“.

„Ну и что? Пиджак. Причем тут пиджак? Ничего не понимаю“. Он нервным жестом запустил пятерню в свои редкие седоватые клочья на голове, зачесывая их назад и вбок и инстинктивно пытаясь скрыть наметившиеся проплешины.

„Опять ты ничего не понимаешь. Я тебе рассказываю, откуда взялась твоя первая школьная форма. А ты ничего не понимаешь“.

Алек в ответ раздраженно передернул плечами. В этой, как и во всех вообще отцовских историях, была лишь видимость логики и связанности, сродни гоголевской шинели и тришкиному кафтану. Цель тут оправдывала средства - выдумать некую семейную легенду, создать атмосферу родственной близости. Это и было для Алека самым чудовищным в этом визите: отец будет предаваться воспоминаниям и требовать эмоциональной солидарности.

„Чего мы здесь стоим?“ - проговорил Алек, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони, как бы отменяя эту жалкую отцовскую попытку реабилитировать общее с сыном прошлое.

„Я не знаю, чего мы здесь стоим. Тебе знать, куда тут в Лондоне идти. Ты тут лондонец. Тут у вас вокзал размером с город. У нас, правда, тоже сейчас транспортная система расширяется. Много новых станций метро. Но тут, как у нас говорят, без поллитры не разберешься“.

„Потому что надо стоять и ждать там, где договорились. Я же сказал: сойдешь с поезда и жди на платформе. Я же ясно тебе сказал. Чего ты поперся в зал ожидания?“

Выходя из дома, он заранее знал, что опоздает. Но, проявляя маниакальное упрямство, ни шагу (в прямом и переносном смысле) не предпринял, чтобы предотвратить опоздание. Он поступал как будто себе назло, вопреки собственной осведомленности и дальновидности, исходя из некой затверженной изначально идеи: его мышление было примером субъек-

тивного идеализма. Он вышел на четверть часа позже, чем надо, и, зная, что опаздывает, шел тем не менее прогулочным шагом, а издали заслышав шум подходящего поезда, не бросился сломя голову вперед к станции, как все остальные, шедшие рядом. На протяжении десяти лет он убеждал себя и других, что от его дома до центра города (вокзал Чаринг Кросс) - двадцать минут езды, поскольку всего четыре остановки. Не учитывалось ни крайне сбивчатое расписание пригородных поездов, ни тот факт, что до станции надо было идти добрых четверть часа - короче, на всю дорогу уходило не двадцать минут, а минимум сорок. Он не мог смириться с мыслью, что он, коренной москвич, оказался в далеком захудалом лондонском пригороде. У черта на куличках. Все тут было не так: мелкие дома, вереницей вдоль бесконечной улицы, лавки и магазинчики с запыленными витринами. А главное, этот деревенский принцип застройки, с задними дворами, садами и околицами, - вместо полагающихся городу каменных джунглей какая-то зелень везде кругом.

Он взмок не столько от жары, сколько от попытки сделать вид, что он никуда не спешит, что он, можно сказать, уже там, куда заурядным жителям надо было тащиться не меньше часа. Вопреки очевидной пригородной сущности этого района, Алек считал себя лондонцем. Его бесило, что поезда в центр города называются поездами „на Лондон“; он, получается, живет вне Лондона, что ли? Эта депрессивная английская тенденция к самоизоляции: мой дом - моя крепость, мой район - моя вотчина, катитесь в свой Лондон, если не нравится. И еще эти паршивые профсоюзы: отказываются кооперироваться с работниками метро, и в результате по рельсам тут грохочут поезда прошлого века. Каждый тут хочет быть самостоятельной державой, совершенно распустились тут со своими пролетарскими идеалами. Он взмок от злости на самого себя. Каким таким образом другие советские эмигранты ухитрились поселиться в самом центре, при-

чем практически бесплатно? Выдавали себя за политбеженцев. За аристократов, нищих поэтов и православных. Всегда найдется община, готовая поддержать тебя материально, если только ты декларируешь партийность своей духовности - то есть готовность считать себя жертвой реакционных сил, материализовавшихся в какой-нибудь незамысловатой политической доктрине. Алек никак не мог решить, жертвой какой доктрины он готов себя считать. Поэтому ему приходилось постоянно суетиться. Работать. Человек, лишенный веры в Бога, вынужден работать на чужого господина. Наказание за леность ума, лишнего руководителя. Он уже забыл или всегда плохо понимал, зачем он, собственно, эмигрировал из столичной Москвы в этот лондонский пригород?

В ожидании поезда-надземки (он упорно называл пригородные поезда надземкой, чтобы приблизить их к категории метро - подземки) на заплеванной пустынной платформе он услышал, как над крышами за станцией прокукарекал петух. В этом кукареканье было ностальгическое эхо русской деревни посреди убогого английского ландшафта. Это было нечто вроде звукового миража, и если он принял это кукареканье за нечто натуральное и само собой разумеющееся, значит, он впал в хроническое безумие. Его грузное тело еще более отяжелело. Петух не вязался с городом. Навес над платформой, отороченный деревянной ажурной бахромой наличников, стал походить в этот момент на дачное крыльцо. Рифленая железная крыша склада за пыльными купами деревьев у заброшенной железнодорожной ветки, где репейник с лопухами пробивались сквозь шпалы, до тошнотворного головокружения напомнила пыльные пригороды вокруг дачного Болшево, куда его каждое лето таскали родители, разлучая с друзьями-приятелями по московскому двору. Интересно, куда отправилась Лена? Неужели ему придется развлекать отца весь месяц самостоятельно?

Видимо, этот нахлынувший образ ненавистного дачного поселка и был виною тому, что он сел не на тот поезд. Поезда доезжали до одного из трех вокзалов, в зависимости от маршрутов, и он попал не на Чаринг-Кроссную линию, а на поезд к вокзалу Виктория. Заметил он, что двигается явно не в том направлении, когда поезд стал пересекать Темзу не по тому мосту, - в эти моменты продвижения к другому берегу сердце всегда глупо сжималось, как перед экзаменом: экзаменом отъезда, прощания, другой жизни. От Виктории до Ливерпульского вокзала добираться было так же долго и мучительно, как до другого города. Кроме того, хотя он и считал себя кореным лондонцем, в районе Ливерпульского вокзала он бывал лишь считанные разы, и его вполне сносное знание городских маршрутов кончалось где-то на Флит-стрит.

Как назло весь этот непрезентабельный вокзальный район, примыкающий к Сити, перестраивался и превращался на глазах в фантастические, прозрачные небоскребы и висячие сады Семирамиды, где все в строительных лесах стрелки и указатели путались перед глазами. Он, короче, опоздал минут на сорок. Впрочем, он был искренне уверен, что поезд все равно непременно опоздает - как-никак на той стороне Ламанша к нему прицеплялись советские вагоны, а какой советский поезд не опаздывает? Но именно этот, „отцовский“ поезд почему-то не опоздал. Сказалась отцовская железная дисциплина? Однако перед выходом с платформы, где было договорено встретиться, никого не было. После нервного ожидания, долгой беготни, бессмысленных объявлений по радио Алек нашел его в зале ожидания. Он уютно устроился на чемодане у колонны и сосредоточенно изучал карту Лондона. „Чего ты поперся в зал ожидания?“ - повторил Алек.

„Где ж человеку еще ждать, кроме как в зале ожидания, если тебя нет?“

„Пошли отсюда“, - резко бросил сын и, подхватив тяжеленный отцовский чемодан, направился к выходу. Точнее, ту-

да, куда вроде бы указывала стрелка со словом „выход“. Стрелка, однако, как всегда в этой стране, висела косо. Через несколько шагов они уперлись в какой-то барьер: за ним двое рабочих запугивали публику пулеметной очередью отбойного молотка. Строительный грохот всегда отождествлялся у Алека в уме с Раскольниковым - со стуком рабочих за окном в знойный полдень - хотя Алек пока вроде бы никого не убил. Еще одна стрелка с названиями улиц указывала на лестничный переход, нависающий над железнодорожным расписанием. „Вокзал XXI века“, - зачитал Алек вслух строительный лозунг отцу, как бы реабилитируя в его глазах и чудовищную пыль с сутолокой вокруг, и одновременно свою неспособность найти выход. Вокзал, действительно!

Чемодан бился о ступеньки переходов, Алек задыхался астматически (материнская наследственность), но от протянутой руки отца - подхватить чемодан с другой стороны - отказался. Тот трусил позади, слегка отставая, ошарашенно оглядываясь по сторонам.

„У нас тоже сейчас многое перестраивается“, - пробормотал он, стараясь не упустить в толкучке твидовой, такой незнакомой спины сына. С чемоданчиками-дипломатами и зонтиками в руке, с газетами под мышкой вокруг них сновали полохатые пиджаки клерков, исчезая в загадочных провалах и за фанерными перегородками, в подземных туннелях и навесных переходах. Но чем дальше они с отцом продвигались, следуя указателям, тем запутанней становились география и геометрия происходящего. Мелькнул слева полуотделанный торговый Пассаж, загипнотизировавший отца своим синтетическим сиянием, но Алек потащил его дальше по этажам и переходам, сквозь этот строительный многоэтажный Вавилон.

„Помнишь, мы с площади трех вокзалов на дачу ездили: тоже не продерешься“. Отец явно старался замаять замеша-

тельство сына: мол, мы привыкли к переделкам, особенно если вспомнить московский вокзал. Не хватало только воспоминаний о ненавистном дачном детстве. Галстук давил удавкой. Он сначала ослабил узел, а потом и вовсе сдернул его, скомкал и сунул галстук в карман: хватит, мол, строить из себя английского джентльмена, отец, все равно не оценит. Откуда-то справа врезался в висок детский истерический визг.

„Как у вас здесь с детишками обращаются“, - услышал он из-за спины недоумевающий сиплый отцовский баритон. От этой отцовской фразы Алек опустил чемодан оторопело. На асфальтовой плешке рядом с киоском благим матом орал ребенок. Он топал ногами в спустившихся белых носочках. Он шмыгал сопливым носом, его губы и щеки были перемазаны шоколадной плиткой „Марс-бар“, таявшей в его сжатом кулачке. Мамаша стояла рядом с коляской, с еще одним младенцем на руках, переворачивая в коляске то ли мокрые пеленки, то ли одеяло. Одновременно она дымилла сигаретой, жевала жвачку и материла своего сына в спущенных носках. Ей самой было не больше двадцати. В ней была лихость, раздрыганность и одновременно убожество человека, живущего по безналичному расчету, без гроша в кармане - на талоны, за счет чужой благотворительности, но благотворительности анонимной, безличной, государственной. В ее одежде, тряпках, блузке и юбке, в колерах - от бледно-розового до бледно-салатового - была вульгарная надежда на что-то светленькое и радостное, на некую общедоступность положительных эмоций, социалистическое равноправие счастья. В их лицах - и мамашин, и сыночка, и младенца - была болезненная бледность, не то что бы нездоровая, а какая-то, вызванная недостатком солнца ввиду его полной ненужности. Замызганный сынок снова заорал, после мгновенной передышки, и мамаша, переместив сигарету из правого угла губ в левый, размахнулась и отвесила ему оплеуху.

„Жестоко у вас здесь с детишками обращаются“, - повто-

рил отец, скорбно и с укором покачав головой.

„Почему все во множественном числе? У вас... с детишками... Чего ты обобщаешь? Какая-то недоделанная алкогольчика дала по мордасам своему ублюдку, и ты уже делаешь вывод об отношении к детям у английской нации“, - пробурчал Алек, хотя сам не упускал случая пройтись насчет, скажем, английской любви к домашним животным и параллельной тенденции отучить и отлучить детей от домашней любви школами-интернатами, розгами и доносами, когда они месяцами не видят родительских лиц. В памяти как бы сердечной спазмой мгновенной тоски промелькнула асфальтовая площадка перед учреждением, где сгрудились дети в коротких штанишках с вещевыми мешками в нервных объятиях матерей перед отправкой в пионерский лагерь; или нет, еще острее и тоскливей: переход через рельсы у края дачной платформы, когда уже виден несущийся справа гудящий паровоз и никак не можешь решить - шагнуть на другую сторону или все же не рисковать? В этот момент он, видимо, и потерял направление окончательно. Вместо автобусных остановок и стоянки такси они вышли с отцом на вокзальные задворки.

Он опустил чемодан на замусоренный асфальт, отер пот со лба рукой и оглянулся вокруг в замешательстве. Он никак не мог сообразить, в какой части привокзальной территории они оказались: то ли потому, что вообще никогда сюда не попадал, то ли из-за того, что знакомые места изуродовал до неузнаваемости бульдозер перестройки. Пред ними простирался пустырь с руинами и перекорезанным, как после бомбежки, навесом в углу, где громоздились ржавые помойные баки. Из-за строительного забора слева уже нависала постмодернистская конструкция из голубого зеркального стекла, отороченного арками с башенками; но и это незаконченное здание гляделось как мираж или руины - марсианские руины. „В реконструкции участвуют лучшие архитекторы мира, между прочим“, - начал было Алек тоном профессионального гида,

блуждая взглядом по пустырю. Развалины слева походили, наоборот, на римский акведук, а может быть, это была заброшенная ветка викторианского железнодорожного перегона, вздыбленного мощными арками над землей. Тюремным двором замыкали пустырь глухие кирпичные стены заброшенных зданий - прямо-таки взятая штурмом и разграбленная крепость.

Трущобы всегда вызывали у него чувство сладкой тревоги своей скользкой рифмовкой с прошлым - плохо поддающимся расшифровке повтором в памяти. Перед глазами снова промелькнула асфальтовая плешка с детишками перед отправкой в лагерь, или это были бараки общежития у разрушенных гаражей, где они с подростковым ожесточением убивали бродячих кошек у помойных баков и дразнили алкоголиков-инвалидов, распивавших прямо на мусорной куче. Но это было не просто случайное эхо: в этом повторе, угаданном памятью, им ощущался некий эпохальный сдвиг по времени, догадка, дарованная ему побегом в лондонское существование, о другом мире, неведомом, закрытом прочно для отца, для всех оттуда, из его советского прошлого. Отец потянул его за рукав: куча мусора и тряпья на голой земле шевельнулась и оказалась троицей дремлющих побродяжек, алкашей-доходяг, сгрудившихся среди пустых бутылок сидра вокруг ржавой железной бочки-чана с тлеющими углями. Тут жгли помойку, и от дыма исходил сладковатый запах.

Еще одним повтором, как будто заранее отрепетированным сюрпризом, от кучи отделился ханыга в темных очках фальшивого слепого и в шляпе российского нигилиста-шестидесятника. Алек еле избавился от него четверть часа назад у входа на вокзал: он имел глупость задержаться взглядом на этой экзотической фигуре нищего, и тот поплелся за ним с протянутой рукой, бормоча нечто витиеватое про алтарь гуманизма. Алек ничего ему не дал принципиально. Подать такому милостыню - значит признать право на подоб-

ное существование: без забот и без любви, привольно наклюкавшись, глядеть на звезды из канавы. Именно этот род занятий и лелеял тайно в душе Алек, но никогда себе в этом не признавался, ведь привольную жизнь в канаве можно было бы вести и при Советской власти, никуда не уезжая. Подобной мысли он себе позволить не мог.

„Ваше скромное пожертвование, сэр, на алтарь гуманизма не останется не замеченным в глазах благодарного человечества. Сэр”, - продекламировал ханыга в очках русского нигилиста, как будто гаерничая.

„Я уже пожертвовал”, - соврал Алек, отстраняясь от протянутой ладони.

„Я тебе советую говорить с ним по-русски: он поймет, что мы иностранцы и отстанет”, - сказал Алек отцу, но бродяга сделал еще один шаг навстречу Алеку с теми же „пожертвованиями на алтарь гуманизма”.

„Он, по-моему, глухой”, - пробормотал отец.

„Пусть купит себе слуховой аппарат. У нас бесплатное медицинское обслуживание”, - пробормотал Алек раздраженно и, подхватив чемодан, устремился к проему в стене, туда, где намечались признаки городской жизни. Отец замешкался, и Алек, через плечо, видел, как тот сунул бродяге мелочь в протянутую ладонь „на алтарь гуманизма”. Издалека отец казался совершенно одной с ним комплекции. Но с годами Алек разрастался, разбухал, как бы обрастая плотью, как перестоявшее тесто из кастрюли, в то время как отец сморщивался, усыхая.

„До чего здесь людей доводят”, - покачал отец скорбно головой, нагнав Алека, похожий в этот момент на загрустившего бизона. Никакого нет резона у себя держать бизона. Алек никак не мог вспомнить изначального импульса, заставившего его полгода назад послать приглашение отцу.

„Кто доводит? - раздраженно переспросил Алек, одновременно пытаясь и найти веское возражение, и отыскать вы-

ход из тупиков и закоулков. - Никто их не доводит. Они сами себя доводят. Это алкоголики, а не отчаявшаяся беднота, как в Советском Союзе. То есть они - нищие, но не потому, что жрать не на что, а потому что не хотят работать". Он стал энергично объяснять отцу про различные службы благотворительности, про Армию Спасения и вообще о заботе государства, о налоговой системе. „Их пытаются затащить в разные приюты, но они как только оклемаются, тут же бегут обратно, на тротуары. Им совершенно бесполезно помогать, но им помогают. Зимой горячий суп развозят”.

„Да ты не волнуйся. Я же не тебя обвиняю. Я вообще говорю. Какие-то они здесь у вас отверженные, прямо как из Виктора Гюго. У нас тоже нищие появились, погорельцы всякие, после войны особенно. Но вид у них не был такой отверженный”.

„Отверженные, тоже скажешь! Никакие они не униженные и оскорбленные. Они бродяжничают, можно сказать, из принципа, а не по необходимости”.

„Из принципа-то, может, и из принципа. Но до какого же состояния нужно дойти, чтобы держаться таких принципов? Я всегда мелочь даю. И пусть проплет. Из принципа или еще как. Помнишь, в наших пригородных поездах инвалидов с аккордеоном? Стоит на одной ноге с костылем, понимаешь ли, качается от водки, горланит под аккордеон, свободно так, - и отец, встав посреди улицы, расставив руки, запел: „Товарищ, я вахты не в силах стоять, - сказал кочегар кочегару...”

„Чего ты тут раскочегарился”, - зашикал на него Алек, утягивая его за собой к автобусной остановке. Он вспомнил ненавистную подмосковную электричку - раскаленную летним зноем металлическую коробку армейских колеров, набитую человечинной. Он, мальчишка, стоит, зажатый в проходе между деревянными лавками, созерцая из-под низу прыщавые подбородки, волосатые потные животы из-под расстегнутых рубашек. Его увозят из Москвы, от друзей, в

летнюю скуку с поломанным трехколесным велосипедом, пустой дачной платформой (мама опять не приехала) и комарами.

Отцовские принципы. Его благородные принципы. Он мать довел своими принципами, чтобы порядок в доме и каждое лето на дачу. Алек с прежней, как будто впавшей в детство тоской вспомнил свой вчерашний скандал с Леной по поводу поездки за город. Что ему с ней делать? Что делать без нее? Они уже полчаса толкутся по лондонским закоулкам вокруг вокзала, а отец не задал ни одного существенного вопроса, не спросил его, как он здесь выжил, как он тут мучается? Как его сын вообще остался жив, выброшенный за железный занавес на произвол судьбы? Про нищих рассуждать, конечно, легче. На мороженое жалел, нечего, мол, детей баловать, а бродяге посреди улицы сунул деньги публично. Эта страсть к показухе.

Именно эта мысль и заставила его двинуться к автобусной остановке - никакой похоронной шикарности запланированного черного такси: пусть отец лично познакомится с ужасами общественного транспорта. Как будто подыгрывая Алеку в его садо-мазохистских устремлениях, их с разных сторон подпирала вокзальная толпа, заносила в сторону круговерть чиновников и клерков Сити. Но отец как будто наслаждался этой сутолокой и стоял на краю тротуара у остановки, как полководец на берегу широкой реки - распрямив грудь, ноздри его шевелились в возбуждении, когда он всматривался орлиным взором в толкучку жизни на другой стороне улицы, как в свое победное будущее на поле брани.

„Ну ты смотри, смотри, что делает!” - вдруг всплеснул он руками и закачал неодобрительно головой. Он тыкал пальцем в бегущего через улицу клерка, в котелке и с зонтиком, тот был похож на циркача не только нелепостью костюма не по погоде - как будто в смертельно опасном цирковом номере клерк прыгал по краю тротуара, ухватившись за поручень открытой площадки автобуса. Так джигиты или ковбои

пытаются оседлать необъезженного бешеного жеребца, уцепившись за уздечку. В последний момент смельчак в котелке сумел подтянуться и вскочить на ступеньку площадки умчавшегося чудовища. „Солидные у вас автобусы, - принялся рассуждать отец, пронаблюдав эту уличную сцену. - Крепкая машина, ваш автобус, двухэтажная, красная. Но непонятно, куда кондуктор смотрит на все это безобразие? Я бы этому лихачу в котелке - по рукам бы, по рукам! - чтоб в следующий раз неповадно было на ходу цепляться!”

„Причем тут кондуктор?” - пробормотал Алек, отвернувшись: он не глядел на отца, делая вид, что высматривает, не появился ли из-за поворота их собственный автобус.

„Как причем кондуктор? А кто за порядок в автобусе отвечает? Кондуктор. Зачем его вообще держать, если он за порядком не следит? Это не экономно. Билеты можно и из автомата продавать. Как у нас. У нас, между прочим, идет во всех отраслях общественной жизни широкая автоматизация. Двери тут давно пора, как у нас, автоматически поставить. Разве можно с открытыми дверями разъезжать, как у вас тут? Я бы запретил”, - и он снова неодобрительно покачал головой.

„Ну да, запретить, - кивнул, стиснув зубы, Алек. - Открытые двери - на замок. Железный занавес вместо открытых дверей. День закрытых дверей”.

„Твои антисоветские шуточки - ты еще от них не отвык? Совершенно, я считаю, неуместные шуточки. Ты что, не видел, что ли, как этот лихач с риском для жизни цеплялся за поручень?”

„С риском для собственной жизни. Собственной, понимаешь? Это его собственная жизнь - он что хочет с ней, то и делает. Поступает как ему заблагорассудится. Почему он должен советоваться на этот счет с кондуктором?”

„А потому что это не только его собственная жизнь. Он и жизнь других ставит под угрозу своим разнузданным поведением. Всякий самоубийца - это угроза обществу. Уцепился

за поручень и по тротуару бежит! А если ему ребенок под ноги попадется? Или беременная женщина?”

„При чем тут дети? Какая беременная женщина?”

„Какая-нибудь. Беременная каким-нибудь ребенком. Он может сбить ее с ног, и жизнь ребеночка во чреве будет поставлена под угрозу. А если он столкнет ее с тротуара, она может попасть под колеса машины. Тогда не только жизнь ребенка, но и жизнь самой матери, знаешь ли, будет поставлена под угрозу. А шофер? Что в таком случае делать шоферу, когда ему под колеса лезет беременная женщина? Это тебе не паровоз, понимаешь ли, с Анной Карениной. Водитель тут же нажмет на тормоза. Резкая остановка. На него налетает машина сзади, в нее, в свою очередь, врезается следующая за ними и так далее. То есть тут уже получается массовое убийство - из-за полного разгильдяйства пассажира и полного наплевательства кондуктора! - Он возбудился и охрип. - Не говоря уже о смерти ребеночка в утробе”. Он отер лысину жеваным платком и расстегнул ворот рубашки, обнажив знакомую седину поросли на груди. Алек стоял пришибленный, онемев от этого нагромождения словесных ужасов.

„Вон твой слепой идет, - сказал Алек, указывая на все того же нищего в синих очках нигилиста, продвигающегося под стук палки по тротуару. - Между прочим, следуя твоей логике, он может палкой случайно ударить беременную женщину, столкнет ее с тротуара под колеса автобуса и так далее - что в результате опять же приведет к смерти многочисленных граждан этой страны, не считая, само собой, ребеночка в утробе. Что же теперь, запрещать слепым появляться на улицах? Во всем виновата чужая, так сказать, слепота?” И, довольный своей макабрической афористичностью, Алек ухмыльнулся, но, тут же смутившись, выдал свою ухмылку за радостную улыбку по поводу подошедшего накопец автобуса без дверей.

„Что ты из меня дурака делаешь, как будто я впервые анг-

лийский автобус вижу", - бурчал отец, пробираясь к месту у окошка. Он, конечно же, полез на второй этаж - не столько потому, что оттуда виднее проплывающий мимо Лондон, а из-за страсти к новым ощущениям. Дети и старики в этом смысле на одно лицо. Так ребенок, попавший в зоопарк, тут же лезет на спину верблюду. Двухэтажный автобус был верблюдом в зоопарке лондонской жизни. „Эти английские автобусы, лейленды эти ваши, они перед войной по Москве ходили. Но им, между прочим, тут же автоматических дверей понаделали, чтобы не происходило подобных безобразий, - не унимался отец. - Еще остановка, помню, была у кинотеатра „Мир“. Он раньше назывался „Труд“, но потом его в „Мир“ переименовали, уже при тебе“.

„Это где, - наморщил лоб Алек. - За Суцевским валом, что ли?“

„Не за каким не за Суцевским! Это кинотеатр „Октябрь“ был за Суцевским. А „Мир“ был рядом с Минаевским рынком“.

„Ну правильно, с Минаевским рынком. За Суцевским“.

„Минаевский рынок?! за Суцевским?! Ну, ничего ты не помнишь, ничего“, - и отец горестно замотал головой. Мимо проплывал в окне собор Св. Павла, Алек попытался сменить тему рассуждениями про архитектурный стиль Кристофера Рена, Великую чуму и Великий пожар, но отец как будто не слушал, сидел молча, ссутулившись, и глядел в окно. Алек ненавидел городскую топографию, но еще больше ненавидел скорбную отцовскую ссутуленность и молчание. Именно с такой grimасой скорби встречал отец каждый промах сына еще в детстве, когда речь шла о топографии Москвы. Отец заставлял Алека чуть ли не каждый день штудировать очередную главу дореволюционного путеводителя по Москве, а потом ходить по городу с картой, сверяя теорию с практикой. Сам он уходил на работу, а вечером устраивал экзамен на знание городских памятников. Пока все играли во дворе, Алек должен был после школы ходить по заиндевевшим от

мороза, вымершим московским улицам. Глаза смерзались от слез. Советский педагогический идиотизм с его краеведческо-историческим рвением. И вновь отец настигает его со своей скорбной grimасой экзаменатора жизненных маршрутов, но уже на втором этаже лондонского автобуса, уже на втором этаже его, Алека, бытия, где отца, по идее, вообще не должно было быть.

„Полина, между прочим, из центра переехала“, - после долгой паузы сказал отец. Автобус стоял в пробке у здания Верховного суда. Псевдоготические арки с химерами проглатывали и изрыгали адвокатов в черных мантиях. Они были похожи на служителей загробного культа - именно в тот момент, когда отец решился упомянуть еще одно имя из потустороннего московского мира.

Алек помнил скулсившееся в плаче лицо бывшей жены, когда он кричал, что больше не желает делить с Полиной коммуналку „советской судьбы“, чтоб его не схоронили по ошибке с коммунистами на кладбище одном, цитировал он ей в ажиотаже семейного спора знакомого поэта Есенина-Вольпина. Теперь он оказался в Англии, там где могила Маркса, на кладбище мирового коммунизма. Никуда от них не денешься. Если бы не плаксивые причитания Полины, он выбрался бы из Москвы, из этого топкого дачного болотца царизма, коммунизма и символизма заодно, лет на десять раньше, когда ему еще не было тридцати, когда в будущее заглядываешь, как Лена, вытянув шею, и нет резона оглядываться назад, потому что некого винить в собственном прошлом.

„Она на новую квартиру добровольно-принудительно переехала, - как ни в чем не бывало продолжал отец. - Весь дом, известное дело, под учреждения отдали. А жильцов, само собой, в новые районы. Полина, знаешь, протестовала, писала в разные инстанции. А теперь, знаешь, даже довольна. Квартира новая, светленькая. Двухкомнатная она. А рядом озеро. Зеленый такой район. Далековато, правда: на ме-

тро до конечной, а потом еще на автобусе. Но зато своя хата, как говорится, с краю. Полина, правда, тоскует по центру. Мы с ней иногда перезваниваемся, говорим о тебе. Алек кожей чувствовал, как отец шевельнулся, чтобы положить свою тяжелую руку ему на плечо. Но так и не решился. Рука дрогнула, но осталась на колене: рыжеватые волосы между костяшками пальцев - в точности как у Алека. Отец кашлянул: „Полечка, знаешь, совершенно одиноко живет. Совершенно. Я даже ей предлагал съехаться. Или вот сюда вдвоем в Лондон махнуть, вдвоем, глядишь, и не соскучишься?“

„Не соскучишься? Это ж надо!“ - повторял про себя Алек, яростно сжимая никелированный поручень сиденья напротив. Они, стало быть, едут сюда с одной заботой на уме - как бы здесь не соскучиться. Он их тут должен развлекать. Они его провожали как на тот свет, живьем хоронили. Он оказался тут как на необитаемом острове после бури: в отрепьях и уже немолодой, в руках пишущая машинка, вокзал, дождь и больше никого, ни одного знакомого лица. Он думал, что конец. Он погиб. Он был уверен, что закончит свои дни в канаве. И вот, хоронивший его человек сидит рядом с ним не в канаве, а на втором этаже автобуса, рассуждая, как бы им, приедем, не соскучиться в Лондоне. Как будто ничего не произошло. Как будто не было нужды в самоубийственном прорыве за железный занавес, да и самих тюремных ворот как будто никаких не было. Надо было просто чуть переждать, пересидеть, набравшись гордого терпения, скорбно трудясь во глубине сибирских руд или валдайских учреждений.

Лондонский автобус дернулся, оставляя, наконец, готику Верховного суда позади.

„У тебя здесь, как я понял, новая супруга завелась?“ - осторожно поинтересовался отец.

„Откуда ты это взял?“ - покосился на него Алек.

„Ниоткуда не взял. Ты же сам мне телефон прислал. На всякий пожарный. Леной звать, разве не так?“

„Она не супруга. Просто хороший друг. Своего рода ученица. Близкий мне здесь человек. Точнее, мы просто вместе живем. Не всегда, впрочем“. Он запнулся.

„Сожительствуете? Ты не думай, что я осуждаю, - забормотал он поспешно. - Это у нас так раньше называлось, если не женатые. Ты знаешь, что твоя мама, она не первая моя жена?“ - сказал он, как будто стараясь загладить свой промах насчет „сожительства“. Отцовское признание прозвучало настолько неожиданно и не к месту, что Алек зашнырял глазами, перегнувшись через сиденье и затараторил, указывая на Буш-Хауз, про Русскую службу Би-Би-Си и как все изменилось, когда перестали глушить. Но заглушить отца, как и следовало ожидать, было невысказанным делом, и Алек, в конце концов, затих и нахохлился, делая вид, что слушает вполуха, ради вежливости.

Очередная мелодрама сталинской эпохи. Конец тридцатых годов. Зауралье. Областной центр. Отца направили в эту глушь по распределению отплатить свой долг народу и государству после университета - вести курсы по повышению квалификации для преподавателей местных школ. Алек помнил отцовские подернутые охрой, как дагерротипы, фотографии из семейного альбома тех лет. В те годы московские студенты еще подражали своим соратникам из Сорбонны и Оксфорда - экзотические до анекдота английские бриджи, гетры, жилетки и бабочка. Алеку пришло в голову, что он мог бы быть одет сегодня точно так же, как его отец полстолетия назад, ничем не отличаясь от очередного британского профессора-эксцентрика и одновременно повторяя в малейших деталях своего отца. На мгновение он осознал себя двойником, копией чужого прошлого, незаконно пробравшимся в настоящее вместе с оригиналом. Или же наоборот, он сам раздвоился на две временные ипостаси, путешествующие в одном и том же автобусе. Как он, небось, блистал в том затхлом городишке. Набриолиненный пробор, загибает нечто про

высшую гармонию, глаза сияют. Короче: столичная штучка! Можно себе представить, как млели, глядя на него с обожанием, все эти незамужние (а замужние в особенности) провинциалки-курсистки Зауралья. Одну из них звали Верочкой. И они полюбили друг друга.

„Мы полюбили друг друга. Чуткая, знаешь ли, была женщина. Она была из семьи, как бы это сказать, - он помялся и, наконец, подобрал подходящее слово, - из семьи пострадавших". Алек засопел свирепо, стараясь не перебивать отца. Даже сейчас, после стольких лет и стольких оттепелей, уже здесь, в Лондоне, рядом с сыном, отец не мог забыть тех сибирских морозов, не мог сказать прямо, что та первая любовь, зауральская жена его, была дочерью „врагов народа", что ее родителей расстреляли, что ее, школьницу, сослали в зауральскую глушь на поселение. Вместо всего этого он употребил слово „пострадавшие", от слова „страдание", пострадали, мол, непонятно от кого, вообще пострадали. И кто его знает, чего он страдает. Вместо строчки только точки - догадайся, мол, сама. А через год уже началась война, отца призвали в армию и отправили на фронт. Тяжелое ранение, военный госпиталь в тылу, демобилизация, а на выздоровление - домой, в Москву. Там он и встретил мать Алека. И они полюбили друг друга.

„Мы полюбили друг друга. Она тоже была чуткой женщиной. Я был поставлен перед выбором. Метался, знаешь ли. Пока не понял: решаешь не ты - решает жизнь". Любопытное решение. Особенно, если у другого в жизни нет никого и ничего, кроме тебя. И еще облупившаяся краска школьного коридора. Парторг и чекист в горсоветском окне, засиженном мухами, играют в шахматы. Очередь у продмага. Улица в ухабах со свиньей у забора. Бузина и лопухи. Огромные возможности для выбора. Комната в коммуналке и письмо из Москвы от мужа с фразой в конце: „Я выбрал жизнь".

„Вера, ты знаешь, была бездетной". Пауза. „И я выбрал твою маму". Отец произнес эту фразу с торжественной непрерываемостью советского дарвиниста, оправдывающего все идеей выживания, продлением рода, потому что выжить для его поколения и значило верить в доброе и вечное. Но взглянув на перекошенное лицо Алека, он заерзал, он явно углядел в этой бледной гримасе осуждающее презрение и поспешил добавить, оправдываясь перед младшим поколением за этот самый дарвинизм: „Но ведь, знаешь, если б я не женился на твоей маме, ты бы не родился, тебя бы, так сказать, не было на свете. Согласен?" И он заискивающе заглянул из-под низу в гробовую мрачность сыновнего лица. Если бы не отец, его бы не было на свете. На этом свете. В этом Лондоне.

Автобус дернулся пару раз и окончательно застрял в гигантской пробке - через весь Стрэнд до Трафальгарской площади с колонной Нельсона в дрожащем от бензиновых паров мареве. Казалось, эта вереница колес тянется до Зауралья. Если бы отец остался за Уралом, он, Алек, не родился бы. А за Уралом не раскачивалась бы в петле самоубийцы его несостоявшаяся мать. Хотя она, возможно, и пережила предательство его отца, как пережила в свое время гибель своих родителей. Она могла бы быть его матерью, но от другого отца. Мог бы он, Алек, родиться от другого отца? В другом месте, в иное время? От Нельсона на колонне Трафальгарской площади, например? В соответствующем, конечно, веке. Нельсон на колонне в серой дымке душноватого дня был похож на отчаявшегося регулировщика, с безразличием и презрением отвернувшегося от хаоса у него под ногами. Движение остановилось окончательно. Время тоже. Все предопределено. Отец выбрал. Сын родился. Если бы отец не выбрал, сын бы не родился. И не оказался бы в Лондоне. В этой страшной пробке.

От этой мысли Алек взмок. Он снял пиджак и готов был стянуть с себя и рубашку, как ненавистную кожу, остаться

голым - без одежды, очага и крова над головой, никому ничем не обязанным, не помнящим ни своего рода, ни племени, ни номера автобуса, ни отца своего. Внизу, по тротуару, плыла закручиваясь в водоворотах, толпа, и до Алека дошло, что predeterminedность автобусного маршрута и его собственное местонахождение - остановка во времени и пространстве у Трафальгарской площади под диктовку отцовских признаний - вовсе не тюремного порядка. Надо просто подняться и выйти из автобуса. Двери всегда открыты - их просто-напросто нет. До вокзала Чаринг Кросс тут десять минут ходьбы. И Алек, не сказав ни слова отцу, загромычал чемоданом по ступенькам к выходу. Отец затрусил за ним, качая головой в горестном недоумении.

„Ты должен разобраться, как находить поезда на Люишэм: кажется, что сложно, а на самом деле довольно просто”. - И он потащил отца к гигантскому табло-расписанию при выходе с платформ, где стояла, задрыв головы, как перед скрижалями завета, толпа пассажиров. Алек тыкал пальцем в названия станций среди столбиков расписания и учил находить соответствующую платформу. Отец все понял быстрее, чем ожидалось, что несколько обескуражило Алека: он сам до сих пор путался в этом мельканье переворачивающихся дощечек с названиями станций.

„У нас, между прочим, тот же принцип, у трех вокзалов, - бодро сказал отец и добавил, - я-то думал, здесь все электронное”.

„Здесь все электронное”.

„Как же, а эти дощечки?” - не сдавался отец.

„Они переворачиваются электронно”, - наморщил лоб Алек, неуверенный в своей правоте.

„А зачем тогда дощечки? Дощечки может и диспетчер сам переворачивать, от руки, как у нас. Я думал, электронные буквы! - Но заметив раздраженную гримасу на лице сына, поспешил добавить лестное, - да, тут настоящий вокзал!”

„А ты что ожидал?”

„Ты говорил, станция, четыре остановки до центра. А тут настоящий пригородный вокзал. У нас на вокзале сплошь пьяницы, знаешь, и проститутки. А здесь чистенько, в общем и целом. Приятный вокзал. Даже камера хранения без очереди. Ты, стало быть, в пригороде живешь?”

„Ты не понимаешь, - заволновался Алек, чье достоинство столичного человека было унижено ярлыком жителя пригородов. - Отсюда действительно идут поезда и за город, но с других платформ, а на этой половине станции поезда только лондонские. Это, в общем, даже не поезда, а надземка. Метро под землей, а это - то же самое, но только над землей”.

„Если это как метро, зачем же расписание перед платформами?”

„А на Люишэм, между прочим, расписания и нет. То есть в расписании говорится: частыми интервалами. Как в метро. В метро здесь тоже, между прочим, есть подробное расписание”. Алек бросил взгляд на табло, но поезда на Люишэм все еще не было. „Просто в южном Лондоне другая почва: туннель рыть нерентабельно. Поэтому и надземка”.

„В южном Лондоне? Твоего района я чего-то не нашел на лондонской карте”.

„Не ту, значит, карту Лондона смотрел”.

„Как не ту? Карта центрального Лондона. Ты же ведь недалеко от центра живешь? Сам писал: четыре остановки от Трафальгарской площади”.

„Да нету здесь центра в твоем смысле. То есть, здесь у каждого района свой центр и своя главная улица. Лондон, в сущности, это десяток хуторов. Это вы там у себя привыкли к тотальной централизации: центр, генеральная линия, Политбюро”. Алек в раздражении передернул плечами.

„Ты же знаешь, я в партию вступил на фронте. Меня же заставили, ты знаешь, - сказал, кашлянув, как будто поперхнувшись, отец, и поглядел исподлобья на Алека. - А ты хочешь сказать, что все едино: город, пригород, над землей,

под землей. В настоящем метро поезда иногда тоже над землей ходят. Дело не в том, под землей или над. А в том, что поезда метро идут однолинейно, по одной ветке, один за другим, поэтому и расписание, в сущности, не нужно. Это совершенно иной принцип".

„Если ты так во всем разбираешься - езжай сам!" - нашел, наконец, повод вспылить Алек и зашагал к выходу, вслепую, по-бараньи, вытянув шею с клочковатой лысеющей головой. Казалось, его грузная фигура в изжеванных брюках, натолкнувшись на случайное ерундовое препятствие, тут же рухнет от собственной неуклюжести и неуместности. Его пробег через зал ожидания к выходу остановили свистки, они напомнили ему милицейские трели - он дернулся и стал пугливо озираться. Свистели, естественно, распорядители на платформах, давая сигнал к отбытию, распугивая последних пассажиров. Те скакали рядом с тронувшимися вагонами, цепляясь за ручки и поручни под эти умопомрачительные соловьиные трели, впрыгивая на ходу, прощальным салютом захлопывая двери купе. Тут не было автоматических дверей, как в подмосковных электричках; каждый открывал дверь сам, когда ему заблагорассудится выброситься из поезда на полном ходу. Отец заведомо осудил бы подобную практику. Алек бросился обратно к табло расписания, но отца нигде не было. Поезд на Люишэм был объявлен с седьмой платформы (для междугородных и загородных поездов). Алек стал пробиваться сквозь груды сизифовых камней - рюкзаков на спинах толпы туристов, но было поздно: два распорядителя загнули у него перед носом железный занавес ворот, чтобы опоздавшие не лезли на платформу в последнюю минуту. Сообразительный папаша успел прошмыгнуть, а Алек остался дослушивать милицейские трели железнодорожных соловьев.

Прибыв на люишэмскую платформу со следующим поездом, следов отца он не обнаружил. Подходя к своему подъез-

ду, он все еще пытался убедить себя в том, что вот войдет сейчас в кухню, а там отец - распивает чай с Леной. Лена коверкает русские слова, отец - английские, растолковывая Лене, как он легко и безошибочно сориентировался на новых для себя маршрутах. Он решил не звонить, а отворить дверь ключом и тихонько пробраться к себе в спальню, но ключа в кармане не оказалось, еще один ключ, был у Лены, и тут он вспомнил, как она хлопнула дверью сегодня утром, в очередной раз распрощавшись с ним навсегда. Как она могла бросить его - наедине с отцом? Придется идти к ней на поклон за ключом. Сокращая расстояние, он лавировал между вереницами домиков, прижатых друг другу боками, как пассажиры пригородного поезда в час пик. Ему постоянно казалось, что из-за поворота вот-вот покажется грузная спина отца, тоже бредущего к Лене за ключом вверх по холму. Один раз он даже обогнал прохожего в том же дешевеньком твидовом пиджаке, что и отцовский. Он вздрогнул от сходства с отцовской по-бычьей склоненной шеей и залысынами, как будто выжженными солнцем сталинской эпохи. Но где в мире найти еще одно такое лицо, искаженное гримасой обиды и одновременно мольбы, когда он уходил по платформе, взмахнув рукой от безнадежности, согнувшись под тяжестью чемодана. Алек почувствовал жжение ручейка у себя на щеке - от бровей до губ, но посчитал это струйкой пота. Улица круто уходила вверх.

Плечо ныло, даже не плечо, а предплечье, как будто от тяжелого отцовского чемодана. Боль уходила вбок, под мышку, и Алек втайне размышлял об инфаркте - чтобы увезли в больницу, чтоб отец с Леной, а не он, чувствовали себя виноватыми. Что она будет делать без него? Он вновь вернулся к этой мысли, продолжая машинально шарить в пустом кармане в поисках несуществующего ключа. Что она будет делать без его двойственности, его непредсказуемости, его поисков виноватых и чувства неизбежности страдания - всего

того, что в ее сознании и стало отождествляться со словом „Россия“? Даже причина недавней ссоры - поездка на дачу, точнее, ненависть к этой идее дачи - исходила от Алека, поскольку загородный дом принадлежал друзьям Алека по Лондонскому университету. Не надо было ее вообще туда возить: загородная местность для нее и была Россией. „Благословляю я леса, и голубые небеса, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду“, - декламировала она нараспев, по-русски, разгуливая среди лужаек и лирических овечек. Он ненавидел овец. Он глядел на них волком. Они были воплощенным лицемерием английского ландшафта. На первый взгляд шелк лужаек и руно овечек; но стоит ступить ногой в этот рай - и тут же вляпаешься в овечье дерьмо. Жужжание мух и режущее ухо бляение. Потерянный рай при ближайшем рассмотрении оказывался все той же овчинкой, не стоящей выделки. Кроме того, эти овцы всегда бросались под колеса. Впрочем, не всегда. Овца бросалась под колеса, если только баран оказывался по другую сторону дороги; если же баран был на той же стороне, что и овца, они провожали тебя бараньим взглядом.

В тот заезд Лена хотела остаться в деревне на всю неделю. Он мечтал убраться оттуда к вечеру того же дня. Она приехала с мольбертом и красками, собиралась ходить на этюды, а потом создать нечто концептуальное, разрывая холсты на мелкие клочки и подвешивая их во дворе на веревке прищепками, как стираное белье. Но к вечеру ей неожиданно стало плохо. Она забралась на кровать и лежала там, скорчившись в три погибели, ладони зажаты между колен, и вывернутая голова зарыта в подушки, чтобы Алек не слышал, как она стонет. Она отсылала его от себя, уверяла, что это нечто мистическо-женское, и Алек предпочел не вникать. Он спускался вниз, садился у окна с книгой, но жужжание мух под бляение овец, утончавшееся к вечеру в комариный звон и зуд, доводило до помешательства. Он снова шел

наверх, садился рядом с ней на скрипучую старую кровать и спрашивал: „Ну как ты, как? Лучше?“ И в нервозности этих переспросов звучала не забота о ней, а его нетерпение. Когда наконец ей стало чуть лучше, он тут же объявил, что отбывает обратно в Лондон. Она лишь улыбнулась извиняюще - у нее не было сил подбросить его до станции (Алек за все эти годы так и не научился водить машину). Ощущение вины перед ней отчасти даже уравновешивалось тем фактом, что ему придется тащиться пешком до автобусной станции - мили четыре холмистой тропой. Ландшафт в сумерках вызывал знакомую с детства тоску и страх перед загородной местностью. В сыром тумане тускло тлели окошки коттеджей, разбросанных по темным холмам, и из далеких хуторов доносилось неопределенное уханье и мычание. Он снова уходил. Она снова оставалась. Он ушел. Она осталась. Вновь повторялась все та же линия разлуки. Как вырваться из этого повтора? Как будто человек, отчаявшись сочинить стихотворение, начал рифмовать собственные жизненные поступки.

„А где отец? Почему ты один?“ - первым делом спросила Лена, впуская его в квартиру. „Надо обладать поразительной внутренней дисциплиной, чтобы жить в таком беспорядке“, - подумал Алек, оглядывая знакомый хаос Лениной квартиры, и сказал:

„Я ключ забыл“.

„Что произошло? Где ты его бросил?“ И поспешила добавить, реагируя на Алеково пожимание плечами: „Я имею в виду отца, а не ключ“.

„Сразу формулировки: бросил! Я его бросил?“ Он вскочил с кресла и навис над Леной через столик с гримасой ненависти на лице, настолько для нее неожиданной, что она заслонила лицо рукой, как бы защищаясь от неминуемого удара. Он тут же отшатнулся и плюхнулся обратно в кресло. Сжатые злостью губы вдруг исказились, как будто в кривой усмешке, и

подбородок задрожал. „Бросил? - повторял он в полуплаче-полусмехе. - Бросил на произвол судьбы”, - растягивал он последнее „ы”, почти хныча. Лена налила ему виски, он заглотнул всю порцию одним махом, стуча зубами о край стакана в лихорадке подступившей истерики. Он поперхнулся, и слезы градом покатались по щекам. В этом припадке было все: и чуть ли не годовое выматывающее ожидание визита отца, его собственные неудачи за этот год, вся жизнь предстала сплошной неудачей, вся жизнь предстала перед ним как сплошная надвигающаяся необеспеченная старость: нельзя ни заболеть, ни на секунду расслабиться, надо быть постоянно готовым к самому худшему, постоянно готовым к визиту отца - он должен оправдать доверие. Отец, родина, товарищи отпустили его для великих свершений, а где эти свершения, что он может продемонстрировать как результат своего пребывания на так называемой свободе? Отец приехал для подведения итогов его несостоятельности и неспособности самостоятельно найти путь в жизни. Дорогу домой.

„Ты знаешь, что он со мной проделывал в детстве?” Плутание целый день по вокзальным задворкам своей судьбы давало себя знать. Ему нужно было отыскать виноватого, как выход из запутанных коридоров. Он перестал судорожно вздрагивать и сидел, откинувшись в кресле, из бокового кармана свисал засунутый туда изжеванный галстук, из-под расстегнутого ворота рубашки выбивалась седая поросьля; лицо его было белесым и припухшим, как будто слепленное из душноватого марева за окном. „Я об этом никому не рассказывал. Такое впечатление, что только сейчас вспомнил”. Он вздрогнул, передернувшись как будто от отвращения, и выпрямился. Обида зрела под сердцем, как тусклая лампочка, и наконец ослепила короткой злой вспышкой догадки. „Когда мама умерла, он меня все равно каждый год таскал на дачу: воздух свежий и все такое. Мне там делать было совершенно нечего. А он целые дни третировал меня за неряшливость, за

отсутствие инициативы. Мол, чего я сижу и смотрю в потолок. Ребенку четыре годика, а он ему выговаривает за отсутствие инициативы - интересный педагог! А раз в неделю, знаешь, он проделывал со мной следующее. - Алек заерзал, и Лена видела, как побелели костяшки его пальцев, сжавших подлокотники. - Каждую субботу мы отправлялись с утра на прогулку. Доходили, скажем, до станции. Он ставил меня у железнодорожного шлагбаума, у переезда, и говорил: „А теперь я бросаю тебя на произвол судьбы”. Поворачивался и уходил. Мне было четыре годика, ты можешь себе представить? Я помню его спину в сетчатой такой тенниске. Я старался его нагнать. Маленькие ножки заплетаются. Я помню вкус крови и пыли на губах, сколько раз я падал, раздирал себе колени об асфальт. Я кричал: „Папа, не бросай меня на произвол судьбы”. И Алек передразнил себя еще раз детским плаксивым голоском: „На произвол судьбы!” - и вскинул руки по-детски беспомощно вверх. - Но он ни разу не обернулся”. Лена отвела взгляд. Налила себе дрожащей рукой виски в стакан.

„Кто же тебя домой отводил?”

„Как кто? Я сам. Я сам находил дорогу. Я закрывал глаза и вспоминал каждый свой шаг, как будто я пятился спиной обратно, всю дорогу до дому. А на следующей неделе он отводил меня к водокачке - за тридевять земель от нашего дома, как мне тогда казалось. И снова бросал меня на произвол судьбы. Потом дошла очередь до керосиновой лавки за мостом. И так далее. Каждую ночь с пятницы на субботу я глаз не мог сомкнуть. Я знал, что наутро он заведет меня туда, откуда я уже никогда не выберусь. Я был уверен, что он хотел от меня отделаться”. У Алека снова задрожал подбородок. Он сжал лицо ладонями, пытаясь остановить эту тряску, скрыть новый припадок от неожиданно нахмурившегося взгляда Лены. Она села перед ним на колени, сжала его руку в своих ладонях и дотянулась до его подбородка губами.

„Что ты расписывался, малыш?” - залепетала она, не от-

нимая губ от его лица, как будто нашептывая ему свои секреты. Она всегда называла его малышом, когда ей хотелось поинтимничать, поскольку он в подобных же ситуациях привык называть ее „мамочкой“. Но на этот раз Алек лишь криво усмехнулся и попытался вытащить свою руку из ее ладоней, отстраняясь. „Давай, малыш, попробуем сконцентрироваться“, - терла она его плечо, то ли гипнотизируя, то ли пытаясь вывести из транса. Она нахваталась в последнее время этих словечек, вроде „концентрироваться“ или „медитация“, на бесплатных курсах по практическому буддизму, субсидируемых местным райсоветом, то есть опять же из кармана налогоплательщика Алека. Алек сидел с закрытыми глазами, как будто не слушая ее. „Прошное, малыш, это наши грехи, наша большая совесть и больше ничего, - втолковывала ему Лена, как по шпаргалке. - А будущее - это наши бредовые идеи о нашем прошлом. Наши страхи и наши кошмары. Концентрироваться поэтому надо на настоящем. Настоящее и есть разум, свет, добро. Радость. Но чтобы ощутить радость настоящего, надо научиться концентрироваться. Берешь, скажем, стакан, - и она протянула руку к стакану с остатками виски, - ты его коснулся. Теперь концентрируйся. Ты его осязаешь. Материя. Осязание. О'кей? Затем подносишь стакан ко рту“, - и как в замедленной съемке, почти с оперной торжественностью, Лена стала приближать стакан к губам. Алек открыл глаза и уставился на нее, как на психически больную. Облизнул пересохшие губы и одним глотком опустошил свой собственный стакан, не слишком концентрируясь на осязании.

„Ты спешишь, - по-учительски осудила его Лена за этот своевольный жест. - Ты все время торопишься. Ты стремишься в будущее и заглываешь на ходу свое настоящее, чуть не поперхнувшись прошлым. Так нельзя. Стакан уже в твоих руках. Ты уже его осязаешь. Он у твоих губ. Вдохни, расширь ноздри. Чувствуешь? Слышишь запах? Концентрируйся. Ты этот стакан с виски не только осязаешь, но уже и обоняешь.

Обоняние, о'кей? И наконец глоток. - Она отпила виски и посмаковала его во рту. - Вкус, о'кей? Концентрируйся. Осязание, обоняние - и вкус. Ты концентрируешься на всех трех аспектах бытия, о'кей? Ты ощущаешь настоящее. Твоя суть наполняется настоящим“. Она запнулась, глядя, как Алек снова наполнил, не церемонясь, стакан из бутылки и выпил залпом.

„Ты напрасно, малыш, так скептически относишься к моим идеям, - снова нахмурилась Лена. - Ты концентрируешься на прошлом, сводишь с прошлым счеты. Твое прошлое поэтому составлено сейчас из сплошных обид, и ты, получается, всеми обиженный. В таком прошлом иначе как жертвой себя вообразить невозможно. Слабым и запутавшимся. Маленьким и беспомощным. Ты не хочешь взять на себя ответственность, признайся. Ты боишься расстаться с безответственным прошлым, где распоряжался твой отец. Куда ты его дел?“ - спросила она, имея в виду не столько прошлое, сколько отца.

„Ты знаешь, что он мне наплел про свою первую жену?“ - проронил Алек, как будто не слушая. Он принялся рассказывать, с маниакальной пристальностью к деталям, как отец расстался с сибирской Верой. Многозначительность словосочетаний вроде „бросил ВЕРУ в Сибири“, „расстался с ВЕРОЙ“ явно гипнотизировала его и подбавляла пафоса и мелодраматического надрыва в эту маленькую трагедию сталинских лет. Но чем больше он расписывал жизнь затравленной бытом женщины, обреченной на одиночество в маленьком сибирском городке, тем больше ощущал он в этой отцовской истории наличие неясных ему до конца параллелей с его собственным романом - в его отношениях с Леной. Собственно, отец и стал рассказывать ему про свой сибирский марьяж, потому что явно угадал эти вот параллели с нынешней жизнью сына. „И знаешь, как он заключил свои излияния? Если бы я не женился на твоей маме, - сказал он, - тебя бы не было на свете. Ты понимаешь, что он хотел этим сказать?“

„Ничего он не хотел сказать, - закусила губу Лена, как всегда перед тем, как сказать очередную дерзость. - Это ваше поколение стало все как один воображать себя докторами Живаго. Интеллигенция, революция, женская доля. А для отца продолжение рода было важнее всяких ваших идей. Тебя этот, как ты говоришь, дарвинизм шокировал своей изменностью, да? О'кей, он перед тобой за это и оправдывался", - сказала Лена.

„Интересный способ оправдываться. Тут не просто дарвинизм. Мне сначала тоже показалось, что он просто смущается своей приземленности, зоологичности. Но нет, тут похитрее. - Глаза Алека сощурились в недоброй догадке. - Если б, мол, не его толстокожесть, его измены и предательство, я бы, значит, не родился. Понимаешь? Он темнил и увиливал, морочил голову восторженной провинциалке и, вполне возможно, довел ее до самоубийства, и все это, мол, исключительно ради того, чтобы я в результате появился на свет? То есть я, получается, соучастник всех его темных делишек и сделок с совестью? Это, что ли, он хотел сказать?" Алек раскраснелся то ли от виски, то ли от распивавшего его праведного бешенства и даже как-то ожил. Он уже не был похож на пыльный мешок с гнилой картошкой, забытый на дачной платформе. Глаза его прояснились, рука уверенно дирижировала в воздухе движением мысли.

„Но меня так просто не охмуришь, - говорил он, пророчески потрясая пальцем. - Он же не знает, что я знаю. Я знаю со слов матери, что она была уже беременна - мной - еще до свадьбы с отцом. Может, он и вынужден был жениться, поскольку мать забеременела. Понимаешь? Так или иначе, я бы все равно родился, даже если бы он не бросил свою сибирскую Веру. А значит, я за его гибельные адюльтеры не ответчик! Понимаешь?" Выпалив все это, Алек успокоился. А успокоившись, тут же спал. Он вступил в ту пору своей жизни, когда отсутствие суетливой перевозбужденности воспринималось им как приближение смерти. Он почти сполз с

кресла и сидел, втянув голову в плечи, едва сжимая стакан в пальцах, его глаза из-за покрасневших век казались по-клоунски подрисованными. „Эм-эх", - издал он полувздых, полустон, в очередной раз опустошив стакан с виски. В этом вздохе звучал то ли укор, то ли горестное удовлетворение выпавшей долей. Так вздыхал отец за воскресным завтраком с чаем и бубликами, отпив слишком большой глоток слишком горячего чая из граненого стакана в серебряном подстаканнике.

Алек встряхнулся, как будто пытаясь протрезветь. Лена смотрела на него пристально, взглядом озабоченности, обожания и полного непонимания. Так смотрела на отца мать, когда отец вздыхал вот так вот, оглядывая захлавленную комнату. Мать, как и Лена, никогда не убирала за собой, и отец, возвратившись домой с работы, при виде полного ералаша в комнате разводил руками, склонял голову набок, поптичь, и издавал этот вот полувздых-полустон, а потом бубнил сквозь зубы: „Я больше не могу, я не могу больше этого вынести". Глаза Лены расширились испуганно, и Алек понял, что слышит он не отцовский голос у себя в голове, а свой собственный. Это он кричал, что больше так не может. Он вспомнил отцовские ужимки не благодаря всплывшей в памяти картинке из детства, а потому что сам гримасничал точно так же. Он заметил эти ужимки в оригинале лишь через отражение в себе, узнал чужой голос по эху своего собственного. Сам являясь зеркальным отражением отца, он вглядывался сейчас в оригинал как в зеркало, чтобы разглядеть неведомые ему ранее свои собственные отвратительные черты. Он вспомнил свое затравленное состояние в автобусе пару часов назад и ту жуткую мысль о предопределенности всей его судьбы актом родительской воли.

„Я не могу так больше, - перешел он на зловецкий полупшепот, снова ссутулив грузную спину. - Ответчик я или не ответчик, все равно я повязан с ним своим рождением. Пони-

маешь, я таков, каков я есть сейчас, потому что он - мой отец, он меня породил. Каждый мой шаг генетически предопределен его персоной. Мне некуда от него деться. - Он откинулся на спинку стула, снова повторив этот полувздох-полустон. - Как я мечтаю, чтобы меня бросили, наконец, на произвол судьбы, окончательно, на этом полустанке моей жизни - на произвол моей судьбы, моей, а не моего папаши!"

„Откуда у тебя, малыш, такая вера в то, что без него тебя бы не существовало? - Она задумчиво почесала свой выстриженный под полубокс затылок. - По теории вероятности, как нас учили в школе, ты мог бы спокойноенько явиться на свет таким, каков ты есть, но совершенно от другого отца, о'кей?"

„По теории вероятности? - с надеждой наморщил лоб Алек. Он был вспыльчив, но отходчив. - Ты уверена?"

„Абсолютно. С некоторой вероятностью. Только вот кого, в таком случае, ты будешь винить за все то, что с тобой произошло? Если ты таков, каков ты есть, вне зависимости от прегрешений собственного отца, то тебе придется избавить и его от ответственности за твои собственные проступки", - пояснила она, как терпеливая учительница нерадивому школьнику.

„За какие такие проступки? В чем еще, интересно, прикажете мне себя винить?" С каких пор, каким образом ее мнение стало решающим в его поступках и образе мыслей? Был Бог, отец, Советская власть, вина и страдание. Все хорошее в нас от Бога, все дурное - от родителей. Или наоборот? Была логика в том, кто за что в ответе. И вдруг все это грохнулось в некую непредсказуемую невероятность, где смазливая девочка в драных джинсах и с искусанными ногтями, без копейки в кармане и заслуг за душой решала, что каждый в ответе исключительно за себя. Он поднялся с решительностью человека, демонстрирующего, что разговор закончен. И тут же застыл, пригвожденный к месту телефонным звонком. Звонили из Далича. Далече. У черта на кулич-

ках, если вдуматься. Пожилой джентльмен из России просил через станционного зрителя связаться с некоей „мисс Леной". На вопрошающий взгляд Лены, Алек лишь отмахнулся: „Он изучал карту Лондона еще в Москве. Пусть сам теперь ищет дорогу. Не заблудится. По твоей теории вероятности и отцы не отвечают за своих детей, да? Но дети не должны отвечать за своих отцов не только по теории вероятности: так нас учили антисталинисты. Мы живем в антисталинскую эпоху. Мой отец теперь антисталинист, долдонит об этом на каждом шагу. Пусть теперь отвечает сам за себя. А я пойду, пожалуй, домой". Он хлопнул дверью. Она стала искать ключи от машины.

Лена заметила его издалека. Отец Алека сидел на лавочке под деревянным навесом перед входом на станцию, как на дачном крыльце. Сидел он на стуле, в золотящихся августовских сумерках, как будто это не она нашла его наконец после долгих розысков и расспросов, а он поджидал ее возвращения домой после дальней прогулки. „Очень благодетельный тут негр на станции, уступил мне свой стул, хоть и негр. Вы не подумайте насчет расизма - я про негра, потому что мы не привыкли к разному цвету кожи: на редкость тут пестрая толпа". Если бы не абсурдная нелепость этого сидения на стуле посреди станционной сутолоки, его можно было принять за железнодорожного контролера. Он разглядывал ее драные джинсы и стрижку полубокс без стариковской враждебности, скорее, даже с мальчишеским любопытством, опровергая мрачные пророчества Алека.

„А вы на Катеньку похожи. Смешно даже. Дочка моего близкого друга. Они с Алеком дружили в детском саду. Но он, наверное, не помнит. Боевая тоже была девочка", - сказал он, протягивая ей руку. В нем же она не обнаружила ничего общего с сыном. Она поняла, что это его отец не потому, что они были внешне похожи, а просто потому, что советского человека видишь за версту, и не из-за его советской одежды,

а, скорее, из-за некоего странного сочетания судорожной скованности фигуры и одновременно легкомысленной рассеянности взгляда. По сути дела, между отцом и сыном была дистанция огромного размера. То есть, конечно же, все та же грузная спина и короткая шея, те же выцветшие густые брови, волосы из ушей, прозрачные восточноевропейские глаза, складка тонких губ. Но губы эти были растянуты в добродушной до легкомысленности улыбке. Их сходство было лишь видимостью. Все было то же, да не то. Как раз то сходство, как между человеком и обезьяной - сходство, свидетельствующее, скорее, о непреодолимой разнице. Вместо одержимости, постоянной озабоченности неизвестно чем и скрытой истерики (Алек в любой момент мог бросить все и хлопнуть дверью) перед Леной предстала сама умиротворенность и приятие мира таковым, каков он есть. Контраст был настолько резким, что увлекал ее сам по себе.

„Мне тут не скучно было сидеть, - продолжал он, подымаясь. - Пассажиры ходят туда-сюда с газетами. Куча народу, а друг друга не толкают. И чисто тут. Как в Прибалтике". Лена с иронической улыбкой оглядела площадку перед станцией, где обрывки газет закручивались вечерним ветерком в одну кучу с картонками из-под гамбургеров и сигаретными пачками. „Мусор, может, и есть, - добавил он, перехватив ее взгляд, - но воздух чистый. Пыли нету. Хотите доказательств? Пожалуйста: я уже который час в Лондоне, а туфли не запылились. Да в Москве мне уже который раз пришлось бы их ваксой полировать. Вот вам и все доказательства!" Лена улыбнулась - впервые, пожалуй, за последнюю неделю сплошных скандалов с Алеком. Если она и видела сходство между отцом и сыном, то лишь в том смысле, что хотела бы видеть Алека похожим на отца. Это был идеальный, не существующий Алек, Алек из ее сновидений. Вольный, добродушный, слегка беспомощный. Как будто в отце открывалось то, что всю жизнь пытался скрыть в себе сын. Соединить эти два образа было так же трудно, как оказаться по ту сторону зеркала.

„Быстро же вы меня нашли, - вздохнул он, усаживаясь в машину. - Я себя, знаете, считаю крупным знатоком географии городов. А тут до выхода со станции - и то еле добрался. Пошел по лестнице не туда, переход какой-то, попал на другую платформу. Платформы, платформы - голова кругом идет. Даже подумал: и чего человек тащится с одного конца вселенной на другой, если на другую платформу попасть не может - можно было и на Трех вокзалах провести время столь же интересно. - Он покрутил головой. - Ну и город, ну и система. Если бы вы меня здесь бросили, я б один не выбрался".

„Да кто же вас тут бросит? Алек, например, уверен, что это вы, сами, бросили его на вокзале. Я имею в виду сегодня, на вокзале Чаринг Кросс. Бросили на произвол судьбы", - добавила она, подражая в интонациях Алеку, с многозначительной иронией.

„Так он вам про это рассказывал? - Он отвернулся к окну. Лена прикусила язык. Она кляла себя за болтливость, он требует сейчас сстановить машину, хлопнет дверью и уйдет в одиночестве прочь, обратно в сибирскую глушь лондонского пригорода. - Я, честно сказать, все эти подробности подзабыл, - проронил он, не отворачиваясь от окна. - А он, значит, помнит. Натренированная память. Это хорошо. Я рад за него. Сообразительный был мальчик, - усмехнулся отец, как будто вспомнив не более чем еще один курьез давних времен. - Я всякий раз думал, как же он выпутается? Но он всегда знал, у кого спросить дорогу. Всегда бил на жалость: его часто доводили до дому. Всегда знал слабые места человеческой природы".

„Что же, по-вашему, одна надежда на милость чужих людей?" - осмелела Лена.

„Вам это все трудно понять. - Он помедлил. - Это были другие времена. Невозможно объяснить, в каком мы страхе жили. Надежда, знаете ли, и оставалась только на чужих, вот именно, людей. Друзья, свои, близкие, родственники как

раз первые и доносили друг на друга. Я боялся. Меня могли арестовать в любую минуту. - Говорил так, как будто учил ее арифметике. - Я должен был научить его жить самостоятельно. Малолетнего - куда его без меня? В детдом. Я готовил его к самому худшему. Чтобы убежать всегда мог - из детдома, из лагеря, тюрьмы. На свободу. А на свободе что самое важное? Ориентироваться на местности. - Все страхи Лены насчет того, что он был оскорблен упоминанием эпизода с „произволом судьбы“ пропали начисто, как и следы городской цивилизации в мелькании бесконечного пригорода за окном ее подержанной таратайки. - Зеленый тут район. Вообще Лондон - зеленый, как я погляжу, город. Он помнит только, как я его на станции бросал. А наши туристские с ним вылазки? - С энтузиазмом развивал тему отец. - Лес там, правда, был не настоящий - дачная местность, но и там было много занимательного. Я его научил раскладывать костер: шалашом, например, или колодцем. Я ему показал, как добывать огонь с помощью увеличительного стекла. Теперь ведь такому детей не учат. Как, скажем, картофель печь на костре. В этой школе жизни было много увлекательного и поучительного. А он помнит только жестокости. Вы печеную картошку любите?"

Встречать их Алек не вышел. Квартира казалась вымершей. Отец делал вид, что не замечает отсутствия сына, озирался довольный, похвалил камин и ковер, пожелал принять с дороги ванную. Он шумно плескался и распевал про чибиса у дороги. Под этот веселый шум Лена пробралась в спальню. Алек лежал, выключив свет, с открытыми глазами. Ей казалось, что исповедь отца про школу страха разжалобит Алека и примирит с отцом. Не тут-то было. Он выслушал отчет Лены с улыбочкой, хмыканьем и подергиванием. Вскочил, зашагал по комнате, кусая ногти, подбежал к двери в ванную, забарабанил, закричал надсадно: „Отец! Ты меня слышишь? Отец?“ В ответ под ливневый грохот душевых струй донес-

лось про небо голубое и родной любимый край, где тропу любую выбирай. Наконец, отец появился из ванной, распаренный, в Алековом махровом халате. Халат был ему слегка велик. В руках у него было полотенце. Он вытирал им лицо.

„Ну ты как? Нашелся наконец?“ - спросил он Алека. Тот от наглости отцовской иронии онемел на мгновение. Но лишь на мгновение.

„Ты, я слышал, выдаешь себя за жертву сталинизма? Тойбой двигал страх, да? Хочешь списать свой макареньковский зуд за счет преступлений режима? Но я тебе скажу - на вас, педагогических садистах, вся система и держалась. Павлов учил собак условному рефлексу, а вы на людей перешли, дарвинисты, с вашей идеей выживания в трудных условиях борьбы с идеологическими врагами. Твердость, выдержка, железная дисциплина. Почему ты хоть раз не признаешь правду, что вы сами и были маленькими Сталиными. А если бы меня благодаря этому самому „произволу судьбы“ поезд переехал? Или автобус?“

„Если ты все про эту дачную историю, то ничего там с тобой случиться не могло по сути, - пожал плечами отец. - Я за тобой из-за угла всегда следил, как ты справишься с заданием. Ты можешь сказать: и эта слежка была садизмом в сталинском духе. Я не стану оправдываться. - Он запнулся. По лицу со лба текли струйки воды, и отец стал протирать глаза, как будто от плача, озираясь. - Ты, наверное, прав. Так и было: все искали врагов, внутренних и внешних. Не стану отрицать: нас приучали к стойкости, и мы вас приучали. Какая действительно разница, с какой целью? Тут средства были страшны, а не цели. Тут средства и были единственной целью. И я был энтузиастом этой логики. Ты прав“.

„С каких пор ты стал со всем соглашаться? И это верно, и то. Что я тебе - генеральная линия, когда никогда не известно, что будет вчера? Зачем ты мне врешь? - Он вытягивал вперед руку по-ленински, входя в риторический раж. - Ваше

поколение - поколение закоренелых лжецов, вы всегда врали, сознательно, бессознательно, и не только другим - себе, главное, самим себе. Правды, я хочу настоящей правды".

„Я и говорю тебе правду. И то, что я рассказывал Лене, было правдой. И то, что сказал тебе до этого, тоже правда. И то правда, и это. Не веришь? Настоящая правда и состоит в том, что я боялся".

„Но чего тебе исхитряться сейчас? Кого тебе бояться здесь, в Лондоне?"

„Как кого? Тебя. Я тебя всегда боялся. И тогда, и сейчас. - Он запахнул халат и съежился, встретившись глазами с Алемком. - Тебя все боялись. Ты был, знаешь, маленький такой, но настырный и вредный. Я тебя боялся как Павлика Морозова".

„Чего тебе было бояться? С партийным билетом, в своем закрытом институте на мелкой должности?" - облизнул Алек пересохшие вдруг губы.

„А ты случайно Катеньку не помнишь?"

„Катьку? Из третьего подъезда? Конечно, помню. Мы в детстве домами дружили, - ерзая на месте, пояснил он Лене. - Она меня всегда дразнила".

„Вот именно. А помнишь, что ты сказал про нее воспитательнице в детском саду, когда вы в очередной раз поцапались из-за игрушек или чего-то там еще?" Алек помнил песочницу и настурции в гипсовой вазе рядом с бюстом Сталина на детской площадке, и они швыряют друг другу песок в глаза, и вопли Катьки в коричневых приспущенных чулках и сандаликах на кнопках. И эти сандалики топчут его самолетика. Он помнил собственный визг, и больше он ничего не помнил. Алек не помнил, как он подбежал к воспитательнице и стал плаксиво жаловаться. Он не помнил слов жалобы. Жалобных слов. Какая Катя противная. И какой у нее противный отец. Он слышал, когда был у Кати в гостях, как ее папа плохо говорит о дедушке Ленине и обо отце всех октябрят товарище Сталине. Катин папа назвал отца всех октябрят не-

понятным словом вурдалак. Нет, Алек всего этого не помнит. И что отца Кати после этого арестовали. Алек об этом и не догадывался. И что грозили арестовать отца, мол, ваш сын указал нам на идеологические вылазки врага народа, вашего якобы друга, а вы отнекиваетесь. Алек всего этого не помнил. Не знал. Знать не хотел.

„Неужели не помнишь? Впрочем, чего в детстве не натворишь", - пробурчал отец, осторожно поглядывая на сына. Он сидел мокрый, нахохлившийся, подобрал, как будто стесняясь, босые ноги под стул, - старый, беспомощный, робкий. Но эта иллюзия беспомощности длилась лишь мгновение. Изначальный шок от только что услышанного прошел, и цепкий, подозрительный взгляд Алека уже вычитывал в отцовских скривившихся губах скрытую улыбку, а отцовские глаза, как казалось Алеку, шурились насмешливо, по-сталински. Чисто сталинская тактика - всех скурвить, ссучить, повязать - всех сделать виноватыми. Вот именно - мораль всех этих детских ужасиков сводится к одной фразе: „Сам хорош". На всех стихиях человек тиран, предатель или сволочь. От октябренька до седьмого колена. „Ты только меня с Советской властью заодно не вини в этих детских подвигах", - добавил отец, как будто защищаясь от беспощадных глаз сына. Какая, на редкость, щедрая на чувство вины страна и ее история - особенно когда нужно подыскать одежду виноватого для кого-то другого, чтобы самому не было мучительно больно за безвинно прожитые годы. Теперь они, значит, с отцом сравнялись? Оба, значит, хороши?

Но если они один другого не лучше, если все счета кончены, то что же теребило душу все эти дни перед приездом отца? От какого бессловесного ужаса взмокали ладони? Значит, было что-то еще в их отношениях, кроме всех этих склок с вариациями на тему постылой легенды о Павлике Морозове? Эти советские счета и склоки были сейчас для него, в

Англии, не более чем возможностью поцапаться с отцом на общем для них языке. Советское чувство вины осталось за кордоном - единственное чувство, понятное им обоим. Общие слова остались там, за дырявым железным занавесом прошлого, и они стояли тут, как будто голые и беспомощные, друг перед другом, неспособные скрыть, затаить за нагромождением слов свою постылую связь до конца дней, до скончания века. Присутствие отца в доме сузило его, Алека, здешнюю жизнь до нулевой болевой точки в виске.

„Я прилечь хочу, - сказал отец, подымаясь с кресла. - Устал. Ты вообще, как я погляжу, слишком много на других обращаешь внимания, а думаешь, что решаешь свои душевные, понимаешь ли, проблемы. Ты лучше на себя со стороны посмотри. Делом займись, - и он с хрустом зевнул. - Лена твоя, гляди, совсем заскучала“. Лена полулежала, откинув голову, блаженно растянувшись в кресле у дверей в спальню, задремав под их разговор с беспечной улыбкой на губах. В интонации, с которой отец произнес слово „заскучала“, Алеку померещилось нечто похабное. Он же говорил ей переодеться во что-нибудь попримичнее, а не в эти драные джинсы, где все наружу и обтягивает.

Ночью полусонная Лена стала тереться щекой о его плечо, прижимаясь к нему под одеялом, а он осторожно отодвигался от нее к стене, не отвечая на ее поползновения, на ее ищущую ладонь. Потом замер, боясь шевельнуться. Из-за стены донеслось кряхтение и старческие вздохи отца, и Алек поймал себя на том, что вздыхает точно так же. И отец, наверное, слышит, как Алек вздыхает так же, как он. И пусть слышит. Пусть все слышит. Лена промычала нечто невразумительно ласковое и издала первый легкий стон, раскрываясь навстречу каждому его ответному движению. Он знал, что этот начальный стон перейдет через мгновение в лепетанье, а потом, постепенно, в гортанный запев, подстегивающий к продолжению; и он, обычно следовавший этому на-

стойчивому повтору молча, послушно и усердно, сжав зубы, сейчас стал вторить ей в унисон, как бы поощряя ее в этой разнузданности - пусть отец слышит. Наплевать ему на отцовский сощуренный скорбно взгляд, следящий, казалось, сквозь стену, как они сплелись в судороге бесстыдства в одно нагое дикое животное о двух спинах. Куда они скачут, подстегнутые ее пастушечьим понуканием? В какое стадо она его загоняет - прочь от отцовского рода и племени, с его постылыми идеями о человеческом достоинстве, советской морали и родительском долге? Родительский долг! Она задрожала и откинулась на подушки. Он знал, что уже не сможет высвободиться, не сможет расцепиться, что это - навсегда. Под его гортанное пастушечье понукание она добивалась от него именно того, чего хотелось отцу и чего сам он страшился больше всего: он становился тем, кем был его отец, как и он повязанный круговой порукой продолжения рода. Он становился отцом, отцом своего ребенка, который будет страшиться, жалеть и презирать его точно так же, как он страшится, жалеет и презирает своего отца. И в судорожной попытке уйти от этой подлой зависимости он сам попадает в ту же древнюю и вечную ловушку инстинкта - иллюзию свободы. Его снова бросило в жар, он вскочил с постели и подошел к окну; рывком поднял раму, как будто собираясь сорвать с окнами душное и пыльное, как портьера, ночное небо.

„Господи, за что же ты так не любишь мою жизнь?“ - звучала у него в ушах фраза, сказанная как будто не его голосом. Он подобных слов никогда до этого не произносил.

Лондон. 1990



Андрей КУТЕРНИЦКИЙ

БЕЗ ЛЮБВИ

Утром, зимним, ранним, в густой бензиновой мгле, остро пахущей морозом, каменно-железный город плыл невесть куда...

А Белов, как бы вспять городу, вспять рваным светлым облакам, с запада на восток быстро летящим через темное небо, ехал на вокзал встречать Гражину.

Она приезжала на вильнюсском скором поезде, и Белов должен был ждать ее в начале платформы.

Было черно и ярко. Неоновый знак над павильоном метро не горел. Эскалаторы выли однообразно, и лица людей были мяты и злы. Молча толкали друг друга, молча ненавидели ранний час, нескончаемую зиму, переполненный вагон, газеты, которые держали в руках, новости в газетах и пачкающиеся свинцом фотографии политиков и министров. Но никто не знал, как поправить положение, как сделать так, чтобы не ненавидеть, не толкать... И потому молчали.

А Белов в это раннее утро свободен был, здоров и полон желаний. И ехал встречать молодую красивую женщину, ко-

торая приезжала единственно лишь за тем, чтобы впервые остаться с Беловым до рассвета.

И потому, пробираясь сквозь плотную массу хмурых людей, Белов ощущал себя мудрее, а главное, удачливее этой массы и, выходя из вагона, мысленно обратился к ней:

„Не надо такими покорными быть!“

Усилие, с которым он напряг память, само по себе было приятно и составляло маленькую часть того будущего наслаждения, к которому он себя приготавливал, и чтобы испытать радость еще раз, он для отвлечения взглянул на зеркальную мраморную колонну, поддерживающую подземный свод станции, а затем, когда в сознании вновь утвердилось, что он еще один, без Гражины, повторил это легкое приятное усилие, и опять, послушно, как и в первый раз, перед ним появилось ее загорелое лицо с прямыми светлыми бровями, он увидел ее высокую плотную фигуру в белом нарядном костюме с перламутровыми пуговицами на манжетах, сильные ноги в высоких белых сапогах на высочайшем каблуке, в которых она так легко двигалась. Его плечи ощутили тяжесть ее рук, украшенных браслетами из темного необработанного янтаря и двумя кольцами - золотым обручальным и янтарным серебряным. Что было особенного в ее руках? И в этих грубых массивных украшениях, так шедших ей? Их тяжесть? Темный блеск?

И творя в воображении картину свидания, до которого оставалось теперь менее получаса, Белов видел и ту их единственную и сразу решившую этот ее приезд встречу в Вильнюсе, где четыре месяца назад он с Гражиной познакомился на вечеринке у старого институтского товарища, лет восемь как в Литву переехавшего, вспомнил питье шампанского из бокала, поставленного в женскую туфлю, поцелуи в узеньком переулке, близкое лицо Гражины с закрытыми глазами, запах ее духов, пленительно острый от дождя, ее русскую речь с акцентом, мгновенный ответ на вопрос о муже: „Черти съели!“ - и мучительное и невыполнимое желание об-

ладать ею сейчас же, немедленно, и шепот ее, и улыбку: „Дом свят, Федор! Дома сын!“ Какой сын?.. Разве может быть у нее сын?.. Все так свободно, обворожительно! Гражина!

И вот она едет.

И Белов стоит на платформе и видит выползающую из-за поворота тупую морду тепловоза, проглядывающую через летящий снег горячим огненным глазом.

„А ведь эта женщина могла бы родить мне...“ - вдруг подумал Белов.

И его бросило в жар.

Впрочем, тут же прошло ощущение это странное.

Красный локомотив, парясь в морозном воздухе, остановился рядом с Беловым, из косого окна выглянул, а затем, отворив железную дверку, спустился на платформу низкорослый худенький машинист в нейлоновой курточке, потянул воздух носом, промолвил: „Не фонтан!“ - и полез обратно в кабину.

Белов распахнул дубленку, чтобы грудь дышала ветром, сунул руки в карманы и вышел на середину платформы.

Перед ним в несколько мгновений почернело. Сплошная стена людей стояла в полутьме, не двигаясь. Но вот она заволновалась, хлынула на Белова...

И Белову почудилось, что он узнал шаги Гражины.

Поплыли, растягиваясь и мелькая, бело-красные лица, искрящиеся от снега меховые шапки, воротники, вдруг выделившись из толпы, выростали то рядом, то в отдалении огромные женские глаза - не она! - и тут же исчезали, слышался ровный стук шагов, пахло дымом, над зданием тепловозного депо взвилась рассеченная нитями электрических проводов мутная холодная звезда-шар... Взорвалась!

И Белов очнулся.

Снег валил гуще.

Толпа стала редеть, и испугался Белов, что Гражина не приехала, испугался потерять свою удачу, но более всего - сесть в метро одному, без нее, и стать таким, как те утренние

пассажиры, и приехать одному домой к предусмотрительно не застеленной постели.

Он застегнул дубленку, сморгнул с ресниц снег.

И сейчас же знакомый низкий услышал ее голос:

- Фиодор!

Она была совсем другая, не та праздничная вильнюсская Гражина, недоступная, таинственная, какую он помнил глазами: на ней было клетчатое демисезонное пальто с кушаком и поднятым воротничком, на ногах коричневые сапожки без каблука и на голове вязаная шапочка, уже вся в снегу.

Она была как бы ниже, полнее, обыденнее.

Белов увидел это сразу.

Но он заставил себя улыбнуться и, глядя на то, как она подходит, облизал обсохшие губы, готовя их для поцелуя.

- Поезд опоздал? Нет? - весело спросила она, подойдя близко, взглянула ему в лицо серыми блестящими глазами.

И протянула ему руку.

А он вдруг понял, что ей за тридцать, и далеко, и что победа его обесценена.

Он неловко пожал ее пальцы - так получилось, потом все же притянул ее за руку к себе и поцеловал в холодную щеку.

Знакомый запах духов качнул перед ним ночной Вильнюс с подсвеченной прожекторами башней Гедиминаса...

„Неужели я такой пьяный был?“ - подумал Белов.

И отнимая у нее легкий чемоданчик, промолвил:

- Я решил уже, что ты не приехала.

- О, это была незабываемая поездка! - заговорила она, шагая рядом. - Мне достался последний вагон. Воды умыться нет, чая нет, проводник хорош, и нас еще болтало как в море! Так что прошу прощения... как это? За некондицию.

- Приедем - отдохнешь, - сказал Белов. - Погода, к сожалению... Петербург!

- В Вильнюсе тоже самое. Но ты не бойся, я потом не буду такая страшная. Я красиво накрашусь.

И в насмешливом ее голосе Белов ощутил некоторую ее власть над собой, вернее то, что она позволяла себе эту власть даже тогда, когда была непривлекательна. И ему это не понравилось.

Она шурилась от снега, но шагала легко, бодро, с интересом взглядывая то на вокзальную постройку, то на ярко освещенный мост, частями проглядывающий сквозь снегопад.

- Эта река называется?.. - спрашивала она.
- Это не река. Это Обводный канал, - отвечал Белов.
- Он так называется?
- Да.
- Ты мне обязательно все покажешь.

Они спустились в метро и до дома ехали молча.

В белом вильнюсском костюме и мягких тапочках, только что извлеченных ею из полиэтиленового пакета, она стояла спиной к Белову, наклонясь над раскрытым чемоданом, массивный узел волос на ее голове черными ушками шпилек смотрел в потолок. А Белов, угрюмо разглядывая, смотрел на ее расширяющуюся к плечам спину и на ее ноги; сквозь чулок, темнея, на икре проступал узор вен, и Белов думал о том, что этот кремпленовый, финского производства костюм - ее единственный выходной наряд, если она решилась дважды подряд появиться в нем, и что, скорее всего, она брошена мужем, нуждается, научена экономить деньги - заурядная несчастливая женщина, каких миллион, вовремя остынет, состарится и сумеет при том не опечалиться морщинам, вставным зубам и седым волосам, и всю ее таинственность, загадочность он придумал сам, потому что в этих западных средневековых городах ночные улицы узки и темны, кружат иноземца среди старинных башен, уводя то вправо то влево, спуская под гору, вознося над спящими кварталами, и располагают воображение к поэзии...

„Надо как-то постараться обставить все по праздничнее, - размышлял Белов, охватывая Гражину украдкой взглядами и примеряя ее к будущим объятьям. - Я сам пригласил

ее, сулил театры, музеи, рестораны...”

Желтый свет от люстры давал лиловые тени. За окном мутно рассветало.

„Три дня!” - думал Белов.

Она повернулась к Белову, протянула ему четырехгранный керамический штоф.

- Тебе! - сказала она. - Лечебный бальзам. - И сдвинув густые брови, добавила: - Голова болит? Семь капель в чашку горячего чая - не болит голова! На душе плохо? Половину чайной ложки - на душе хорошо!

Белов принял подарок.

Указал ей на семь красных тюльпанов в вазе на тумбочке у постели.

Гражина приблизилась к ним.

- Ты опасный человек. Ты знаешь женские слабости, - промолвила - прошептала - вдохнула запах цветов.

И ее глаза озарились.

- Можешь с дороги принять душ, - сказал Белов.
- Я хочу, - ответила она. - Голову мочить не буду, чтобы долго не сохнуть. У меня есть с собой резиновая шапочка.

Шагая по кухне, искоса поглядывая, когда закипит поставленный на газовую горелку чайник, Белов выкуривал вторую подряд сигарету и повторял:

- У меня есть резиновая шапочка.

Он чутко вслушивался в каждый плеск, перелив, перекаат воды в ванной комнате.

Этот шум бегущей, плещущейся воды говорил ему о том, что внутри замкнутого глухостенного куба, обложенного изнутри голубой глазурованной плиткой, за тонкой деревянной дверью - женщина, и что она обнажена, и струи воды прозрачными потоками бегут сейчас по ее покрытому мыльной пеной гладкому горячему телу и смывают эту пену скользкими шипящими космами.

Смолк воды шум.

Белов прошел в комнату, оглядел сервированный на двоих стол... И поставил в центр стола вазу с тюльпанами.

„После завтрака!“ - раскачиваясь на упругих зеленых стеблях, подсказали ему красные, чуть приоткрытые бутоны.

Ступая босыми ногами по жесткому ковру, через комнату прошла-проплыла влажная распаренная дева: крупные капли воды, повторяя плавный изгиб ее спины, бежали по ее светлой коже и падали на ковер с распущенных мокрых волос...

После завтрака, взяв косметичку, Гражина надолго исчезла в ванной комнате.

- Нельзя видеть как это делается, - объяснила она Белову. - Можно смотреть только готовую работу.

Белов, отяжелевший от выпитого вина и обильного завтрака, сел на тахту, повалился на спину и заложил руки за голову...

„Разумеется, она приехала с целью, - лениво раздумывал он. - Просто так по приглашению мужчины, которого знаешь один вечер, за семьсот километров не едут“.

- Фиодор! - донесся ее низкий красивый голос. - Я стала пьяная от твоего вина!

- Это хорошо или плохо? - спросил Белов.

- Это отлично!

„Замуж хочет!“ - понял Белов.

Снегопад прекратился только к полудню.

Город сделался бел, и от белизны - ярк. Все вокруг покрылось толстым слоем чистого, еще не загрязненного гарью снега - белые тонны его висели на чугунных решетках, на черных ветвях деревьев, перемещались на крышах автобусов и троллейбусов; колкий низовой ветер стих, и в улицах и проспектах под стенами домов не чувствовалось холодного дуновения, но в небе открыто, на глазах у сотен тысяч горожан шло сражение - то в одном, то в другом месте вдруг ярко обнажалось чистое поднебесье. И был удивителен синий цвет там, где все было мутным, серым, бело-черным. Но сейчас же синюю дыру заволакивало молочной тучей, и челове-

ки, во множестве ради дел своих ходившие по белым тротуарам, поглядывали вверх, приговаривая с надеждою: раздует к чертовой матери! Разметет, разгонит! И как бы предваряя очищение, гудели, рычали, терлись о гранитные поребрики, хапали сугробы сильными жадными лапами уродливые снегоуборочные машины, и летели из вознесенных над землю транспортеров в кузова пятиющихся грузовиков потоки разбитого на комья и в густую белую пыль, еще так недавно имевшего пристанище в небесах снега, снежа, снежища великого...

Гражина!

Она действительно хороша, когда выпьет вина, когда на лице ее умело положена косметика... И когда блестят ее глаза.

Они даже не блестят, а мгновениями вдруг посылают из себя свет.

Белов чувствует, что ей нравится как бы случайно прикоснуться плечом к плечу.

Ее рука крепка. Но вокруг ее очей мелкие острые морщинки. Они особенно видны, когда она улыбается. И они говорят Белову: к закату иду, к красному солнцу, иду сгореть. И потому хочу счастья, любви, жизни яркой, полнокровной! Дай мне ее!

Когда Белов и Гражина вышли из здания Эрмитажа, оглушенные шаркающей тишиной музейных залов, уставшие после трехчасового лицезрения бесчисленного множества тускло-сверкающего серебра, позолоты, малахита, фарфора, живописи, разноцветных мозаик, бронзовых и мраморных статуй, то ощущение живого света, исходящего от неба, вид заснеженного города, запах мороза и скользящая в высоте голубизна как бы объединили их, и не спеша, под руку они пошли над суровой заледенелой рекой через длинный железный мост, чувствуя его дрожание от проходящих по нему трамваев и автобусов, говоря об искусстве, но внимая чему-то иному, что пряталось за словами и пока еще не было разгадано ими.

- Много живописи сразу подавляет, - говорил Белов. - Разгадка, очевидно, в том, что художественное произведение - это отражение психики конкретного человека. Большинство художников - люди больные. Творец должен быть абсолютно здоров.

Белов закурил, кинул обгоревшую спичку за облепленные снегом перила и спросил Гражину:

- С точки зрения медицины возможен такой диагноз: абсолютно здоров?

Гражина улыбнулась:

- Это кретин. Или Бог.

- Конечно! - согласился Белов. - Однако если этот мир сотворен Богом, то Создатель явно был болен. Я богохульствую?

Она с улыбкою кивнула.

Но как хороша, таинственна была ее улыбка!

- Ну да, у вас в Прибалтике религию не успели разрушить так, как у нас в России, - сказал Белов. - Я этой болезнью переболел лет десять назад. И ею надо переболеть.

Лицо Гражины стало серьезным; что-то затаилось во внимательном взгляде ее серых, не смотрящих на Белова глаз.

А Белов почувствовал внезапное вдохновение говорить красиво и нравиться женщине.

- Впрочем, мы во всю нашу историю только тем и занимаемся, что постоянно чем-нибудь переболеваем, - продолжил Белов. - Словянофильство, влияние Запада, нигилизм, атеизм, коммунизм, монашество, богоборчество, разврат, чуть ли не всенародную потребность скорее бежать в храм и каяться. И одновременно целой страной падаем ниц перед астрологом, гипнотизером, магом. Я имею дело с компьютерами. И мое воображение развито достаточно. Но представить себе Самого, восседающим на белом престоле, представить еще какую-то небесную империю духов, которые пристально без моего на то согласия наблюдают за мной - к темному или к светлому началу меня потянет, чтобы потом меня, ни разу их всех в глаза не видевшего, судить!..

- Все тут, - сказал Белов. - И если уж на то пошло, то после все будет там. Но никогда и там и здесь сразу. Потому не будет ни возмездия, ни справедливости.

Над Беловым и Гражиной в недоступной высоте что-то беззвучно лопнуло, разверзлось, и все вокруг залил ярчайший золотистый свет.

Белизна снега ослепила их.

Они остановились и увидели: треть небосвода стала ярко-синей.

- Господь решил послать тебе свой свет, - промолвила Гражина.

А Белов, для себя неожиданно, потому что он не собирался этого делать, крепко обнял женщину за плечо.

- Какой это Бог, это - Солнце! - сказал он.

И тут же понял, что подошел к Гражине гораздо ближе, чем в Вильнюсе, когда пьяный взалхлеб целовал ее в полутемном узком переулке.

„Нет, не надо! - досадливо подумал он. - Лишнее!“

Но она испуг его не почувствовала.

Глядя куда-то очень далеко поверх заснеженных крыш старинных петербургских домов, но так, что нельзя было понять на что именно она смотрит, она сказала:

- Давай исключим ресторан из нашей программы? Я устала. Проведем весь вечер дома.

Она все улыбалась, и была улыбка ее то пуглива, то лукава, то долгая, как бы остановившаяся на лице, то мгновенная, едва порхнувшая по большим красивым губам, - Гражина помогала Белову готовить кушанья, накрывала на стол. Слова, которые они говорили друг другу, не имели значения, это были обыкновенные бытовые фразы, но все вместе они создавали некую будоражащую суету, подготавливали тайну тишины, и Белов видел, что Гражина сама по своему желанию участвует в этом страшном действе.

Воображение его напряглось.

Женский голос звучал в квартире!

Но когда они выпили дорогого, очень крепкого рома, который сразу ударил в голову, Гражина надолго замолчала.

Ослепительно белая, в глубоком красном кресле, положив расслабленные руки на подлокотники, так что отяжеленные серебром и янтарем кисти рук свисали с подлокотников внутрь, она неподвижно сидела, откинувшись на спинку кресла и плотно сомкнув крупные колени; темные от красноватого отсвета глаза ее, которым алкоголь придал драгоценный блеск, изумленно оглядывали комнату.

Вдруг, мгновенно очнувшись от этого долгого молчаливого осматривания комнаты, она громко спросила:

- Еще будем пить? Нет?

И начала рассказывать о своем сыне, говорила долго, с такой заботливой светлой нежностью, что Белова охватило нехорошее чувство ревности, в котором, однако, была еще и зависть, и даже доля непонятного болезненного отчаяния. И это раздражило Белова так же, как утром на вокзале раздражил ее ироничный тон. И утром и теперь он почувствовал ее могущество над собою, хотя в чем именно оно могло заключаться он объяснить не мог, но внезапно он начал ощущать себя нехорошим, маленьким... И даже слабым.

Витаутас - звали сына.

Она боялась предстоявшей ему воинской службы.

- Я знаю, что такое армия, - говорила она. - Моя однокурсница работает отоларингологом в военном госпитале. Так много самоубийств, Фидор! Человек - никто. Погоны и грубая сила. А если душа тонкая и болит от злого слова? Они - немые. У них нет никаких человеческих прав. Когда на Чернобыльской станции взорвался атомный реактор, оцепление поставили из молодых солдатиков. В летних формах. Без противогазов. Без всякой защиты. - Она поднесла наполненную до краев рюмку к губам, отхлебнула немного и разом допила всю рюмку до дна. - А у Витааса такое обостренное чувство справедливости! Такая гордость!

- Сколько ему лет? - спросил Белов.

- Восемнадцать, - ответила она. - Он любит рок-н-ролл. Он играет на гитаре.

- Не мучай себя напрасно, - сказал Белов, мгновенно подсчитав: „Ей минимум тридцать шесть!“ - Я в свое время тоже служил в армии. И - только крепче стал. Твой сын не будет вечно сидеть под маминым крылом.

- Да, ты прав, конечно, но если бы хоть знать, что он станет служить у нас в Литве. Чтобы не было национализма.

Не глядя на Белова, она спросила:

- У тебя есть дети?

- Нет, - ответил Белов.

На улице давно стемнело, но мгристо-черное небо не было видно за стеклами, в которых двоилась внутренность комнаты... И были неподвижны два выхваченных из сумрака электрическим светом лица.

- Что бы ты хотела сейчас? - спросил Белов.

Гражина задумалась.

- Это очень трудно сказать, - промолвила она. - Всегда хочется так много!

- И все же? - ожиданием ответа настаивал Белов.

- Тогда... - Очи ее блеснули. - Это яблоко!

Белов взял из тростниковой сухарницы яблоко и протянул Гражине.

- Ты - достойная дочь великой прародительницы, - сказал он.

- Нет, не поняла? - вопросительно взглянула она на Белова.

- С яблока начинала Ева.

- О, да! - засмеялась Гражина. - Это так.

Белов погасил торшер, опустился перед нею на корточки, кистями рук обнял ее ноги под коленями и, чувствуя в темноте совсем рядом запахи ее туфель, чулок, одежды, яблока и на ладонях и пальцах - горячую тяжесть ее ног, скользя по ее капроновым бедрам, склонился к ним своим лицом.

„Другая!“

Его постоянной женщиной была двадцатипятилетняя чертежница из конструкторского бюро, хищная, тонконогая, с угловатыми плечами, впалым животом и холодными анемичными пальцами - ее так легко, так удобно было держать в объятьях.

Здесь все было неповоротливым, большим и горячим. Это был иной женский мир.

- Я хочу немного пойти на улицу, - прошептала Гражина. И добавила неведомым Белову, чистым и ясным голосом: - Совсем немного!

Они шли вдвоем по пустой аллее вдоль набережной реки. Поначалу далеко впереди маячила маленькая фигурка человека с собакой; собака носилась меж черных стволов заиндевевших деревьев, подбегала к человеку, подпрыгивала - очевидно, он что-то бросал ей и она ловила на лету.

Холодные, безжизненные теплоходы чернели у берега, поставленные здесь на зимнюю стоянку. Река была во льду, тоже тиха и безжизненна. На той стороне на мачтах, кранах, доке, на темных корпусах военного завода горели редкие огни; сокрытые от глаз могучие механизмы сопели там, завывали, кашляли, уходил к небу сияющий голубой пар, но звуки не касались тишины, были как бы вне ее, и от этого казалось, что там, за глухими бетонными стенами, делают что-то зловещее, недоступное взгляду. И это придавало ночному пейзажу особое тревожное очарование. Без крестов, темною мертвой громадой возвышалась над домами морская церковь.

Гражина молчала. Льдинки на ее шерстяной шапочке сверкали острыми лиловыми искрами. И вокруг противотуманных фонарей, люющих свой свет на яркие газоны и синие трамвайные рельсы, расплывчато сияли желтые кольца.

- Знаешь, что в этой церкви? - сказал Белов, остановившись. - В ней сделан искусственный ледяной каток для тренировок спортсменов-фигуристов. Мы - чудовищная нация.

И они долго смотрели вверх на темный, недосягаемо высокий купол.

„Сегодня эта женщина, женщина, которая стоит сейчас рядом с тобой на пустынной замерзшей набережной, взгляд которой устремлен вверх, а сердце внимает звучанию твоего голоса... города... ночи... неба... льда, - услышал Белов, - станет твоей. Это случится, ибо это уже нельзя предотвратить. Но жизнь не задержится ею, этой женщиной, жизнь набегает из будущего и убегает в прошлое сама собою, не по твоей и не по ее воле, но потому лишь, что если она перестанет набегать, то это будет смерть, а когда убежит вся, то это тоже будет смерть. А ты прежде не знал такого имени: Гражина!“

Она сидела на полу на ковре, неподвижная, тихая, чертила пальцем по линии узора ковра, и густые русалочьи волосы свисали ей на голые плечи и грудь.

„Не то! Совершенно не то!“ - думал Белов.

Ему вдруг стало трудно от того, что она - рядом и он должен что-то объяснять ей. И еще от чувства вины перед ней за то, что „не то“. Главное, он ждал, что откроется с ее приездом какой-то потайной ход в новую полосу жизни! Ему хотелось сменить полосу.

- От Вильнюса до Ленинграда одиннадцать или двенадцать часов езды? - спросил он.

- Двенадцать, - машинально ответила она.

Он достал сигарету, сидя на тахте, закурил.

Произнести слово казалось еще более невозможным, чем продолжать молчание.

- Нет, это не любовь... - тихо сказала она.

Белов выпустил дым через ноздри.

- Любовь - долг. Мне будет нечем отдавать, - сказал он, наконец. - Каждый волен жить так, как хочет.

Она кивнула.

- Ты прав, - сказала она. - Просто жалко, что это не любовь.

Она поднялась с ковра, подошла к своему чемодану, вынула аккуратно сложенную ночную рубашку, надела ее, завязала у горла тесемки.

- Ладно, - сказала она, вдруг улыбнувшись. - Сегодня тебе от меня все равно не избавиться. Потерпи до завтра. Завтра я уеду.

Рубашка была из тяжелого сурового материала, белая с простеньким голубым рисунком.

И Белов вдруг остро и очень болезненно почувствовал, что она - домашняя женщина, что за нею действительно стоит дом, уют, здоровая домашняя еда, чистое белье и чистоплотный запах, что к ней подходит слово „мама“.

- Где мне спать? - спросила она без тени злобы или раздражения.

- Еще выпьем, - сказал Белов. - Спать ты будешь со мной.

Она посмотрела вокруг себя, словно хотела удостовериться, что ей действительно больше негде спать, как только рядом с Беловым, и сказала:

-Я лягу у стенки.

Белов встал, протянул ей рюмку.

- Гражина! - Он задумался, вдруг усмехнулся и спросил: - Из какого материала твоя рубашка?

- Из льна, - ответила она.

Он коснулся ладонью ее плеча, посмотрел в глаза...

- Нет, - сказала она, легко уклоняясь. - Пожалуйста! Ты меня больше не трогаешь. Этот вопрос мы уже решили. Я лягу у стенки. И ты ложись и спи. Теперь надо хорошо выспаться, - это я тебе как врач говорю.

Она уехала на утреннем поезде.

Перед выходом из дома она попросила разрешения позвонить по телефону в Вильнюс и коротко - может, от привычки экономить деньги, а, может, не хотела оставить после себя крупный счет - поговорила по-литовски с сыном. Ее голос был свободным и естественным. Ни тени раздражения или обиды на Белова не было в ее лице.

А у Белова все время было ощущение, как будто он видит свой взгляд со стороны. И он знал, что взгляд его воровской,

суетливый и что исправить свой взгляд он не сможет, пока она будет рядом.

Она попросила не провожать ее, но Белов поехал провожать.

В полутьме валил снег - досадный повтор вчерашнего утра. Здание вокзала, освещенное декоративной подсветкой, гигантский памятник Ленину в полусферической нише фасада, мост через Обводный канал - все казалось зыбким, сиюминутным, нереальным.

Белов посадил ее в поезд и, что было уже совершенно лишнее, стоял на платформе у вагонного окна.

Он так ждал отправления поезда, что пропустил тот момент, когда стена вагона беззвучно поплыла мимо него, унося с собою лицо Гражины.

И вот уже летели в вихре снега, сливаясь в одну желтую полосу, горящие окна.

Вдруг, ударом воздушной волны по лицу, открылась пуста. Кто-то трехглазо взглянул из ее недр на Белова, и он узрел три красных огня на стремительно удаляющемся торце последнего вагона.

Город медленно возносился к небу, которого не было...



Елена АКСЕЛЬРОД

НА ЯЗЫКЕ РОДНОМ

О ЕЛЕНЕ АКСЕЛЬРОД

Ее вряд ли назовешь народным поэтом. Да и настоящая поэзия ни в какие времена не была народной. Вяземский скупал чуть ли не весь тираж Пушкина, чтобы подарить друзьям. А Петрарка и вовсе сочинял для одного адресата.

Елена Аксельрод пишет для своего, избранного читателя. Пишет о себе, о своем отце, известном художнике Мере Аксельроде, о своей матери, писательнице Ревекке Рубинной, чудом уцелевшей от расстрела вместе с группой еврейских писателей, о сыне, пока менее известном, но талантливом художнике Михаиле Яхилевиче, маленькой внучке Кате. Она пишет для узкого круга своих почитателей, в число которых давно вхожу я и теперь хочу ввести чита телей „Время и мы”.

Боюсь быть неправильно понятым. Елена Аксельрод -

член Союза писателей СССР, автор двух изданных сборников стихов: „Окно на север” (Москва, „Советский писатель”, 1976) и „Лодка на снегу” (там же, 1986) - сборников резанных и удушенных рецензентами (вышеупомянутыми поэтами для народа), редакторами и цензорами. Остальное - многочисленные книжки стихов для детей с картинками и неизданные машинописные сборники, которые потихоньку дарились близким людям:

Перемены последних лет коснулись и Елены Аксельрод. Подборки ее стихов появились там, куда ее десятилетиями не пускали: в „Новом мире”, в „Огоньке”. Забрехала новая книга. Только вот тематику просили расширить. Говорить не только о том, о чем хочется, но и о том, что сейчас надо. И конечно, опять ждать своей очереди. И опять поэтесса последняя, а впереди по ранжиру „народные” поэты. Поэтому или по совокупности многих причин Елена Аксельрод поехала недавно с семьей в гости в Израиль и стала невозвращенкой.

Вы знакомитесь с поэтом высокой культуры, тонкого вкуса и чистой мысли. С поэзией, непонятно чем берущей за душу. С точным и искренним словом, вытасненным из потока лжи. С ассоциациями, найти которые дано не каждому. Поэт пишет о том, как „не своею волей валила в снег таежную сосну”. Она пишет о тех, „кого с земли спрашивали круто”, о сожигательстве звезды и магендавида в несчастной стране, о безлюдных задворках российского стиха. Впрочем, пересказ поэзии - неуместное занятие, и лучше обратиться к тому, что в последние годы создано поэтессой.

Юрий ДРУЖНИКОВ

НА ЯЗЫКЕ РОДНОМ

Бабка моя читала
Только справа налево.
Моего языка моя бабка
Так и не одолела.

Справа строка, слева строка -
Мамины строки скрестились.
Предков моих языка
Мне не пришлось осилить.

Строчки мои по странице
Слева бегут направо.
Но в этой стране родиться
Я не имела права.

На языке моем,
На языке родном
Будет орать погромщик,
Когда ворвется в мой дом.

Мне не смешаться с толпой,
Мне от нее не скрыться,
Мама, родство с тобой,
Мне никогда не простится.

1964

НА ПОСЕЛЕНИИ*Ю. Даниэлю*

Задула свечи я. Окно прозрело.
В него ввалилась желтая стена.
И неподвижная звезда горела.
Как я и он, не знающая сна.

Я в этой комнате, прозябшей, белой,
Нечастый гость - не дочь и не жена.
И снова я, как девочка, робела,
И жизнь моя казалась мне смешна.

Здесь мебель - подоконник, стул да свечи.
Во временном жилье, как на вокзале,
Сидели мы всю ночь. Худые плечи,

Взгляд испытующий и борозды вдоль щек
Который раз о том напоминали,
Чего я не могу и что он смог.

1970

СТРОЕВАЯ

Голубые снегири,
Красные мундирчики -
По зиме поводыри,
По сугробам дырчатым.

Давит плечи мне мундир,
Наглухо застегнутый.
Непреклонен командир,
Битвами не согнутый.

Я в строю чеканю шаг -
Пусть пока на месте.
Мне ль судить, кто будет враг?
Служба - дело чести.

Голубые снегири,
Красные мундирчики,
По зиме поводыри -
Зря меня вы кличете.

Нам летать нельзя в строю -
 Попадем на мушку.
 Без приказа лишь пою,
 Да и то - в подушку.

1976

Как подмывает вашу жизнь пригубить!
 Но я свою еще не допила.
 Ее держу на краешке стола,
 И жду - погубит или приголубит.

Я пью такими малыми глотками,
 Что кажется - все полон мой сосуд.
 С горы, с которой храбрые бегут,
 Скольжу я семящими шажками.

Как неопасно сыплется щебенка
 Из-под нетвердых боязливых ног!
 О кто бы оступить мне помог,
 Чтобы разверзлась наконец воронка...

Над пропастью расставленные ноги,
 Нам запоздалым, не дано свести.
 Мы истуканы посреди дороги.
 Не сдвинуть нас, не скинуть, не спасти.

1979

Э.Л.ЛИНЕЦКОЙ

Вам довелось встречаться с Блоком,
 Перекликаться с Пастернаком,
 Платя глухим тюремным сроком,
 Зловонным гибельным бараком.

Но вас, в ком человек не умер,
 В палачестве тридцать седьмого -
 И в нынешнем мертвящем шуме
 Спасает то - живое - слово.

А мы учителей не знали,
 Нам дух свободный не по средствам.
 С младенчества нас распинали,
 Без нас распорядясь наследством.

Мы без корней, мы без призванья,
 Во вставшей на дыбы вселенной.
 Мы ждем другого наказания -
 Развязки общей и мгновенной.

1980

* * *

Из вагона метро мне не выйти -
 Здесь тела сжаты зимнею ватой,
 Здесь глядят на меня, ненавидя,
 Точно я в холодах виновата.

Точно в слякотной стуже апреля
 От меня лишь исходит угроза.
 День за днем, за неделей неделя
 В их глазах я торчу, как заноза.

И я думаю: „Боже, как лестно,
 Коль они по заслугам со мною...“
 Но как смрадно, как душно, как тесно -
 Этот грудью прижмет, та - спиною.

И чем дальше, тем больше открытий:
 Это мне отвечать за погоду,

Но опомнитесь, дверь отворите -
 Растоплю все снега вам в угоду.

Наконец из клещей вырываюсь,
 И, укрывшись за дальней стеною,
 Озираюсь и мстительно каюсь:
 Небо снова затянуто мною.

1980

Не написать „Божественной комедии“,
 „Потерянного рая“ не создать,
 Не выбьют наших профилей на меди,
 Потомок наш не будет рассуждать
 О смысле наших дел, пророчеств наших,
 Нам не жалея почестей монарших.

В комедии житейской поневоле,
 Тоскуя по великим временам,
 Ничтожные разыгрываем роли,
 Хоть веку нашему премного драм
 Досталось, да таких, что ужаснуться
 И Дант бы мог... Кому же хватит сил
 Бессмертными словами тех коснуться,
 Кого наш век под гром фанфар казнил,
 Им обещая обретенье рая
 И в яму оркестровую швыряя.

1985

* * *

Неужто снег? Неужто лес?
 Но рядом ропщет площадь.
 Что нам в спокойствии небес?

И свет исчез, и Бог исчез,
 И нет их в сонной роще.

Забыла площадь, ошалев,
 О бессловесном Благе.
 Ревет тысячелик гнев,
 И нет земли, и нет дерев -
 Лишь лозунги да флаги.
 Как люди доняли людей!
 Как страшно ненавидим
 За то, что в скудости своей
 Мы сторонились площадей
 И ропот был невидим.

Не смоят легкие дожди
 Пудовое молчанье.
 Так не суди и не ряди,
 Какие громы впереди,
 Какое воздаянье...

1988

ЦАРЬ ИРОД

Царь Ирод
 Храм возвел,
 Но в памяти веков
 Он иродом, он палачом остался.
 Не худший из царей -
 угодлив, но толков,
 А помнится лишь то,
 как он пред Римом стлался,
 Как тронулся умом,
 труслив стал и жесток,
 Звал гладиаторов,
 и сам свой Храм обрек.

Он славил Августа -
 он бойню отдалял.
 А что народ? Роптал
 и все взывал к Мессии.
 Лишь сгинул царь,
 воитель-Рим распял
 Мятежников, и в гордой Самарии
 Наследник Архелай не отстоял свобод,
 Страну подмяла Римская волчица.
 Иродианами размыт народ,
 И красный след за Иродом влачится.

1988

* * *

Брожение, отображение
 Просаженных десятилетий.
 Живой меняет снаряжение,
 Живой барахтается в Лете,
 Историю трет наждаком -
 Убитый мертв, но все ж словесность
 Припоминает честь и честность,
 Листая дедовский альбом.

Почти забыты, чуть знакомы,
 Расплывчаты черты лица...
 Куда ж девались те альбомы,
 Где встретишь брата и отца?
 Не отыскалась та страница -
 Лист вырван спешно, вкривь и вкось -
 Где их последний взгляд хранится -
 Лишь пятна бурые насквозь.

И где хотя бы негативы,
 Где снимки в профиль и анфас,
 Тех, убивавших, тех, кто живы,
 Кто выполнит любой приказ?..

1988



Михаил КРЕПС

ПРИРОДУ ПРОБУЕМ НА ВКУС

ПИСАТЕЛЬ, 1956

Ловить бы бабочек, как звонкие слова,
 На легких девочек смотря тяжелым взглядом,
 Перед читателем заморским - трын-трава,
 Не соглядатаем, так хоть бы нимфоглядом.

В отчизне чопорной теперь не до Лолит
 И не до бабочек, - а было ли иначе?
 Все стройки, да борьба, да чемоданный быт,
 России не до нас и не до фраз тем паче.

Искусство - это ром. А может, это бром?
 А может, дом? Прохожих удивляя,
 Вот грузный он бежит с двусторчатым пером,
 С сачком на палочке камену догоняя.

СТИХОТВОРЕНИЕ В ГОЛУБЫХ ДЖИНСАХ

Американские мальчики
 В голубых джинсах,
 Американские девочки
 В голубых джинсах,
 Пиво из горлышка
 В голубых джинсах,
 Закуски на зубочистках
 В голубых джинсах.

Смелая улыбка
 В голубых джинсах,
 Золотая рыбка
 В голубых джинсах,
 Месяц над Нью-Йорком
 В голубых джинсах,
 Лимонная корка
 В голубых джинсах.

Праздничная ракета
 В голубых джинсах.
 Общая сигарета
 В голубых джинсах,
 Быть или не быть? -
 Вопрос без ответа...
 Нью-Йоркское лето
 В голубых джинсах.

4 июля 1982 года

РАССВЕТ С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ

Отовсюду можно поднять глаза к небу.
 Но приходит рассвет с завязанными глазами,
 И не двигается от страха в траве кузнечик.

За тобою, куда бы ты не поехал,
 Будут следовать твои грехи и пороки,
 И из прошлого будут махать руки
 Впереди вагона.

Воробьев бутоны на голых ветках
 И чужие девушки в легких косынках
 Будут лишь повторениями пространства
 В пыльных пейзажах.

Ну, а если опустишь глаза долу,
 Встретит взгляд впитавшая свет солонка
 С ледяными зрачками и белым сердцем,
 Как супруга Лота.

НАШИ ИМЕНА

В глубине холодных комнат
 Опустевшего музея
 Бродят грустные кентавры
 По паркетным мостовым.

А со стен глядят герои
 Из двенадцатого года
 На святых и на вахханок
 В полупрофиль и анфас.

Иногда проходит мимо
 Фрейлина или принцесса,
 И нашивки на мундирах
 Начинают золотеть.

И стареющий фельдмаршал,
 Положив ладонь на шпагу,
 Смотрит на шуршащий бархат,
 Вспоминая дым побед.

Радостные живописцы,
Умирающим искусством
Победившие столетья,
Где ваши имена?

Наши имена - мундиры,
Складки на атласном платье,
Зайчик на эфесе шпаги,
Живость взоров, дым побед.

ПЧЕЛА

Из тесной трубочки цветка
С добычей пятится пчела
С улыбкою у хоботка,
С мохнатой думой у чела.

Не сосчитать пчелиных лет,
Да и какое дело нам,
Не отличившим пустоцвет
От чаши маленьким богам.

Мы чудом не удивлены,
Природу пробуем на вкус,
Сосуды топчем без вины
И убиваем за укус.

А ты летишь легка, легка,
Сестра цветка и ветерка,
Опустошенная душа,
В крылатом воздухе шурша.

SILENTIUM

Ложью мысли в непогоду
Изреченной удручен,

Я бутылку бросил в воду,
Не желая быть прочтен.

Пусть слова живут отныне
Во стеклянном во дому,
Не услышанные и не
Сказанные никому.

Обольщенья, обещастья,
Вам ли годы воскресить?
По ту сторону прощанья
Нам прощенья не просить.

По ту сторону молчанья
Не услышать вам приборой.
Что ж, счастливого качанья
По пучине мировой!

СКВОРЕЧНИК

Скворец зовет в свое гнездо
На колоколе ноты „до”.
Вращает дерево земля
На колоколе ноты „ля”,

Скворец вращается с землей,
С древесной музыкой, со мной,
Заглядывающим в круглый вход,
Заглатывающий небосвод.

Беспечной жизни коробок,
Вчерашней музыки гробок,
Квадратный праздник на гвозде,
Мигающий двойной звездой.
Скворец не думает о том,
Зачем ему построен дом,

Зачем приказано: „Лети!“ -
 Была бы музыка в груди.

В пути, в полете и в раю
 Мы ищем музыку свою,
 Чужие пусть вокруг поля -
 Была бы музыка своя.

И больше не найти вины -
 Бежать от музыки-тюрьмы,
 Бежать от голоса ночей,
 Прикрывшись кличкой „ничей“.

Но дом, что с музыкой знаком,
 Молчит под звездным потолком
 С открытой черною дырой
 Немзыкальною порой.

КУЗНЕЧИК

Один на один со стихией жизни
 Кузнечик хлопочет в своей отчизне
 Коленчатых трав и цветочных чашек -
 Зеленый солдатик - то Швейк, то Гашек.

А мир - то война, то сплошная шутка,
 И Швейку смешно, а Гашеку жутко,
 И каждый глядит из травы неотважно,
 И только вдвоем им почти не страшно.

Вот так и хлопочет весь день кузнечик -
 Стрекошет и строчит двойной человек,
 Укрывшись от глаз кровожадных пташек
 В зеленом тылу, полу-Швейк, полу-Гашек

ОСЕННИЙ СТРИПТИЗ

Осенний лист, невольный лицемер!
 Я узнаю себя в твоём обличье -
 Есть что-то нарочитое и птичье
 В попытках наших соблюсти размер -
 Каков в наличье,
 Мол, глазомер!

Ты скажешь, чувство меры - не порок,
 И домосед счастливее скитальцев,
 Но время ускользает из-под пальцев,
 Но молодость уходит за порог.
 А где пирог?

Важнее стали цели, чем процесс,
 Подруги отцвели и пожелтели,
 Слова любви, ужель вы в самом деле
 Лишь юности восторженной эксцесс,
 И чай в постели
 Важней принцесс?

Ромашек тлен - гадали о любви,
 Букеты рифм - дарили на прощанье,
 Но не поймать - уж как там не лови! -
 На ветер брошенные обещанья.
 На смену глаголанию - молчанье.
 Что ж, селяви.

„Забудем чувств незрелых парадиз!“
 Звучит девиз заносчивого друга.
 Но юности никак не выйти из
 Воспоминаний замкнутого круга.
 То памяти медвежья нам услуга
 Или сюрприз?
 Крути стриптиз
 В окне, округа!

КОГДА В ПАРАДНОЙ ТАЕТ ЖЕНСКИЙ СМЕХ

Когда в парадной тает женский смех,
 И ворон, сторож самому себе
 Невольный, думает, что держит в пальцах провод,
 И, мирный, ртутной бусиной сверкает
 На потемневший свет, летящий снег
 На памятники надевает шапки
 И рукавицы и глаза слепит
 Всем ждущим, и идущим, и грядущим
 Внутри идущих. Ворон сторожит
 Квартал и парк, Россию и разлуку,
 Или они его? И черный провод,
 Собою заменяя горизонт,
 Качает ворона, и парк, и крыши
 И зажигает лампочки в парадных
 И свет в глазах. Иль это горизонт
 Оживший натянул себя упруго
 На изоляторы столбов и в стены
 Проник? Неважно! Ворон на ветру,
 И фонари, и памятники в шапках,
 И крыши образуют новый мир,
 Неповторимый, грустный и крылатый,
 Как время, как метель, как женский смех.

ТЫ В ПЛАТЬЕ ИЗ ИЮЛЬСКОГО ДОЖДЯ

Марине

Ты в платье из июльского дождя
 В тот вечер мне казалась совершенством
 На южном пляже в воду заходя
 И в наше прошлое, ко мне спиной
 И к океану тем, что я с блаженством
 И женственностью рифмовал, виной
 Тому была небесная вода,

Которая с земной сливаясь, вечный
 Круговорот воды осуществляла
 В природе и круговорот любви,
 Всех бывших до тебя соединяя
 С тобой, всех бывших до меня - со мной,
 И было тело Богом и волной.

И было тело Богом и волной,
 И я, еще не зная тайны слова
 И тайны тела женского, чужого,
 Стараясь сократить водораздел,
 Разъединявший нас и в то же время
 Соединявший, понял смысл иной
 Любви - не чувства, но первоосновы,
 Первопричины притяженья тел
 Небесных и земных, как бы по кругу
 Идущих вместе: не тебя ко мне
 И не меня к тебе, а нас друг к другу
 Влекущего. Без звука, без лица
 Разлитая в немой первоприроде,
 В людских зрачках и водных зеркалах,
 В огне и в пепле, при любой погоде
 Любовь как мы - подобие кольца
 И Бога - без начала и конца.

11 ноября 1989 г.



Леопольд ЭПШТЕЙН

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ СНЕГ

И все, что не сбылось и сбыться не могло,
 Сегодня грудь мою вдруг обручем стеснило.
 И небо плакало, и солнце голосило,
 И дерево засохшее цвело.
 И все, чем не был я, чем я пока не стал,
 Меня толкало к неблагополучью,
 Из мертвого ствола росли живые сучья
 С цветами и росой на заспанных листьях.
 И было днем темно, а по ночам светло,
 И я простил тебе, и ты мне все простила...

А то, что не сбылось и сбыться не могло,
 Мне мстило за себя. И справедливо мстило.

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ СНЕГ

ФАНТАСМАГОРИЯ

В лесу горит электричество. На самом высоком пне
 Стоит Воспитатель Юношества и в Развернутый план урока
 Глазом косит. Качается сосенка, а под ней
 Машет хвостом-указкою взбалмошная сорока.
 Тираны слушают сказочку о Золотом Петушке,
 Сидя рядом на стульчиках. На тиранах - рубашки в клетку.
 Кошка крадется к голубю, и в каждом ее шажке -
 Лоск благородной поступи сорока поколений предков.

НОЧЬ БЕШЕНСТВА

Откуда это бешенство? В ночи -
 Светло и тихо. Душный летний день
 Сгорел, перекалившись. Словно дрель,
 Вращает нас земля вокруг оси,
 И мы буравим время - как сверло.
 Откуда эта ярость? За окном
 Спокойный тополь мыслит сон. Часы
 Показывают три. Пока светло
 Лишь от луны, но чистые ключи,
 Заранье сверившись с календарем,
 Готовятся к рассвету. Фонари
 Погаснут через час, а их щелчки
 Разбуженным воронам возвестят,
 Что налицо - явление зари.
 Так почему ж нестоящий пустяк
 Сорвал меня с постели, и, дрожа,
 Фиксируют сейсмографы души
 Далекые, но мощные толчки?
 И ненависть внезапная, как жар,
 Мгновенно обволакивает мозг,
 И женщину, которую люблю,
 Я ненавижу?.. Вероятно, так

В сплошной стене зенитного огня
 Безумный летчик в ужасе немом
 Бросает бомбы на проклятый мост,
 И мозг его, как раскаленный шар,
 Переполняя черепа объем,
 Ажурную конструкцию крушит.
 А ночь идет, и что ей до меня?! -
 Энергия в пять миллионов бомб,
 Скопившаяся за три тыщи миль
 В тайфунах у далеких берегов,
 Здесь вызывает легкий ветерок.
 Тоска, безумье, ненависть, любовь -
 Малы по модулю. Реальный мир
 Приподымает тополя листок
 И вновь роняет. Тихий океан
 В себя вбирает желтую Янцзы.
 В Кейптауне - разгар зимы. А я
 Опять забыл полученный урок,
 Опять живу, испытывая боль,
 И снова должен повторять азы.

Сиротливо стоят автоматы, у которых оборваны трубки.
 Трупный запах грядущего в грязные урны зажат.
 Я иду в гастроном совершать по хозяйству покупки,
 И пустые бутылки молочные в сумке моей дребезжат.
 В скособоченном небе - ни намек на Божьи Пророчества,
 Откровенья смешны и давно устарели как жанр.
 Резво тянется к небу шедевр вавилонского зодчества,
 А в складских помещеньях начинается грозный пожар.

* * *

Зимы великолепной
 Последние деньки -

Мороз узоры лепит
 На стеклах, и коньки

Звенят. А ночью в поле
 Хрустит в снегу звезда -
 Как нас учили в школе
 В далеком иногда.

И снег хрестоматийный
 Разбрасывает свет.
 И никаких мотивов
 Для огорчений нет -

Как будто нас относит
 От страхов и потерь.
 А что там будет после -
 Так это не теперь!

* * *

Какой туман! Протянутой руки -
 И то не видно. Улица пустая -
 Что книга, где не видишь ни строки,
 Зачем-то в темноте ее листая -

Как бы лаская. Ни деревьев, ни
 Строений, ни автомобилей. Что там
 Туман мне шепчет? Удержись? Рискни?
 И грош цена любым моим расчетам.

Откуда-то из тьмы, от фонаря
 Исходит свет, с источником не связан.
 Неужто жизнь построена и впрямь
 Как попури из архаичных сказок,

Из мифов всяческих? Протянутой руки -
 И то не видно. Что там - за туманом?

Где наши лоции? Где маяки,
Путь указующие нам? Куда нам

Плыть?

* * *

Моей профессией становится огонь
(Вода и трубы всякие - в придачу).
Любуюсь пламенем, от дыма плачу,
Не жду удач и не боюсь погонь.

Да-да, не уповаю, не боюсь.
Стараюсь жар поддерживать на совесть.
Забывшись, лбом о притолоку бьюсь,
Сам над собой - ведь больно же! - смеюсь.
Одетым сплю и к худшему готовлюсь.

Огонь, вода и трубы... - антураж!
В конце концов, на весь научный стаж
С высокой колокольни, извините...
Да, вот он я - не молод и не стар,
Не знаю, на краю или в зените,
Нарвавшийся на лобовой удар
(О притолоку - для смягченья прыти),
Но все же не паяц, покорный нити,
А рядовой советский кочегар.

* * *

Очередная годовщина бунта
Декабрьского. Морозец на дворе.
И тянет жить восторженно и смутно,
Как будто мы в том самом декабре.

Как будто перед обреченным строем
(Пока молчит державная картечь)
Мы говорим о Риме, о героях,
И о поэзии заводим речь;

И это нас всезнающая сила,
Не спрашивая, тащит и влечет,
Чтоб пламя нашей вспышки осветило
Листы тетради, и остался тот,

Кто смел - один! - воссоздавать мгновенье,
Не гнал чуму и не хвалил чуму,
Прощал царям неправое гоненье
И не спускал обиды никому.



ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Л.АННИНСКИЙ

И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

Ответы на „записки из зала

**„Середины нет.
И в этом основное противоречие на-
шей революции“.**

В.И. Ленин

*„Не кажется ли вам, что сознание сегодняшнего художни-
ка, писателя - катастрофическое?“*

Кажется.

Мне еще и куда больше кажется. Кажется, что, если чело-
века в любой момент можно стукнуть по голове, и виноватых
„не найдут“, если все, что ты делаешь, ты делаешь не сам, не
от себя, а как бы попуцением общества, которое может в лю-
бой момент распорядиться тобой, твоим трудом, твоим до-
стоянием... Впрочем, почему „твоим“ - твоего нет, оно все
именно общее, - навалится всем миром и сделают, что хотят, -
так вот: если живешь ты, каплею лиясь с массами, то будь го-

тов: катастрофа с тобой может произойти в любую минуту и
без всяких объяснений.

Катастрофа вообще внутренне заложена в бытие. Во вся-
кое бытие: и „у нас“, и „у них“. Она заложена и в бытие „ху-
дожника, писателя“, и в бытие всякого нормального челове-
ка. Надо только сквозь гонку, борьбу и суету прислушаться
к жизни. Все минует, все разрушается - не только мате-
риальный состав, нет, но и ценности духа, адресованные
вечности, - все уходит, искажается, выворачивается,
оскверняется. Личность - невосстановима. Есть от чего
прийти в отчаяние. Вообще жить страшно - страшна бес-
смыслица, слепота людей. И сегодня, и всегда.

Сегодня, конечно, это так ясно, что вот даже вопросы
впрямую ставятся. Растоптано все. Христианство заду-
шено за слабость, за неумение сопротивляться. Комму-
низм задушен своею же силой, захлебнулся в своей и чу-
жой крови. Ценности национальные, местные, локальные,
провинциальные, к которым отхлынул теперь всеобщий ин-
терес, - все-таки и теперь под вопросом: на них словно бы
клеймо выморочности, их дыхание коротковато в мас-
штабе мирового ритма. Великая держава расплзается,
делается второразрядной, согласна стать полуколонией.
Катастрофа.

Да я эту катастрофу всю жизнь ношу в себе! В счастливом
детстве 30-х годов, когда висело: придут, уведут отца, выгонят,
выставят. Отец ушел сам - в 1941-м и так, и эдак гибель. Потом
в счастливой молодости 50-х, 60-х годов, в самые оттепельные
годы - вечно что-нибудь „грозило“: то атомная война, то гос-
безопасность, и все время нехватки, и все время ложь. Я верил
во все химеры, во все хрустальные дворцы, во все утопии, а
чувство опасности не исчезало и жило как-то в параллель,
подсознательно, необъяснимо, но и непреложно: почти биоло-
гически; надо было по-звериному угадывать, где и как врать,
шкурой чувствовать, нервами; ошибиться было страшно: мир
над тобой так и висел, нависал, грозил навалиться.

А все же интересно. Сорок лет страна по крупной не воюет. Бунта всеобщего нет, революции нет. Россия ж столько столетий ждала, молила бога о такой передышке! Ну, вот она. И что же?

Катастрофа.

Поневоле задумаешься о том, где же тогда причины. Никто извне не саданул. Отвоевали себе шестую часть всей суши земной, отстояли. Можно жить.

Катастрофа.

Значит, рождается катастрофа от внутренних причин. Из нашего собственного состояния. Из нас самих. Из нашей середины.

Только не повторяйте мне ничего про Систему! Ни про кровавого Сталина, ни про жестокого Ленина, ни про утопичного Маркса. Потому что из всего этого мы соорудили не совсем то, что придумывал Маркс, начинал строить Ленин и вколачивал в нас Сталин. А соорудили мы себе именно то, чего явно или тайно хотели. Не на марксистской матрице, так на народнической сделали бы приблизительно то же самое. Не большевики победы - черносотенцы, ну, на хоругвях бы выстроили бы, а не на Кратком курсе все ту же солдатскую казарму пополам с деревенским фаланстером. Не Сталин, так Троцкий - один черт. Делается все равно то, на что согласен, вынужден быть согласен народ. Народ - вот реальность, причем фатальная. Все остальное - словеса, маски, надстройки, самогипноз, иллюзион. Льва Каменева (в пору, когда был у власти) попрекали безобразиями „на местах”. Он отвечал: „Значит, такой народ” - у нас-де наверху все правильно. Ну, раз так, тогда и удар топора от народа примите. Или не лезьте руководить „таким народом”. Другого нет.

С этой точки зрения наша беспрецедентная гласность как-то ирреальна. Базар слов, масок, иллюзий - взрыв самогипноза. А в корень гляньте! Что там кричат на митинге - это можно и не слушать. А вот зрелище массы людей, которые стоят на площади и дружно тычут кулаками воздух, - реаль-

ность. Тысячи людей, которые имеют охоту и возможность стоять, кричать и более ничего в этом состоянии не иметь сил делать, - реальность. Возьмите любую нашу очередь. Не семь уже, конечно, семьдесят стоит... и не с „ложками” - с красными бумажками разного калибра (а смысл в них тот, что ничего нормально не купишь). Опять же: не смотрите на бумажку, это еще одна картинка для самоохмурения, зрите в корень: вот семьдесят человек стоят в затылок бездвижно, а по ту сторону прилавка еще дюжина стоит (или слоняется), а одна - за кассой, что-то делает, шевелит пальцами, и все ее ждут. Таково соотношение работающих и ожидающих, „что дадут”. Люди меняются, а соотношение остается. Работающего человека не видать в нашей буче, боевой, кипучей, зато видны ждущие, покуривающие, кантующиеся, оружие, требующие, бегущие, чтобы успеть... Откуда ж все возьмется?

Капитальный, веками выработанный рефлекс народа: не заработать, а добыть. Отнять, перехватить, перехитрить. В другом народе человек отвернется и начнет делать что-нибудь, а у нас - пойдет искать. Справедливость наводить. Права качать. А то и морды бить.

Так от битья морд ничего же, кроме битых морд, и не выходит.

Вот она, катастрофа, сидящая внутри нас. Грозящая нам всегда.

А грозит ли она нам сейчас еще и как событие внешнее, историческое? Грозит. Но ведь если такое происходит, то для кого как, 1917 год - несомненно, катастрофа (статья Ленина „Грозящая катастрофа и как с ней бороться”, из которой у меня эпиграф, написана в сентябре). Эта катастрофа - для дворян, чьи библиотеки сожжены, квартиры разграблены, традиции попораны. А для работников, двинувшихся в город из деревни и вселяющихся в подвальные этажи, - это ж судьба-везуха. Праздник победившего пролетариата! Коммуналки, которые нагородили в бывших особняках, - это ж осуществление вековой мечты! „Слеза социализма”!

Коллективизация - это что, катастрофа? Да: для кулаков и подкулачников. А для бедняков, подавшихся не в лагеря и не в спецпоселения, а в города и в службу, севших в городах за столы перекаладывать бумажки или взявших пистолеты, - это ж шанс! Еще ведь не отвечено касательно коллективизации на самый фатальный вопрос: что первопричина? И откуда Сталин набрал миллионную армию исполнителей? И почему армию исполнителей набирали комиссары еще до Сталина, когда солдаты первой мировой войны отказывались возвращаться в деревню.

Корень нашего катастрофизма: человек с земли бежит, не хочет работать на земле. Надо ему вернуться, иначе - гибель всем. Надо растащить толпы орущих людей, чтобы каждый начал что-то делать, занялся чем-то конкретным, что улучшало бы его жизнь. Человек на земле - корень всего. Отдать бы ему землю...

Не возьмет?

Почему?

„Обманули“? „Не туда завели“? Посулили „дворцы“, а впихнули в „барак“?

Во-первых, кто обманул? Откуда набежали обманщики, экзекуторы, исполнители? Не из своих ли рядов? Значит...я сам обманываться рад"? Значит, во мне, во мне продолжает сидеть первопричина катастрофы, а не в том, что с „Запада“ явились иллюзионисты. Кстати, скорее с „Востока“, чем с „Запада“, - лень-то в нас „азиатская“ на том оно и выстроилось. С Запада - „слова“. Да слова-то вывернуть легко. И с Востока, простите, всякое можно брать: у японцев азиатской лени нет... Так что на себя приходится оборотиться. На себя перелицевала Русь западные „слова“. С тем и взяла. Впору пришлось, а иначе оставались бы западные идеологи там, куда их теперь спешно препровождают: в музеи теорий.

Во-вторых, как же это „не туда“ завели? Именно туда, куда нам так хотелось. Именно то мы и получили, на что польстились. Хотелось всеобщего равенства? Получили. И не го-

ворите, что это равенство „в нищете“. Скорее, равенство в лукавстве, потому что все спрятано: все концы и начала. Никто не знает, у кого сколько и кто чем распоряжается. Все равны и все „заподлицо“. Хотелось гулять по земле, как „хозяева“ гуляют? Осуществилось: гуляем. Шестая часть суши в нашем распоряжении. Так шатаемся, что железные дороги трещат. Никто ни к чему не привязан - все вольны. Есть что-то общее - психологически - между „гражданином мира“ и бомжем. Все мы бомжи, не физически, так душевно. Гуляки вселенские. Главное - чтоб была „необъятность“. Вот мы ее и имеем. Трудно было сидеть на своем клочке земли? Трудно. Тяжко было копаться в земле? Тяжко. О чем мечтали? Перестать „копаться“ - воспарить. А работа как? А работу - машинам передать. А самим что делать? А песни петь. Так и мечтали. Как это у Маяковского про коммуны: „И будет много стихов и песен“. Все без обмана: стихов и песен навалом: голова гудит. А природу зачем покорежили? А затем, чтобы она нас „сама“ кормила. „Взять их у нее - наша задача“. Взяли. Все эти плотины, дамбы, лесополосы, повороты рек, вся наша гигантомания не безумство, а мечта о высшей производительности. Разве ж мы хотели губить землю? Мы хотели заставить ее работать. И, надо признать, это нам удалось: у нас ведь действительно все самое дешевое в мире: вода, земля, топливо. Даром берем. Земли нашей аж на семьдесят лет хватило, пока дно показалось: большая. Дедушки много завоевали. У других значительно скорей иссякает. А мы изпод себя одну только нефть четверть века продаем. И проедаем. И песни поем. Гласность.

Так что, извините, никакого обмана. Построили именно то, что хотели: общество гарантированного минимума при фантастической возможности гулять, халтурить, имитировать, обозначать занятость.

Конечно, сколько веревочке не виться, а кончику быть. И недра иссякают. И леса кончаются. И душа, надо сказать, тоже не выдерживает. Оно, конечно, бежать и искать, где

„дадут”, вроде бы и легче, чем вкалывать, горбатиться и упираться рогами. Один ковыряется — семьдесят стоят с ложкой... виноват, с бумажкой: с чеками, талонами, записками, новенькими рублями. Так при таком стоянии-то, при вечной неизбывной нашей о ч е р е д и еще хуже нервы себе сожжешь, чем при любой работе! „Это другой вопрос”? А может, это и есть главный вопрос, а все остальное - „другое”?

Скажи людям: мало работаете, убьют. Потому что мы не „мало” работаем. Мы много работаем. Но мы работаем глупо, темно, вслепую. Мы именно „упираемся”. Мы работаем хаотически. У нас мозгов не хватает, мы их возмещаем мышцами и воображением. Проспали-таки компьютерную революцию, прогуляли, пропели. Танки считали: у кого больше - у нас или у них. Кулаки щупали. А надо было еще и мозгами крутить. Да вокруг посматривать: что во всем мире делается. Почему-то „у них” с помощью трижды клятой „копейки” все получилось: и экономика, и оборона, и, простите, счастье. А мы все „упираемся”, „свои пути” ищем. Как бы, не тратясь, приобрести. Не напрягаясь, догнать. Перенять да отнять.

Теперь обижаемся: „Мозги за границу утекают”. И будут утекать! А не унижайте интеллигенцию, не гоняйтесь с топором за священником, не топчите культуру. Глядишь, и „мозги” появятся. А иначе - так и эдак в дураках сидеть. Полуколонией будем, колонией, на карачках поползем к очередным варягам: придите, владейте, мы, дураки, опять меж собой передрались, не способны.

Горе горькое - эта нескончаемая наша под коркой скрытая катастрофа. Горе - потому что фатум. Не „Троцкий зарвался”, „Ленин ошибся”, „Сталин задавил”. А фатальная наша неспособность сопротивляться тому, кто скажет: бери оружие - пойдем добудем молочные реки, кисельные берега! Почему верим? Почему хватаем дубину и идем? Почему русский человек не посылает таких агитаторов куда подальше, почему идет за ними, и ищет Опоньского царства, и всякого пустосвята в красный угол сажает?

Что, прост, доверчив наш человек? Да, нет, лукав, сметлив и себе на уме.

Почему же по крупной так всему верит?

А деться ему некуда. Земли охвачено много, а границ естественных нет. И дорог нет. Вязнешь на этой бесконечной земле: сплошные медвежьи углы. И ненадежна: то недород, то придут, затопчут, отнимут. Или ты отнимешь. И ничего не улучшается от трудов - все как в прорву.

Две извечные фатальные черты русского природного базиса обнажились в нынешней „катастрофической ситуации”: отсутствие дорог и отсутствие границ. Они связаны, эти две стороны нашего ландшафта. Это ведь только кажется, что когда есть дороги, то люди шатаются по свету, а нет дорог - сидят. На самом деле наоборот: когда есть дороги, и при нужде всегда можно поспеть, - люди сидят спокойно на своих местах. А когда нет дорог, и „сесть” означает „врасти”, так и валят куда угодно, только бы не закрепоститься. Бегут с земли в город - именно потому, что дорог нет. Бегут кто куда - значит, границ нет.

Нужны либо дороги, либо границы. Дороги строить тяжело, долго, дорого. Слишком бесконечна хлябь наша - столько отвоевали деды, что и внуки освоить не могут. Дергается импульсивно наша земля - разграничиться как-нибудь, остановить самум кочевья - пытаются отломиться окраины. Пытаются отгородиться от нас меньшие иноязычные братья, но и русские люди, словно осточертев сами себе, с а м и от с е б я норовят отделиться, меж областями устраивают границы, а страшно - страшно все разорить, все потерять при этом: гибнет величие, пропадает держава, теряется мировая задача.

Да, так. Страшно. Но в корень зрите: причина - внутри нас. Извечная. Не освоили землю - потеряем. Нет сил, надорвались - никто не поможет. Пропили, прогуляли землю - так сами ж пропили, сами прогуляли. Трезветь тяжело, но куда денешься?

Катастрофа.

„Как с ней бороться“?

Это второй поставленный мне вопрос.

„ Утрата духовного лидерства, вторично за столетие недостигнутые цели обновления Родины, ссора, смута, порожденные расколом общества, начатого с раскола культуры, - все это должно порождать в писателе чувство вины, тоски, увести его с общественного форума в угрюмое одиночество “.

Почему же обязательно угрюмое? Оно может быть и светлое, умиротворенное - одиночество. Все зависит от того, зачем оно человеку. И от того, зачем оно обществу.

Утрата духовного лидерства - да, факт. По грехам и утрата. И никакой тут „руссофобии“ - просто констатация. Нечего искать виноватых на стороне, их там нету; источник нашего глобального поражения - в нас самих, в том самом „среднем“, „низовом“, „рядовом“ русском человеке, который взвалил на плечи такую махину, такую страну - и надорвался. Кто обвинит его, когда он сам более всех страдает? Кончились силы - значит, кончились. А появятся силы - так и точки приложения найдутся. Из „середины“ должно пойти. Роли оформятся.

Глобальная-то миссия откуда на нас свалилась? Мы что, выпрашивали ее себе? Нет, ходом вещей сошлись, скрестились в этой точке земли мировые силы и назвались - Россией. И не было никаких чистых „прарусских“, которые осчастливили человечество культурой мирового уровня, а создали эту культуру потомки славян, финнов, татар, немцев, поляков, армян, грузин, евреев, которые сходились здесь, и становились русскими, и хотели ими быть. И Карл Брюлло делался Брюлловым. И итальянцы, строившие московский Кремль государям скандинавско-византийской крови, построили русский Кремль русским государям. И черта ли мне, что Исаакий спроектирован французом, а Храм Христа-Спасителя - немцем, когда и тот француз, и тот немец считали себя русскими и стали ими, и никому в голову не вступало спросить с них „пятый пункт“.

А теперь чума какая-то: бегут прочь. Не хотят быть русскими. С пятым пунктом в зубах и бегут. В Америку, в Израиль, в Австралию, куда угодно, только вон. Целыми республиками отшатываются, как Литва, - в Европу. Не та ли самая Литва, которая четыре сотни лет назад сама хотела стать великой державой и реально претендовала на роль, что досталась Москве? И не та ли самая Литва отпускала своих сынов на Русь, и потомки их делали славу России, давали ей граждан - от царя до великого писателя? Кого ж мы теперь удержим? И как? Силой? Нет у нас той силы.

Только одно: если поднимется на земле русский человек, и прочно встанет на ней, и почувствует свою землю - с о е й , вот тогда, может быть, возродится великая русская культура. А „духовное лидерство“ и „мировая роль“ - следствия. Это все придет. Если, повторяю, очнется в нас корень.

Что писателю делать в этой ситуации?

Чувство вины, тоска, горечь. Так!

Одиночество? Да, и одиночество. Я за полсотни лет сознательной жизни ходил в стройных рядах так много, так долго и так беспрекословно - и вправо, и влево, - что рефлекс у меня выработался однозначный: отвращение. Ко всему этому. К партиям, к фронтам, к наваливанию всем миром. Ко всем вариантам „общественного форума“. Ничего специфически „писательского“ нет в том стремлении к одиночеству, которое испытывает человек после такого количества штурмов и дрангов, я даже не заменяю это слово на более благообразное: уединение. Мы все так сыты по горло всеобщей коммуналкой, что любой нормальный человек сейчас тянется к автономности. И правильно. Надо оставить друг друга в покое, надо почувствовать себя суверенными, чтобы вступить во взаимодействие, а не ввалиться в очередную свалку.

Впрочем, куда нас вынесет, разве угадаешь? Непредсказуемо. Почва такая. Надо быть готовыми к любому варианту. Надо при любом варианте умудриться быть людьми. Так и

эдак придется о душе думать. Все равно понадобится „писатель” - чувствилище.

Оставьте ему его одиночество. Чтоб выжил. Чтоб мог бороться с грозящей катастрофой.

Как с ней бороться?

Семьдесят лет назад один путь испробовали. Всеобщий учет и контроль. Всем собраться в кулак. В диктатуру. Заедино.

Не попробовать ли другое?

Семьдесят три года назад Ленин писал: „Середины нет”. Истинно так: одни края, все или ничего, мы их или они нас. В том-то и горе наше, что середины нет и не бывало для нас сроду. Если ее и теперь нет, то дело плохо.

А если есть?

* * *

Напоследок одно формальное объяснение. У меня нет духу давать людям советы, как им жить. Я не чувствую за собой права на проповедь. Я потому и стал литературным критиком, что нуждаюсь в чужом слове как в „разрешении” сказать свое. Только в отклик на чужое слово я решаюсь говорить сам. Только отвечая на вопрос, ничего не навязывая.

Так и теперь: чтобы рискнуть высказаться на предложенную редакцией тему, я попросил письменные вопросы. И получил.

Меня спросили - я ответил.



Андрей КОЛЕСНИКОВ

ПРЕССА ПАРТИЙНОГО БУДУАРА

1. ТРИ МИНУТЫ НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Ровно за три минуты, проведенные в подземном переходе Пушкинской площади, я оставил 10 рублей, скупив около 10 образцов неформальной прессы, пожалев еще пять рублей на оставшиеся 3 наименования. Свою „прогулку” я начал на выходе из метро „Горьковская”, обнаружив в каком-то явно негодном для коммерческой (и спекулятивной) деятельности углу мальчика, которого била внутренняя дрожь. Дитя было напугано полученным им поручением - продажей газеты „Пульс Тушина”, внушительная часть тиража которой была упакована в целлофановый пакет. Осчастливленный и изумленный до крайности тем, что покупатель, не задумываясь, выложил 20 копеек (всего 20 копеек!) за экземпляр, он с удвоенной энергией взялся за дело, выставив вперед руки с судорожно зажатым в них экземпляром газеты, расписанной гнусным фиолетовым цветом.

Метров через десять я окунулся в атмосферу эдакого Центрального рынка, где вместо настоящего мяса и фруктов радушные и навязчивые торговцы рекламировали уже бумажное „мясо“ и бумажные „фрукты“. Один из них продолжал кричать мне в лицо, расписывая достоинства газеты, даже тогда, когда я уже вытащил из кармана деньги. У другого немой вопрос так и застыл в глазах, когда я скупил все три вида газет, лежавших на лотке, выложив, соответственно, 3 рубля 50 копеек. Это было тем более удивительно и подозрительно, что одна из газет была очевидной „шансонеткой“ (от словосочетания „нет шансов“) и была нарисована (в буквальном смысле) человеком, явно страдающим врожденной неспособностью к черчению, не говоря уже о каллиграфии.

Наибольшим числом изданий торговал чрезвычайно контактный перезревший подросток, громогласно вравший в глаза покупателям о несуществующих достоинствах рассыпанных перед ним газет. При этом он еще успевал вести вялую, но столь же оглушительную перебранку с примостившимся напротив него побирающимся калекой. „Ты, мужик, не ори, - по-отечески журил он нищего, - а то понижу в должности!“

Рядом крутились какие-то сомнительного вида личности, чьи физиономии были обрамлены клочковатыми бородами, а глаза источали неземной свет. Они торговали порнографическими изданиями, образцами дидактической литературы, на каком-то странном диалекте русского языка в тональности народных сказок посвящающей в тайны половой жизни. На первых полосах были изображены девицы, всем своим видом показывающие, что никаких тайн нет и быть не может - **все** умещается в объективе фотоаппарата.

Издания, вышедшие из ксерокопировальной машины, которым школьные стенгазеты дали бы сто очков вперед, стоили сравнительно дешево - от 20 до 40 копеек. Более серьезные с точки зрения полиграфического исполнения газеты, в том числе и напечатанные с помощью компьютерного набора или фотонабора, на хорошей бумаге, умело смакети-

рованные, пестрящие всеми мыслимыми шрифтами (издания, как правило, прибалтийского происхождения или сверстанные в Прибалтике), стоили уже не меньше 1 рубля.

2. КАК ОТЛИЧИТЬ „ФОРМАЛЬНОЕ“ ОТ „НЕФОРМАЛЬНОГО“?

Где искать критерий неформальности? Почти все газеты, продающиеся на вокзалах, площадях, в метро и переходах, официально зарегистрированы. Те, что не зарегистрированы, выделяются своим жутковатым видом, заголовками, исполненными корявыми буквами (от руки). Тиражи этих газет можно арестовать, но кто этим будет заниматься и, главное, ради чего?..

Еще недавно „СПИДИНФО“, именуемый в простонародье „Спидометром“, который мужчины в метро читают, закусив до крови губу, был типичным неформальным изданием и вызывал праведный гнев обывателей. Сегодня - это зарегистрированное издание, выпускаемое массовым тиражом, о котором лестно отзываються специалисты - сексологи.

Словом, критерий утрачен. Поэтому, формируя свое неформальное „собрание насекомых“, я поступил предельно просто - пошел на Пушкинскую площадь, скупил почти все газеты и в соответствии с этим „пушкинским“ критерием составил свой маленький „гербарий“ неформальной прессы.

3. В ПОИСКАХ ЖАНРА

Виктор Шкловский как-то заметил, что журнал - это литературная форма. Подобного рода формой или жанром (литературным ли?) стали в последние годы неформальные газеты. Жанр этот по-своему трудный. Не то чтобы редакторы газет были взыскательны к публикуемым материалам, проблемы в другом - в окупаемости, в бумаге, краске, взаимоотношениях с распространителями, которые уже сплотились в замкнутую касту, почти мафию.

Эти проблемы - общие для многих изданий. В нынешних условиях даже четырехполосную газету просто нельзя про-

давать меньше, чем за рубль, поскольку издание не окупится и застопорится на первом же номере. С другой стороны, уставший от вала информации (и особенно информации политического характера) читатель не захочет покупать газету за рубль, а распространитель, с трудом сбывший номеров десять за день, станет предъявлять претензии издателю. Вот и будет этот самый издатель сидеть на пачках с первым тиражом своей газеты и подсчитывать убытки. Впрочем, это в том случае, если у издателя нет богатого спонсора, за счет которого можно обеспечить выпуск газеты, ее распространение и стабильный производственный цикл. Но где взять такого спонсора? Так что мы вправе предъявлять претензии к стилю и содержанию газет, но не к ценам. Потому издательская деятельность и стала ныне тем 401 способом относительно честного изъятия денег у населения, который не был известен Остапу Бендеру.

4. КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Подзаголовок громкий. Кроме Пушкинской площади, в одной только Москве есть сотни мест, где продаются неформальные издания. Но нельзя объять необъятное, поэтому приходится довольствоваться своеобразной социологической „выборкой“, критерием которой послужил уже обрисованный нами подземный переход...

Прежде чем предложить читателю короткие и пространные цитаты из неформальной прессы, оговорюсь, что если орфография, пунктуация и т. п. воспроизводятся мною в соответствии с правилами русской грамматики, то стилистические фигуры и все виды тропов (сравнения, метафоры, гиперболы и проч.) сохранены в редакции авторов цитируемых статей.

Итак, № 1 - газета, купленная у дрожащего мальчика: „Пульс Тушина“, издается центром „Пульс“, выпуск 12-й, цена 20 коп., тираж 30 000, Мытищинская типография, 4 полосы.

Редактор газеты В.Т.Фомичев выступает в своей рубрике со статьей под названием „Гамма бессмыслицы“. Хороший заголовок для рассуждений, рассчитанных на 30 ты-

ся читателей. Говоря словами самого Фомичева, „вряд ли таких нонсенов (курсив мой. - А.К.) ожидал народ“. Вспоминается, извините, один бабелевский герой: „Брось этих глупостей, Бенья!“

В статье содержатся следующие сообщения: „Я за рыночные отношения, но разве ученые в данном случае стремятся к тому, чтобы наше существование было осмысленным. (...) Нет! Для них нравственно то, что выгодно мафии, они стараются в ее интересах превратить в непроницаемую тайну существо жизни...“; „В свое время вызвало всеобщее недоумение безапелляционное утверждение тогдашнего идеолога страны А.Н.Яковлева о том, что в Советском Союзе нет масонов. Но разве выдающийся деятель перестройки не знает, что они, как правило, действуют в глубоком подполье? (...) Не граничит ли утверждение Александра Николаевича с преступным благодушием?..“

Схожие по содержанию и стилю письма я еженедельно читаю в почте одного журнала. Это говорит о том, что за газетой стоит массовая читательская аудитория, не просто разделяющая взгляды авторов „Пульса Тушина“ (и иных изданий - листовки „Памяти“ не менее очаровательны и тоже продаются в переходе), сталинистов и „патриотов“-охранителей, но и думающая на уровне этой газеты, ее словами, ее карикатурными клише.

В „Пульсе“ под рубрикой „Поэтический отклик“ опубликовано стихотворение Б.Князева, не вполне прозрачное по содержанию, что тем более удивительно, потому что „патриотическая“ поэзия не терпит неясностей и разных там поэтических выкрутасов. Впрочем, известных усилий мне стоило убедить своих знакомых в том, что эти стихи не шутка и написаны всерьез. Словарь автора необычайно многосложен: „У сволочи нынче торжественный вид“, „лощенный подлюга“, „Но радость прыщавого суслика в шляпе /С тупым предвкушением монеты на лапе“, совсем уж невнятное: „Горит многостранная (?) с русскою (?) жизнь“ (так в тексте. - А.К.), и решительно немыслимое в силу климатических условий:

„Засыпана снегом, дрожит Калифорния...“ Далее: „Какой же вы масти, ублюдочное племя? И где ваши мамы, взрастившие семя?!“

Под рубрикой „Особое мнение читателя“ опубликовано письмо, едва ли отличимое от тех, в которых читатели просят печатать статьи Нины Андреевой, стоящей за социализм, за коммунизм, „за партию КПСС“, за антисоциализм и почему-то одновременно за царя-батюшку, плановое хозяйство, Красную Армию и черную сотню: „Ругают Сталина, мол, изувер. Да, был жесток. Но ведь все, что построили при Сталине, стоит...“; „Сейчас с легкой руки президента в ходу иностранные слова: консенсус, приватизация, плюрализм. А можно нормальным языком?“; „Да, средства были жестокие... Но почему же так яростно не проклинают Ивана Калиту... Ивана Грозного?“; „Кому это выгодно? Выгодно тем, кто накопил несправедливыми путями огромный капитал, и социализм мешает им развернуться“. Или тем, продолжим мы, кто валит лес по два десятка лет, создавая, по словам автора письма, „могучую державу за довольно короткий срок“? Соразмеримы ли эти сроки - для кого короткие, для кого - длиною в жизнь?..

Здесь уже не употребима такая риторическая фигура, как ирония. Становится страшно и несмешно. Особенно когда знакомишься с фоторепортажем Евг. Лугового „О чем молчала пресса“, предлагающим картинки с демонстрации „патриотов всех городов России“ „с требованием убрать истукана с бывшей Театральной площади“. Нет, „истукан“ - это не Маркс, до него еще доберутся - происхождение тоже подвело. Речь идет о Свердлове. На одной из фотографий запечатлены лозунги, поражающие соединением несоединимого: „Лучшие ученики Иешуа Свердлова: Ягода, Берия, Каганович“; „Свердлов - лидер геноцида, разжигание гражданской войны, коллективизация, лагеря, укрупнение сел, АЭС“. Улыбающийся, предрасположенный к полноте молодой мужчина сфотографирован с плакатом: „Б.Ельцин! Чьи следы ты заметал, уничтожая дом Ипатьева в городе, носящем имя цареубийцы?“ Какая связь, спросит читатель, между

Свердловым и АЭС, между оправданием сталинизма и упреками Свердлову в укрупнении сел? Еще Набоков дал ответ на этот вопрос, не указав, правда, на причины установления именно таких связей, да их возникновение так и останется загадочным. „Только иному русскому, - писал он, - была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника-государя, колхозов, антропософии, Русской церкви и гидроэлектростанций“.

Странный пульс у Тушинского района. Да и территориальная привязка весьма условна, и оправдывается она лишь сообщением инспектора Госпожнадзора о пожарах в районе...

Газета московской организации партии Демократический Союз, еженедельник, № 43 (73), вторник, 27 ноября 1990 г., тираж не указан, цена 1 рубль, отпечатана на полиграфической базе издательства „Свободное слово“ политической партии Демократический Союз, 8 полос.

Издание ДС, тяжело читаемое из-за мелкого компьютерного шрифта, как и „Пульс Тушина“, насквозь политизировано - в этом смысле в нем живого места не осталось. В отличие же от тушинской газеты, которая еще утверждает какие-то ценности (в охранительном понимании) - сталинизм, монархия, антисемитизм, плановая экономика, „Свободное слово“ выжигает дотла абсолютно все. Враги Демократического Союза - это и Горбачев, и Ельцин, и Г.Попов, и левые интеллектуалы, и Давид Кугультинов, почему-то прозванный Кугульдиновым и изображенный с полицейской дубинкой (с надписью „аргумент“) и щитом (с надписью „экслибрис народного депутата Кугульдинова“). В его уста вложены следующие позорные слова: „Прошу вас, защитите депутата от этих, как их, от этих самых, от избирателей“. Чем Демократическому Союзу не понравился поэт Давид Кугультинов, понять в принципе невозможно: шарж вмонтирован в статью, никакого отношения к этому депутату не имеющую.

О позитивной программе ДС, по крайней мере из этого но-

мера газеты, ничего узнать нельзя. Просто вокруг все - „злые“ в этом злейшем из миров. „Добрые“ же - это „правозащитники“, члены Демократического Союза. По произвольному толкованию термина „правозащитник“ осведомленному читателю становится очевидным, что авторы статей и редакции газеты имеют слабое представление о смысле, этого слова, а главное, о его границах, то есть том списке имен людей, которые представляли правозащитное движение еще в те годы, когда нынешние члены ДС или пешком под стол ходили, или добросовестно посещали советскую школу в форменных серых пиджачках.

Наибольший интерес представляет короткая заметка Валерии Новодворской, озаглавленная „И ты, Брут?!“. Под Брутом разумеются демократы, от которых ДС получил удары, „неожиданные и незаслуженные, в спину“. Неожиданно и незаслуженно же прозванная на третьей странице газеты „инакомыслящей“ (опять путаница в понятиях), Новодворская задается, в сущности, риторическим вопросом: „От демократов, от интеллигентов, от нон-конформистов - за что?“ Очевидно, за то, что каждая из перечисленных групп - это социологический феномен, со своим жестко фиксированным местом в политической, общественной и литературной жизни, со своей историей, биографией, традициями, программами и даже историографией. Демократический и интеллектуальный заряд Демократического Союза слишком ничтожен и слишком - это главное - д е с т р у к т и в е н , поэтому представители ДС не могут отнести себя ни к демократам (потому что демократия предполагает политическую культуру), ни к интеллигентам (потому что в собственном смысле слова это те люди, о которых писалось в „Вехах“ и „Из глубины“, в глубокой и всеразъясняющей статье В.Кормера, ни к нон-конформистам (природа этого понятия исчерпывающе исследована в западной политологии).

„Удары в спину“ Демократическому Союзу нанесли С.Митрохин и Л.Сараскина в „Веке XX и мире“ и А.Архангельский в „ЛГ“. Список „злых“, в прошлом „добрых“ людей нескон-

чаем. Цитирую : „Уже нанесли свои удары: „Свобода“ - просоветской цензурой, „Посев“ - согласием на штамп Главлита, Н.Коржавин - призывом к странам Балтии потерпеть и не раскачивать лодку. Уже оправались от раны, нанесенной статьей Солженицына „Как нам обустроить Россию“. Ответ на нее - на согласие принять советское „президентское правление“, на неуклюжее примирение с властью предрержащими - дан самим Солженицыным в „Архипелаге“, „Круге первом“, „Пленниках“, „Республике труда“... Редет строй борцов, рушатся кумиры. Да ниспошлет нам Бог твердость до смертного часа...“

Далее Новодворская пишет: „С.Митрохин обвиняет нас в потворстве низким страстям толпы в связи с разрыванием портретов и сожжением знамен... До обвинений, выдвинутых С.Митрохиным, нынешние гебисты не додумались“. Лидер движения поясняет, снова путая понятия: „Сжечь имперский флаг - символ кровавой диктатуры, разорвать портрет тирана, когда и диктатура, и тиран на месте и в цвету, - это вызов и обретение личной свободы, это эмансипация человека от тоталитарной системы“.

В своей заметке В.Новодворская оперирует не собственно понятиями („свобода“, „демократия“, „тоталитарная система“), а их п с е в д о н и м а м и, совершенно не соответствующими смыслу. Так понимаемой свободы, так понимаемой демократии никогда в истории не существовало, да и история видится „инакомыслящей“ (еще один псевдоним) в черно-белом цвете, без полутонов и светотени.

„В эссе Л.Сараскиной, - пишет Новодворская, - нас обвиняют в большевизме... к тому же меня автор почему-то обвиняет в намерении сослать Миграняна и Клямкина и прочих в публичный дом на основании одного только художественного (!?) сравнения их с безотказными девицами... Не могут же братья по разуму, интеллигенты и демократы, не знать и не понимать программу ДС. Ну пришли бы и спросили. Свои же люди. Здесь другое. Не с ДС они спорят, а с совестью своей...“

Где-то не там ищут представители ДС братьев по разуму,

потому что разум предполагает интеллигентность и демократичность, а ничего, кроме злобы, если судить об этой партии по ее газете, за душой у ДС нет.

Как сказал И.Ильф: „Я не умею царапать свою волосатую грудь ногтями“. Эти действия серьезной демократической партии не к лицу.

„Голос анархизма“, вестник московского союза анархистов, октябрь 1990, № 4, тираж 990 экз., полиграфическая база союза анархистов. Газета представляет собой листовку, тексты которой отпечатаны на машинке и отскерокопированы. Несколько наиболее характерных фрагментов: „Анархия - это идея безвластия, безначальственности, самоуправления, то есть свободы для всех членов общества. Организовывать свою жизнь по принципу - сам живи, как тебе нужно, выгодно, удобно, и другим не мешай.

Не тоталитарно-диктаторские (500 дней и т. п.) программы поддемократившихся коммунистов, а именно анархия“.

Творческие планы и радужные перспективы: „Если везде и каждому будет предоставлена полная свобода в хозяйственной деятельности, связанная только одной обязанностью - не приносить ущерб другим и отчислять необходимую часть прибыли в общественный фонд, - то в кратчайшие сроки мы получим и высококлассный сервис, и возможность широкого выбора колбасы в магазине.

Демократический механизм: „Все вопросы - от выделения земель до пенсий - должны решаться не где-то на правительственном Олимпе, а на местах, где народ в любое время этих решающих переизберет или попросту разгонит“.

Гиперанархисты, строящие свои теории на пустом месте, как будто до них не было Бакунина, Кропоткина, Парижа 1968 года. Любят российские политические партии считать себя центром Вселенной и не любят вспоминать историю.

Газета, которая восхитила меня кривизной шрифта заголовков, - „Наше дело“, Воркута, № 10, цена 1 руб. (за 8 полов размноженного машинописного текста), тираж неизве-

стен, издатель - Северное независимое информационное агентство.

Стилистика статей выдержана в духе сталинских речей и риторики восставшего пролетариата, кое-где даже проскакивают скрытые цитаты. Где-то мы это уже читали: „Коренным вопросом любых революционных преобразований... является вопрос о власти“. Через частокор орфографических ошибок автор продирается к главной своей мысли о „грядущих битвах за власть между партократией - Советами... и... народно-освободительным движением“. „Вооруженные организации“ объявляются „истинным гарантом грядущего народовластия“. Опять же что-то похожее уже было в истории. При таком „гаранте“ никуда от сталинского „народовластия“ не денешься.

Бесконечная череда политических изданий становилась все более и более скучной и монотонной, казалось, они написаны одним автором, встающим в одно утро с одной ноги, в другое - что называется, „не с той ноги“, в менее благодушном настроении.

5. ПРЕССА ПАРТИЙНОГО ОБЩЕСТВА

Что вообще означает ренессанс неформальной прессы? Ренессанс - это, очевидно, не совсем то слово. Ренессанс - признак расцвета, а мы имеем дело с кризисом. Главным образом, кризисом общественного сознания, в современных условиях, естественно, выражаемым через прессу.

Ренессанс был, но уже прошел. Он закончился году в эдак в 1989-м. На прилавках киоскеров сегодня лежат нетронутыми „Огонек“, „Московские новости“, „Литгазета“ - „волшебная“ пресса конца 80-х. И не только потому, что роман с перестройкой, а значит, и с перестроечной прессой у народа закончен. Эти издания стали скучнее. Три года назад их скреплял единый политико-нравственный стержень - перестройка, возрождение, восстановление неких начал. Как странно и интересно сейчас пролистывать „Ого-

нек" 1987-1988 годов. В нем было нечто конструктивное, некий положительный заряд, а сейчас, кроме злобы и скуки, ничего не осталось.

Пресса - зеркало общества. Объединенное, как в Великую Отечественную, единой целью общество штурмовало киоски на рассвете, устремлялось в обеденные перерывы на Пушкинскую, чтобы в три-четыре ряда облепить стенды „Московских новостей". Где сейчас авторы, составившие авторитет этого издания? Они либо в „правой", либо в „левой" прессе (закавычиваю эти определения, поскольку понятия „левое" и „правое" в современных советских обстоятельствах не работают). Общество разложилось, разбежалось по полюсам, и в этой разнице зарядов возникает напряжение необычайной силы. Обществу интересна исключительно его партийная принадлежность. „Я левый! Я правый! Нет я левый!" Только сейчас возникла подлинная партийная пресса. Не является исключением в этом смысле и КПСС, превратившаяся в партию, вернее, в целый ряд разнонаправленных партий, изъясняющихся в терминах социалистического выбора и вульгарного варианта марксизма.

„Да, мы - партийная газета, и не скрываем этого!" - говорил мне один из руководителей газеты „Демократическая Россия", призывая меня к ним на работу из партийного же в традиционном значении журнала ЦК КПСС „Диалог". Это что же, подумалось мне, здесь они заказывают одну музыку, там - другую? Но смысл-то моей деятельности от этого не меняется. И это независимая, демократическая журналистика? „Мы - левый центр!" - туманно поясняют мне на летучках в одном издании. „Мы - демократы! - твердят мне в другом. - Что вас вообще держит в „Диалоге"? "А меня, собственно, пугает топорная статья об антикоммунизме, которую я принужден редактировать и многократно вычитывать (верстка, сверка, внутренняя сверка, чистые листы) в „Диалоге", и не в меньшей степени изумляют „передовицы", полные демократического пафоса и лишённые содержания, в „Демократической России".

Так вот, общество стало партийным и пресса стала партийной. Партия в прессе - это необязательно группа людей, преследующих политические интересы. Это может быть один человек, желающий высказаться и, стуча себе кулаком в грудь, произнести: „Я издаю газету!" Какое счастье. За последние полгода меня втянули в издание двух самостийных газет, не объяснив толком, ради чего это все нужно. Вернее, объяснив - ради независимости!

Я доставал материалы, фотографии, писал, писал, писал. Вместе с другими, еще более молодыми, чем я, журналистами чертил план-сетку номера, пародируя унылые редколлегии знакомых мне изданий, считал строчки, верстал, макетировал, сканировал. И очень сильно ссорился, и очень сильно веселился, и очень сильно матерился. Это было интересно - мы делали нашу газету. Первая газета тихо скончалась на № 1. Вторая издохла на стадии компьютерного макета, который, к слову сказать, стоил нам, двум-трем как бы редакторам, трех тысяч рублей.

Я, впрочем, надеюсь, что мы не были партией. Нет ничего хуже, чем партийная принадлежность, тем более в ту пору, когда общество, отделившись наконец от государства, так и не стало гражданским, превратившись в общество партийное.

Таким образом, „девятый вал" неформальной прессы - верная мета кризиса советской демократии и демократического движения в СССР. Не дай Бог, чтобы эти тысячи газет были заменены одной газетой, которая могла бы успокоить граждан и покончить со всеобщим разбродом. Однако едва ли это произойдет. У страха глаза велики, и на этом страхе наша партийная демократия обосновывает свое право на власть. Мы и наша пресса - умнее всех, образованнее всех и демократичней всех. Мы не замечаем, что кропотливо строим здание „демократической" диктатуры, пугая самих себя иной диктатурой. Партийная интеллигенция испугалась и с перепугу пошла в бой. Это нечто новое в интеллигентском менталитете - собственное право на злобу и неправовые угрозы пестовать на самозапугивании.

„А проснулась я ночью у себя на проспекте Мира от тяжелого, мрачного урчания, - писала Наталья Иванова (Арестанты и надзиратели. - „Огонек“, 1991, № 11). - Мысль первая - идут танки. Но, подбежав к окну, обнаружила, что я приняла за танки снегоуборочные машины, от которых давно отвыкла Москва”.

Или вот цитата из „Вечерней Москвы” от 5 марта 1991 года. „Премьера. На Свободной сцене Международного театрального центра им. Ермоловой начался спектакль по пьесе А.Камю „Калигула”. Создатели спектакля сумели на историческом примере убедительно подтвердить мысль о том, что человек, стоящий у власти, не сдерживаемый в своих прихотях конституционно, может завести страну в любой тупик...”

В этой дивной музыкальной фразе соединилось все ограниченное мировосприятие советской партийно-неформально-независимой прессы: ее самодовольное невежество, крайняя степень политизации, совмещаемая со страстью к „интеллектуализму”, каковой бывает страсть, ну, скажем, к модному галстуку.

Какая, к Господу, конституция во времена Калигулы, что за мысль у Камю, у человека западной формации, для которого идея конституции - все равно что французская традиция пить за обедом вино, о „человеке... не сдерживаемом в своих прихотях конституционно”?

Философия неформальной прессы - это философия партийного будуара. Мы роемся в белье чужой партии, скрывая всеми силами грязь на собственном белье. Это сюрреалистическое копание в чужом дерьме (чужом глазу) методично и шаг за шагом регистрируется на бесконечных страницах бесконечно уродливых, криво сфальцованных, чудовищно набранных газет. Имя им - легион.

Впрочем, многим злобная партийность уже надоела. Разумные сторонники социалистического выбора предпочтут высокоинтеллектуальные „левые” статьи „Коммуниста” лихим, задиристым и... гнусным заметкам „Советской России”,

равно как и дидактическим подвалам сегодняшней „Правды”. Читатель просто устает от политики - это тоже признак наступления послеперестроечной эпохи. Читатель, как это ни странно, постепенно, все еще скупая походя неформальные газетки, возвращается к традиционным изданиям - хотя бы тем же „Известиям”. Но все равно, пока еще „Литгазета” лежит, а „Россия” и „Российская газета” расхватываются.

За эти годы читатель стал ленив. Он потребляет единицу информации в странице машинописного текста. Не более того. И верит этой информашке. Причем одни искренне, не задумываясь, верят „Советской России”, другие - „России”. Сил на собственное мнение уже не хватает. То есть этих собственных мнений накопилось даже слишком много, но все они, если только приглядеться, - варианты какого-нибудь одного из двух господствующих мнений. Перестройка потерпела главное - и д е о л о г и ч е с к о е - поражение. Причем не из-за того, что не придумала собственной идеологии, а потому что не избавилась от всех и всяческих идеологий.

Ну, не получают газеты без идеологии. Люди, находящие общий язык за бутылкой водки, обсуждая житейские проблемы, не способны работать в одном издании, дискутируя на политические темы. Зам. главного редактора „Литературки” Изюмов уходит главным редактором в еженедельник „Гласность”, чтобы громить „демократов”. Политический обозреватель „Литературки” Целмс уходит замом главного в „Демократическую Россию”, чтобы в стиле иронической журналистики долбать „центристов” и „коммунистов”. Но где же эта самая независимость, этот „центр”, появляющийся на свет в результате столкновения крайностей и альтернативных мнений? Та же „Литературка”, вернее, сотрудники ее общественно-политической редакции как-то попытались подготовить более менее независимую полосу, посвященную Ельцину. Пополам - положительный и отрицательный взгляд на российского лидера. Так вот, машинистки отказались печатать негативные отклики о Ельци-

не. „Вы тут без года неделю работаете, - истерично поучали они корреспондента, - а для нас Борис Николаевич - Бог!"

Не получается у нас жизнь „без царя в голове". К слову сказать, единственный сюжет, который объединяет и „левых", и „правых", и „Юность", и „Наш современник", и „Огонек", и „Домострой", - это оплакивание останков государя-императора, идеального, очищенного образа Царя. Хоть и вовсе ничего не читай. Чтобы ветер в голове гулял, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. Но для этого нужно отказаться от газет. Уехать по осени на дачу и, к примеру, читать Чехова. „Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана"...

6. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

А выводы просты: неформальная пресса, главным образом газеты политических партий и национальных движений, способствует не развенчиванию старых мифов, а созданию новых. В мире их и существует сознание читателей этих изданий. Сознание, мнящее себя самостоятельным и демократичным, однако на самом деле так и оставшееся зависимым - живущим при власти мифа, когда мозги, как и прежде, остаются матрицами газет.

Можно исходить из того допущения, что „золотой век" неформальной прессы будет предельно коротким, потому что эпоха радикальных общественных преобразований всегда сопровождается гипертрофированной активностью политических сил, стремящихся выразить свою позицию через печатные органы, хотя бы и такого сомнительного качества (вспомним, какой был вал „неформальной" прессы в 1917-м). Но сегодня эта пресса в каком-то смысле даже необходима, быть может, для того лишь, чтобы разочароваться в ней. А это уже будет первым шагом к самостоятельному мышлению.



Ю.АЙХЕНВАЛЬД

КАК УБИВАЛИ "ДРАКОНА"

"Дракон" Евгения Шварца, как и подобает сказочному существу, явился неожиданно-негаданно, словно гром среди ясного сталинского соцреализма. Хотя пьеса была закончена в 1943 г., тень этого Дракона накрыла и пространства современности.

Законопослушные горожане в пьесе уговаривали безоружного рыцаря Ланцелота не сражаться с их любимым властителем - ни дать ни взять советские либеральные академики, решительно осуждавшие (до той поры, пока не разрешили благоговейно хвалить) Андрея Дмитриевича Сахарова; рванул за границу Кот-диссидент, озадачивший дракону власть угрозой, что обличит повсюду ее трусость и подлость, - и властям пришлось отказаться от мысли прикончить Ланцелота втихую. Что было делать? „Обменяли хулигана на Луиса Корволана".

Сочувственную улыбку вызовут у многих современники слова молодой горожанки из пьесы, сказанные о последраконовском властителе:

- У него есть руки, ноги, а чешуи нету. Ведь он все-таки хоть и президент, а человек...

Ланцелот, победитель Дракона, был, конечно, Дон Кихотом под чужим именем. Когда горожане предложили ему в качестве оружия для боя с их Драконом справку, что оружие на ремонте, Ланцелот все равно готов был сразиться с чудовищем, что было по-донкихотски бессмысленно: в ходе боя одна голова Дракона сочувственно читала бы справку, предъявленную Ланцелотом, а две другие рвали бы Рыцаря Бедного на части. Таков нормальный ход политической дискуссии в правовом государстве с диктаторским режимом. Но, к счастью, Ланцелоту дали оружие мастера, которых Сергей Бородин все же обругал в своей статье. Статья называлась „Вредная сказка“ и была опубликована в газете „Литература и искусство“ 25 марта 1944 г., в то время, когда репетиции, к которым в Сталинабаде (ныне Душанбе) приступил Ленинградский театр комедии, уже шли полным ходом.

В марте 1944 г. отдел распространения Всесоюзного управления по охране авторских прав размножил небольшим тиражом пьесу Е.Шварца. Реакция Бородина на нее оказалась по-драконовски молниеносной.

С.Бородин напомнил читателям пушкинские строки:

Сказка - ложь, да в ней намек:
Добрый молодцам урок.

По мнению рецензента, „урок“, преподанный Шварцем, был „очень сомнителен“: „Сквозь сказочную вуаль и традиционность образов протаскивается вредная антиисторическая и антинародная обывательская точка зрения на современность“.

О том, что Евгений Шварц кивал в своей пьесе то ли на Гитлера, то ли на Сталина, а можно было считать, что заодно и на Муссолини - у Дракона ведь на три головы существо одно, - Сергей Бородин, понятно, и заикнуться не смел.

Впрочем, по мнению критика, Дракон был узнаваем: это „палач народов“ (по имени рецензент его, впрочем, не называл).

„Беспардонная фантастика Шварца, которая выдает его с головой“, начинается там, где драматург показывает людей, поработанных Драконом. Жители в восторге от своего Дракона. Интеллигент, архивариус Шарлемань его хвалит: „Пока этот Дракон здесь, никакой другой нас не осмелится тронуть“.

„Словом, умирая, дракон имеет основания говорить о своем народе, что оставляет победителю „прожженные души, дырявые души, мертвые души“. Даже Эльза, жертва, назначенная драконом, „светлый гений“, предстает в непривлекательном свете: она охотно готовилась к браку с Генрихом (секретарь Дракона. - Ю.А.). Затем с неменьшей готовностью она собирается упасть в объятия дракона. Столь же поспешно она отдает свое сердце рыцарю, а ввиду отсутствия рыцаря, хотя не очень радостно, но послушно отправляется на свадебный пир в качестве невесты бургомистра“, - разоблачал героев пьесы Бородин.

О том, что Бургомистр пригрозил в случае непослушания - самоубийства Эльзы и ее отца - уничтожить пятьдесят друзей этой семьи, рецензент промолчал. Не понравились ему и мастера, снабдившие Ланцелота оружием: они дали себя схватить страже Бургомистра, растерялись.

„Так предстает народ в виде безнадежно искалеченных, пассивных, эгоистических обывателей, жалующихся на исчезновение продуктов, - лучше бы, мол рыцарь не боролся с драконом, а то молоко вздорожало, а масло совсем исчезло.“

Мораль этой сказки, ее „намек“ заключаются в том, что незачем, мол, бороться с драконом - на его место сядут другие драконы помельче... (Как в воду глядел. - Ю.А.). Да и народ не стоит того, чтобы ради него копья ломать; да и рыцарь не знает низости людей, ради которых он борется“, - писал Бородин.

О том, что Ланцелот и Эльза остались в городе именно ради горожан, не говорилось ни слова.

Воистину „черным“ представал Шварц перед читателями газеты. Проверить, прав рецензент или нет, читатель газеты не мог: тираж пьесы был в несколько десятков экземпляров.

И миллионы людей знакомились с выводами, которых у них не было причин оспаривать (ведь пьесы они не читали), но к которым следовало прислушаться: газета - орган директивный.

„Шварц сочинил пасквиль на героическую освободительную борьбу народов с гитлеризмом.

Сказка его - это клевета на народы под игом гитлеровской оккупации, народы, борющиеся с гитлеровской тиранией. Затем и понадобился автору язык иносказаний, сказочная вуаль...”

После таких упреков Евгения Шварца вполне можно было обвинить в измене отечеству. Оставалось только узнать, на что же „сказочная вуаль” наброшена.

„На пацифистские идейки”, - заканчивалась статья.

То ли по требованию редакции, то ли еще по каким-то интрижным соображениям Бородин, „прожженная душа”, повернул фискальное острие чуть в сторону: не измену родине, а пасквильный пацифизм приклеил он в качестве „бубнового туза” „черствому сердцем” Евгению Шварцу.

Но кто был Сергей Бородин, отважно напавший на Ланцелота еще до того, как этот странствующий рыцарь дал бой Дракону на театральной сцене?

В 1942 г. писатель Сергей Бородин, до 1941 г. печатавшийся под псевдонимом Амир Саргиджан, получил Сталинскую премию за роман „Дмитрий Донской”.

В начале 30-х годов Бородин-Саргиджан с женой жил в знаменитом московском доме писателей - „Доме Герцена” - на первом этаже левого крыла; а на первом этаже в правом крыле жил Осип Мандельштам. Бородин-Саргиджан грубо оскорбил жену Мандельштама. Произошла печально известная ссора между будущим лауреатом Сталинской премии и будущим зеком, жертвой сталинских лагерей. Председателем товарищеского суда, признавшего Мандельштама виновным, был Алексей Толстой. Литературным продолжением этой истории стала фраза, начинавшая воспоминания Надежды Яковлевны: „Дав пощечину Алексею Толстому...” Житейским, практическим следствием сделался новый пароксизм гонений на поэта.

Если не предположить, что в тогдашней советской литературе было два Сергея Бородина, то на жену опального поэта, а потом на подозрительную идеологически пьесу напал один и тот же человек - бывший интеллигент, ставший преуспевающим советским писателем и увлекшийся, когда Отечественная война кончилась, уже не спасавшим родину русским князем, а Тамерланом, железным хромцом, покорителем Вселенной. Сталин, правда, был не хромым, а сухоруким, но и Вселенная с тех пор стала другой.

Несмотря на статью Бородина, Ленинградский театр комедии продолжал работу над постановкой „Дракона”. Видимо, руководитель театра Н.Ф.Акимов выяснил, что эта статья не означала еще запрета пьесы Шварца.

Так или иначе подсоветские чиновники и руководитель театра Акимов, отстаивавшие пьесу в Москве, оказались внутренне свободнее и смелее издателей свободной Британии, отказавшихся сразу после войны печатать „Звероферму”, а затем и „1984” Орвелла из боязни, что эти сатирические произведения, которые вполне можно было адресовать и Гитлеру, обидят влиятельных левых, а также советских союзников.

В отличие от гордых своей свободой британцев и сам Шварц, и люди, помогавшие ему „пробить” пьесу, не боялись задеть тех, кто на подобную „щекотку” мог ответить ударом насмерть.

В октябре 1944 г. премьера „Дракона” состоялась в Москве.

После второго представления спектакль запретили.

Защитники пьесы, однако, не сдались. Евгению Шварцу разрешено было сделать новый вариант.

30 ноября 1944 г. на совещании у заместителя председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР Солодовникова состоялось обсуждение этого нового варианта.

Обсуждение шло не просто на высоком бюрократическом, но и на истинно элитарном советском уровне. Участвовали в нем писатели Леонид Леонов, Николай Погодин, Алексей Сурков, Илья Эренбург, кинорежиссер Сергей Юткевич и другие влиятельные в то время лица.

Ниже я приведу отрывки из стенограмм их выступлений*.

Первым выступил Николай Погодин, драматург, создатель нашей ленинианы, где мудрый, твердый, добрый Ильич укреплял решимость рабочих, урезонивал интеллигенцию, руководил революцией, словом, будучи достойным немедленной монументализации, тем не менее говорил об электрификации всей страны и ходил по сцене, как родной. Погодин написал пьесу „Аристократы“ о перевоспитании на архипелаге ГУЛАГ. Там один из перевоспитанных зеков от счастья поет: „Я вновь рожден, хочу я жить и петь“. При всем том Погодин не был самым худшим из шварцевских горожан, о которых Дракон отозвался так: „Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы“.

Но в нашем драконовом царстве они легко обнаруживались.

Николай Погодин сказал:

- Аллегорическая форма - это мстительная форма. В наше время с его острыми политическими моментами у каждого в зависимости от его темперамента, способностей и умонастроения, она может будить и вызывать различные ассоциации и толкования. Чувствовался ход войны, перипетии ее, хотел этого автор или не хотел. Или я наивен, но получилось не ахти как, и даже вызывало какой-то протест. И я не понимал, кому адресовано это произведение. Детская сказка? Нет. Для взрослых? Но я не знаю, чему она меня научила..."

Где же ему, Погодину, было это понять: его ведь сам Ильич обучал всему, что надо, когда драматург вызывал образ Ленина в своем творческом воображении.

Что же касается хода войны (т. е. битвы Ланцелота с Драконом), получившегося „не ахти как“, то речь шла о текстах коммюнике, которые оглашал Генрих, секретарь Дракона.

Сперва Генрих запретил всем „во избежание эпидемии глазных болезней и только поэтому“ смотреть на небо, где Ланцелот бил змея:

- Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике.

У нас во время войны на небо, разумеется, можно было смотреть даже и во время воздушных боев.

Правда, радиоприемники у всех были отобраны, чтобы граждане до победы над Германией зря не обшаривали эфира.

Когда Ланцелот отрубил Дракону голову, коммюнике сообщило, что Дракон освободил от военной службы одну голову по болезни с зачислением в резерв первой очереди; когда на землю упала вторая голова, коммюнике сообщило, что это Дракон выровнял фронт и что одна голова удобнее, чем две.

Погодина, видимо, тревожило, что эти коммюнике покажут карикатурами на сводки информбюро в начале войны. Обычно в этих сводках говорилось о тяжелых потерях немцев в живой силе и технике, героическом сопротивлении наших войск, и нередко в той же сводке в ряду прочего сказано было, что после продолжительных и тяжелых боев наши войска, отойдя на заранее подготовленные позиции, оставили или Минск, или Киев, или Харьков...

К моменту обсуждения „Дракона“, к осени 1944 г., кончилось время, когда мы, согласно сводкам, успешно отразив атаки противника, сдавали города. Теперь противник терял города, как Дракон свои головы. В 1944 г. нелепо было бы насмешничать над тяжелым для России началом войны. Шварц никогда не стал бы этого делать.

Но страх говорил в Погодине громче самоочевидных соображений.

К тому же в качестве специалиста по акустике Погодин, еще даже и не зная, что именно так неприятно щекочет ему барабанные перепонки, делал предупредительную стойку над сомнительным текстом. Вот как это выглядело:

„Но есть какие-то места которые, не знаю, хорошо это или плохо, товарищи мне подскажут, но мне лично чувствуется что-то относительно дуэли. Есть какие-то вещи, которые вызывают ассоциации, может быть, ненужные“, - задумчиво пытался Погодин что-то невыразимое, но важное сказать и не мог: сказать было нечего.

* См. ЦГАЛИ, ф. 2215, опись 1, ед. хран. 21.

Илья Эренбург, интеллигент все-таки скорее европейский, чем вылепленный ежовскими рукавицами из подручного материала в ходе войны за усекновение высоколобых, отнесся к той же проблеме гораздо проще:

- Что касается военных выражений. Пародии на сводки, они звучат очень хорошо.

Погодин со своей стороны продолжал тревожиться.

- Государство есть государство, и в особенности в такое острое время, и если автор задался такой страшно тяжелой, непосильной задачей, то, естественно, он здесь может где-то пустить пузыри. Эти пузыри видны каждому из нас. И эти пузыри могут толковаться как политически ненужные ассоциации - такими словами в четверть смысла объяснялся погодинский страх. У страха, говорят, глаза велики; у современного испуганного человека глаза еще и увеличивают, как микроскопы.

Но страх не съел всю погодинскую душу. Драматург пытался говорить и от себя. Он сказал, что, прочтя пьесу Шварца, „приветствовал что-то новое“.

- Мы ничего не ставим, мы больше снимаем, - говорила живая погодинская душа, сопротивляясь собственному свищу (Дракон, как мы помним, спрессовал страхом людские души до такой степени плотности, что они могли стать и „дырвыми“, и „прожженными“ и все-таки остаться живыми).

- Если бы мы сами не были как-то зашорены и не видели того, чего, может быть, и нет, то, может быть, я смотрел бы на это как на какое-то блестящее, вольное, свободное, замечательное сценическое произведение, - продолжала живая душа. - Но, может быть, оно несвоевременно. Я здесь ничего не понимаю, как много не понимаю сейчас в нашей театральной жизни. Поэтому я уклоняюсь от подобных суждений...

От каких? Погодин не уточнил: душа его замолчала. Зато дыра, свищ, заговорила, словно черный репродуктор:

- Дракон налетает, камнями забрасывает, - я сейчас же вижу бомбежки, налеты, никуда вы от этого не уйдете!

Может быть, это нужно убрать. Что касается формальной стороны дела, то мне этот прием непонятен, говорят, что в театре это получается. Когда я слушаю эти переходы, то слышу произведение реалистическое, которое переходит в гротескную комедию, потом вдруг начинают появляться какие-то вещи. Моменты перехода из сказки в реальность и обратно, они воспринимаются с трудом. Только я привыкаю к сказке, вдруг я опять перехожу в мир моих переживаний. Может быть, я неграмотен, очевидно, это такой прием... Я эту путаницу воспринимаю, как невыдержанность стиля, а может быть, это такой стиль...

„Кто-то“, „где-то“, „что-то“, „как-то“, „может быть“, „может быть“, еще раз „может быть“ - на этих неопределенностях и строились погодинские фразы, крутятся, как флюгера, под влиянием грозных толков страха. Человек терял дар слова. Но иногда опять душа живая пересиливала:

- С другой стороны, я должен сказать, как драматурга, как автора, просто Шварца нужно поздравить. Это работа не сегодняшнего дня, это может идти и через пять лет. Это, моему, настоящее литературное произведение.

„Цепные души, лягавые души, окаянные души, дырявые души, продажные души, прожженные души“ - как характеризовал Дракон души тех, кого он „лично покалечил“, - все-таки не хотели исчезать, самоаннигилироваться.

Впрочем, такие полуживые души бывают опаснее мертвых: они вызывают надежды, но всегда их обманывают.

Вот выступает Сергей Образцов, знаменитый советский кукольник, чей театр радовал многие поколения московских ребят и очень веселил взрослых.

Образцов сразу же согласился с Погодиным, что пьеса Шварца великолепна и что „у нас ряд вещей, которые должны были бы идти всюду, неожиданно снимаются“.

А дальше он сказал:

- Что я бы сделал, если бы был сам себе реперткомом? Я предпочитаю снимать сам, чем у меня снимут. (Так рождается внутренний цензор, первая „дырочка“ в душе. - Ю.А.) И по-

этому я по-честному хочу разобраться, что бы я делал, если бы ставил эту вещь, - так говорил Образцов.

В первом варианте ему нравилось, что Ланцелот, убив Дракона, не уходил: „Может быть, эта мысль была неверная. Может быть, она была спорная, может быть, даже вредная, но она была довольно точная, что людей надо спасать даже тогда, когда они спастись не хотят, то есть людей из человеческих, гуманистических соображений нужно загонять в рай мечом. И ради людей, которые не желают спастись, Ланцелот, рискуя своей жизнью, убивает Дракона”.

Между тем у Шварца горожане, прежде всего - несчастные сукины дети, и притом гораздо более несчастные, чем злые. Никого из них „мечом в рай” Ланцелот загонять не собирается. Для него метафора „убить Дракона в каждом” не означала насилия над душами; она означала их исцеление, возможно, болезненное. Никто из горожан, персонажей пьесы, против этой операции не протестовал. Горожане, хотя и были трусливыми подхалимами, сами себе не нравились. В этом и был не особенно надежный залог успеха Ланцелотовой „перестройки”.

„От ассоциаций тут никуда не денешься, - говорил Образцов. - Они есть, автор этого не скрывает. И в этом я видел некую, может быть, очень смелую, но ассоциативную правду”.

Тут Образцов называл почему-то „ассоциативной правдой” политическую проблему: уйдут или нет советские из Европы, когда ее освободят от гитлеровцев?

В дальнейшем этот вопрос в ходе обсуждения пьесы-сказки ставился неоднократно.

Образцову не понравилось, что в разговоре Шарлеманя с Ланцелотом возникла тема цыган, которых в гитлеровской Германии преследовали, как и евреев.

- Я бы, как ни странно, вытащил из пьесы цыган, - говорил Образцов. - В этих условиях этот европейский вопрос выглядит вульгарно. Он не разбирается темой пьесы, а ассоциации слишком локальные.

Загадочно умеют и на узких совещаниях, и на широких встречах говорить квалифицированные советские люди!

О ненависти Дракона к цыганам сказано между прочим; если Образцову казалось, что „цыгане” - это непонятно, от чего бы не назвать их в пьесе „евреями”?

Однако и Сергей Юткевич возражал против „цыган”: „Я был всегда антицыганистом, цыгане не нужны”, - говорил он, прямо обращаясь к помощи цензоров, - в этом месте нужен осторожный редакторский карандаш”.

Что же за сложность видели эти товарищи в „европейском вопросе”?

В гитлеровском рейхе он был решен - и решен безо всяких сложностей, одним только „Циклоном-Б”.

Видимо, сложным и скользким он оказался в 1944 г. в Комитете по делам искусств СССР. И Евгению Шварцу было предложено не напоминать зрителям, что евреи существуют.

Объяснив, что второй вариант все-таки более „проходим”, чем первый, хотя первый во многих отношениях лучше, Образцов окончил свое выступление неосторожно, по-человечески: „Было бы жалко, если бы друзья театра и автора и Комитет не помогли бы доделать эту вещь, потому что наличие литературных и театральных перлов, которые здесь есть, при такой нашей театральной бедности сейчас, заставляет нас не бросаться такими богатыми вещами”.

- Но - увы! - если не только автор, но еще его друзья, а с ним вместе „друзья театра”, а к ним вдобавок чиновники Комитета - все вместе помогают писателю „делать вещь”, то по поговорке, у таких семи нянек непременно получается дитя без глаза.

Образцов в отличие от Погодина не вносил конкретных предложений по изменению шварцевского текста.

Зато Леонид Леонов, брат-писатель, поспешил на помощь Евгению Шварцу со своими чисто профессиональными советами.

Сначала Леонид Леонов ясно сказал, что пьеса ему очень понравилась.

И только потом он перешел к замысловатым опасениям, построенным на невразумительных местоимениях:

- Все время возникают какие-то параллели. Нужно, даже если они не хотят, их спасать. Все это вызывает какую-то параллель. Будем ли мы проводить дедраконизацию той территории, по которой мы идем? Встают сразу очень острые вопросы. Кто может здесь ответить, и какой ход здесь придумать, чтобы не ошибиться в том или ином повороте истории?... Может быть, лучше будет сделать так, чтобы не было никаких параллелей? Я бы сделал таким образом, это придало бы остроту и блеск самой сказке. Не длинна ли эта сказка? Я бы убрал целиком женитьбу Бургомистра и это второе правительство. А что если бы ушел Ланцелот тотчас же после победы над Драконом? (Мечта Бургомистра. - Ю.А.) Тем более, что это задлинено вообще. (Вот и появился профессиональный совет: прокрустово редактирование, упрощающее и укрощающее автора. - Ю.А.) Если бы женитьба Бургомистра была убрана, то не возникало бы никаких параллелей... И нужно ли делать такую тяжелую нагрузку? А те вопросы, которые решает автор, были ли они решены на Московской и Тегеранской конференции? Я, например, этого не знаю...

Что значит женитьба Бургомистра? Я не знаю. Это не психология запуганного человека. (По Леонову, после победы Ланцелота и его исчезновения Бургомистр должен был почему-то оставаться запуганным. - Ю.А.) Но такие вопросы будут возникать.

Ассоциаций и параллелей участники этого совещания боились едва ли не больше, чем чекистов.

Тут Леонов, видимо, вспомнил, что он все-таки и сам писатель, что знаком он был в свое время с большими мастерами, хоть и погубленными потом, и Леонов сказал:

- Иногда самоткань этого мифа очень легка. Это тонкий узор, и когда на этом тонком узоре положишь свинцовые ядра, то ткань рвется.

Пьеса Шварца удостоилась похвалы и тут же была уничтожена.

Илья Эренбург - главный советский писатель на экспорт - сразу же факт уничтожения Леоновым пьесы Шварца удостоверял:

- То, что говорил Леонов, мне кажется, можно перевести следующим образом: если убрать из пьесы то, что составляет пьесу, то пьесе стоит поставить.

Сам Эренбург внес свои конструктивные предложения по спасению „Дракона“.

- Центр пьесы, - сказал он, - не в борьбе Ланцелота с Драконом, а во всем том, что Леонид Максимович считал нежной кисее неразорвавшимся снарядом... Мы не знаем, о чем говорили на Тегеранской конференции, но мы знаем, что Молотов сказал, что мало разбить фашистскую армию - нужно еще морально разгромить фашизм.

Дальше Эренбург подчеркнул, что пьеса хороша, и с этим все согласны. Ему, Эренбургу, больше нравился первый вариант, когда Ланцелот не уходил из города. Но „в порядке политическом“ он был „абсолютной неразберихой“. И вообще, о чем идет речь - „о государстве, захваченном фашистами или о фашистском государстве“?

Если о Германии, говорил Эренбург, - то нету там никаких ткачей и оружейников, которые снаряжают Ланцелота. Это историческая неправда. Но так как имена у всех немецкие, то могло показаться, что в первом варианте речь идет именно о Германии. Теперь во втором варианте ясно, что это не Германия. Нужно, однако, тут уточнить персонажей: горожане пусть будут чиновниками; все, что касается Шарлеманя и Эльзы, надо переделать: Шарлемань не должен быть служащим Дракона, иначе выйдет, что Шарлемань двоедушен.

Вообще никакой определенной страны в пьесе Шварца подразумеваться не должно: это условная страна „Икс“. Надо убрать немецкие фамилии горожан.

Я не хотел бы, чтобы Ланцелот представлял собой Красную Армию, - сказал Эренбург, считавший, видимо, что Ланцелот для Красной Армии недостаточно рыцарствен.

Ланцелот, по мнению Оренбурга, должен быть „одним из странствующих рыцарей, на котором не концентрируется монополия освобождения... На это здесь можем претендовать только мы. Иначе начинаются все ассоциации, а где он был прежде? (Вдруг Ланцелот прежде с Гитлером миловался, как Молотов? - Ю.А.) А почему у него не было оружия? (Не отдал ли Ланцелот свое оружие на разборку и чистку, как это сделали к 22 июня 1941 г. в некоторых пограничных крепостях? - Ю.А.) Значит, подытоживал Эренбург, Ланцелота нужно сделать фантастическим, условным, что автору опять-таки нетрудно”.

Эренбург предлагал доработать прекрасную, по его мнению, шварцевскую пьесу в направлении точной ясности, „чтобы было видно, против чего это направлено без всякой возможности толкования”.

Так пьеса дружелюбным критиком была с других позиций, но снова разрушена до основания.

Разумеется, и в Эренбурге говорила живая душа. Но сам покойный Дракон не пожелал бы Шварцу лучшего редактора!

Можно было подумать, что не писатели обсуждают пьесу, а что над ней слеталась стая перепуганных политических обозревателей в черном.

Участница совещания товарищ Фрадкина предложила, чтобы Ланцелот вообще был больше похож на Дон Кихота; поначалу ведь у него донкихотские доспехи. „Вот это донкихотское, общечеловеческое в Ланцелоте - это очень важно в пьесе. В этой пьесе есть извечная борьба добра и зла всех сказок мира, и это остается в пьесе, в этом ее великолепное гуманистическое начало, очень теплое, умное, философское”.

Пьесу нужно непременно поставить: "она помогает убивать в человеке драконовское и показывает растленное, искалеченное Драконом поколение”.

Если бы у Фрадкиной „гуманистическое начало” не оказалось „теплым”, как Эльзина лапка в ощущении Дракона („Какая у тебя теплая лапка!” - восхищался Дракон), то ее выступление было бы совсем интеллигентным, но этому помешала „теплота” захватанного и оттого пахнувшего разогретым металлом штампа. Теплое, не слишком горячее, слегка подогретое, ироничное без сарказма, грустное без пессимизма - из всего этого и готовили на драконовых кухнях духовную пищу: обертку для траурной булочки „бедная девушка” в память избранницы Дракона.

После мелодичного выступления тов. Фрадкиной (ее выступление было все-таки самым человеческим; видно, что она происходила из непуганых еще Фрадкиных) заговорил знаменитый лирический поэт Алексей Сурков.

В отличие ото всех прочих этот осторожный лирик почти не хвалил „Дракона”. Ему не понравилась примитивность пьесы: если речь идет об оккупированной Гитлером стране, то трактовка ее населения слишком прямолинейна и пессимистична. Однако если это Германия, а в пьесе все немецкое, начиная от сказочной романтики в немецкой традиции и кончая именами героев и обстановкой, то откуда в этом немецко-фашистском мире Ланцелот? „Его появление не поддается логическому объяснению. В то же время идти по пути „нейтрализации пьесы” - значит „убить главное, потенцию автора”. В пьесе „недостаточно вскрыты силы, которые составляют в Европе нашу опору”, словом, решительно непонятно было, по Суркову, что делать с этим, хоть и остроумным, но явно несуразным произведением.

....Дырявые души, продажные души, прожженные души, глухонемые души”, - говорил Дракон Ланцелоту.

Граждане шварцевского города не сопротивлялись своей калечности.

Участники обсуждения, хоть и робко, но все-таки иногда сопротивлялись самим себе.

Однако в итоге эти чуть живые души сделали свое дело:

требований исправить было столько, и они были так противоречивы, что самые похвалы оборачивались роскошным надгробным памятником шварцевской пьесе.

Почти все присутствующие оценили ее высоко. Но не зря в пьесе Шварца „Тень” оценщик в городском ломбарде был людоедом по совместительству.

Сам Шварц на этом обсуждении сказал в числе прочего следующее:

- Мы - единственное поколение, может быть, которое имело возможность наблюдать не только судьбы людей, а и судьбы государств. На наших глазах государства переживали необычайно трагические вещи, и эти вещи задевали нас лично... От поведения Франции, Норвегии, Румынии зависела судьба многих друзей в Ленинграде. Поэтому не использовать всего того опыта, который дала нам эта война, было бы неинтересно.

Шварц согласился работать над новым - третьим - вариантом „Дракона”.

А.В.Солодовников, заместитель председателя Комитета по делам искусств, ведший обсуждение, сказал по этому поводу, что Евгений Львович - настоящий подвижник, а переделки, уже осуществленные им, „в значительной мере” привели к такому варианту произведения, который можно будет показать „не только Реперткому и ближайшим друзьям, но и широким слоям зрителей”. И начальник дал руководящую инструкцию: доработку надо вести „под углом сказочно-философского осмысления того, что происходит и должно происходить, отказываясь все же от слишком прямых ассоциаций, от слишком указательных перстов”.

Дальше было зачеркнуто: „Ланцелот - это демократия, и дракон - это фашизм. Борьба сил демократии с силами фашизма”.

После этого в стенограмме шло многоточие - целая строчка точек, - догадайся, мол, сам, читатель!

Возможно, за этим многоточием спрятался спор, ибо в тек-

сте осталось возражение Солодовникову со стороны Эренбурга.

- В моем представлении Ланцелот - это народ.

И тут Эренбургу пришло в голову новое уточнение: „Ланцелот - это какой-то сказочный местный Рыцарь, который спал заколдованный. Ланцелот - фантастическая сила народа. Это народ поднимается против фашизма”.

Тут Солодовников, сравнительно добродушный советский вельможа, и решил, наверное, что его слова про Ланцелота - демократа надо вычеркнуть.

Народ вождям народа нужен всегда, а демократия не всегда. И он согласился с Эренбургом:

- То, что предлагает Илья Григорьевич, более реально пройдет. Но вообще я сторонник того, чтобы слишком прямых ассоциаций не делать, и на это не тянуть... Еще маленький упрек я хотел бы сделать Евгению Львовичу. В некоторых местах есть какое-то литературное кокетство. Я бы мог процитировать некоторые места, например, разговор Бургомистра с Генрихом: ...Мне хочется отдать за него жизнь...” (читает).

Это уводит от простоты, ясности, которая должна быть в сказке”.

Бургомистр говорил тут о Драконе, точно так же, как оплывшие от ночных кремлевских попок вожди говорили о своем Хозяине. Солодовников правильно уловил, что этой краснознаменной реальности в сказке не место. У зампреда Акустической комиссии на опасную жизненную правду был тонкий слух.

- Не очень свойственна этой сказке такая изощренная комедийность, что девушка говорит про Дракона: „Идет, идет ...такой чистенький, такой хорошенький...” Здесь нужно отказаться от этих нарочитых вещей, - настаивал он.

Но в целом этот Большой начальник выразил надежду, что если Евгений Львович использует с помощью театра хорошие советы, которые здесь были даны, то пьеса получит тот

текст, который у нас будет вызывать сомнений совсем мало, а может быть, совсем не будет и будет осуществлена на сцене".

На том обсуждение кончилось. Но „Дракона не доби́ли этим булыжным косноязычием. В третий раз переделывать пьесу Евгений Шварц не стал; во всяком случае третьего варианта не сохранилось.

Пьеса-сказка „Дракон” получила первый срок запрета и забвения.

В однотомнике пьес Е.Шварца 1962 г. „Дракон” был опубликован в первом варианте. Второй вариант, который, по мнению многих участников обсуждения был хуже первого, Шварц считал вынужденной уступкой.

Именно в первом варианте „Дракон” был снова поставлен в Ленинградском театре комедии его руководителем Н.П.Акимовым (1962 г.).

В 1944 г. Акимов безрезультатно защищал „Дракона”. В 1962-м Акимов стал художником-оформителем однотомника своего друга Шварца. И вот теперь пьеса-сказка „Дракон” после войны, после разоблачения „культа личности” снова вернулась в театр Акимова.

Сперва рецензии были положительные.

В рецензии „Маски и сердца” Ю.Голованенко („Вечерний Ленинград”) 28 июня 1962 г. писал, что пьеса направлена против гитлеризма.

Играли спектакль на фоне средневекового города, однако актеры были в современных костюмах. Это было вполне правильное эстетическое решение. Пиджак по мерке какого-нибудь интеллигента-самоубийцы сталинских времен, прилюдно не поднявшего руки, когда окружающие „всенародно голосовали” за чью-нибудь казнь, архивариусу Шарлеманю наверняка пришелся бы впору. Точно так же гражданский костюм Ланцелота подошел бы кому-нибудь из тех, кто начинал тогда, в 1962 г., свой перспективный исторически, но практически безрезультатный поход за соблюдение Прав Человека.

Многие в то время, в 60-е годы, еще были совокупным, так сказать Ланцелотом, по варианту Ильи Эренбурга, что Ланцелот: „сказочный местный рыцарь”, который „какое-то количество лет спал, заколдованный”.

Большинство из этих наших „спящих” бормотало, просыпаясь, что люди не дадут больше себя обмануть, что все изменится...

Однако проснувшись, „местный рыцарь” огляделся по сторонам, вздохнул и рассыпался в людское множество, которое, словно ртуть, раскатилось кругленькими капельками по своим углам.

Некоторые, впрочем, начав одинокий донхикотский путь, докатились и до тюрьмы...

Чтобы отвести от „Дракона” подозрение начальства, что пьеса и про него тоже, критик Дм.Молдавский даже подчеркнул в рецензии: новый спектакль Н.П.Акимова „обнажил мораль общества, живущего по принципу „человек человеку - волк”. Но пронизательное начальство трудно было обмануть: они там у себя, в высших коридорах власти, не жили и не живут по принципу „человек человеку - волк”. Слишком жирно.

„Человек человеку - вошь” - вот принцип руководящей мафии, ориентированной на социалистический идеал.

Сатиры на это (Дракон ведь был хозяином всего и хозяйничал, как хотел) ленинградский партийный босс Толстиков выдержать не мог. В 1963 г. он обрушился на „Дракона” за „нечеткость идейных позиций” и „недоговоренность в определении объекта сатиры”.

На воре вспыхнула шапка, но погорела пьеса. В 1963 г. „Дракон” получил второй срок запрета и забвения.

Забвения, однако, не добились.

А когда запрет был снят новыми последраконовскими властями, дальнейшие события общественной жизни показали, что Ланцелот был истинным Дон Кихотом вовсе не тогда, когда, безоружный, вызывал на бой Дракона, а тогда, когда, уже став победителем, решился совершить совсем невыполнимое: оставшись с дырявыми, прожженными, полумертвыми душами преобразить их...



Ю. КАГАН

ФЕНОМЕН РОЗАНОВА

„Удивительно, как я удеывался с ложью. Она никогда не мучила меня. И по странному мотиву: „А какое вам дело до того, что я в точности думаю, чем я обязан говорить свои настоящие мысли...“

В.Розанов. Уединенное

„...век этот не знал, что делать со своей духовностью, или, вернее, не знал, как определить подобающее духу место в структуре жизни и государства“.

Г.Гессе. Игра в бисер

Эта статья была написана почти десять лет назад. В те времена сочинения Розанова еще не переиздавали в „Огоньке“, не объявляли о предстоящей публикации тома Розанова в 50 печатных листов, не посвящали ему целых страниц в „Ли-

тературной газете“. Однако и тогда уже из-за растущих национальных устремлений, а также из-за необходимости иметь каких-то неофициальных учителей жизни, из-за все более явного интереса к истории, к некогда ярким, а потом, несмотря на всю свою значительность, почти не называемым именам, - по разным поводам вспоминали этого блестящего стилиста, журналиста, литературного критика и весьма своеобразного философа - моралиста и имморалиста одновременно. На Западе Розанова публиковали и изучали. В разговорах о путях России и русской культуры на Розанова ссылаются часто. У нас же совсем недавно в журнале „Литературная учеба“ (№ 2, 1989) Розанова опубликовали в разделе под названием „К истокам!“ - и это само по себе звучало как призыв.

Вопрос о том, каким был этот человек и какую роль сыграл он в русской культуре, годится ли он сколько-нибудь в учителя жизни, непросто и ответить на него нелегко. Я попыталась это сделать на примере только одной из разнообразнейших тем, занимавших Розанова.

За свою жизнь (1856-1919) Розанов написал очень много. Сочинения его не собраны. Известнее его книги (их более двадцати!), прочесть же бесчисленные газетные и журнальные статьи, которые он публиковал и под своим именем, и под псевдонимами (их около сорока) гораздо труднее. С разной степенью глубины Розанова интересовало чуть ли не все. Как-то в одном из писем к Розанову Н.Н.Страхов похвалил его за какую-то удачную статью по химии. Издавая эти письма в 1913 г., Розанов к этому письму сделал такое примечание: „Зачем я в химию залез - не понимаю. Это умора“.

В 1888 г. Страхов писал ему: „Для меня ясно, что Вы не только хорошо пишете и обладаете большой гибкостью ума, но что, сверх того, лихорадочно возбуждены и рветесь к истине и к тому, чтобы сейчас же заявлять свои мысли“*. Это

* В.В.Розанов. Литературные изгнанники. СПб. Т. 1, 1913. С.18.

стремление „сейчас же заявлять свои мысли“ как бы заведомо сочетается с отсутствием глубины этих мыслей и напоминает сразу о двух героях Гоголя. О том, у которого „легкость в мыслях необыкновенная“, и о том, который хотел, чтобы существование его было замечено, просил сказать в Петербурге, что „живет такой Петр Иванович...“

Когда Розанов был еще учителем провинциальной гимназии,* он перевел „Метафизику“ Аристотеля, издал потом философскую книгу „О понимании“ (1886). Тираж этой книги по теперешним меркам был мизерным - 600 экземпляров, однако и они не разошлись: автору вернули из магазина нераспроданные книги.

С изданием этой книги у Розанова было, по-видимому, связано много надежд.

Когда он писал ее, то терпел насмешки от своей „инфернальной“ первой жены - Аполлинии Сусловой, долго откладывал деньги на печатанье...

Два года спустя Страхов сообщил Розанову, что философ Э.Л.Радлов „пишет разбор“ этой книги для Журнала Министерства Народного Просвещения. Розанов по этому поводу с печалью замечал: „Не появился, - вероятно, неоконченный. В те годы и вообще несколько лет меня удивляла, каким образом при восьми университетах и четырех духовных академиях не появилось совершенно никакого отзыва и никакого мнения о большой книге (40 печатных листов), во всяком случае не нелепой или не только нелепой... Что же за мертвая пустыня Россия, - где думай, открывай, изобретай - и никому даже и не захочется подойти и посмотреть, что ты

* Ученики его не любили. М.М.Пришвин, стараниями Розанова выгнанный из гимназии в Ельце, вспоминал потом в „Кашеевой цепи“, что учителя звали „Козлом“. Но в „Курьмушке“ тот же Пришвин писал, как „Козел“ принес в класс карты Азии, „забылся“ и „полетел“, удивительно интересно рассказывая о жизни азиатских народов.

делашь... Вот тебе и книгопечатание!!”*. Это было очень печально. Тем более что Розанову важно было любым способом обратить на себя внимание.

В 3-й части гораздо более поздней его книги „Сахарна“ есть такая запись, в которой публикатор В.Сукач заметил две описки. Розанов написал: „...накапились таким бешенством против „Нового времени“, какое вообще не имеет параллелей себе иначе как разве в классическом и библейском мире, в ярости Медеи, оставленной Тезеем, или Соломона, остриженного Далилой...” Это не описки. Розанов не мог не знать, что не Тезей покинул Медею, а Ясон, и не Соломона остригла Далила, а Самсона. Не мог, а написал. Может быть, для того, чтобы смешнее было, чтобы показать, насколько все это не имеет никакого значения. Если же он в 1913 г. делал такие описки, то, вероятно, был не очень-то здоров. В недавней статье о Розанове читаем: „Не нужно иметь проницательного взгляда, чтобы заметить в книгах Розанова большое уважение к фактам, историческим событиям, вообще данности”**. Это утверждение неверно. Розанова интересовали вовсе не факты, а свои собственные феерические обобщения.

Живя в провинции: в Брянске, в Ельце, в городе Белом Смоленской губернии, - Розанов написал острую книгу „Сумерки просвещения“, в которой обрушивался на казенщину в образовании, зная все по опыту, так как сам преподавал в неполных четырехклассных гимназиях географию и историю. Министр Делянов требовал прекратить печатание, но редактор „Русского вестника“ Ф.И.Берг не послушался его. Потом, с помощью Страхова, В.В.Розанов перебрался в столицу и стал служить в должности чиновника особых поручений при государственном контролере, одновременно печатаясь в столичных журналах и приобретая все большую и большую известность.

* В.В.Розанов. Литературные изгнанники. СПб. Т. 9, 13. С. 130.

** Литературная учеба. 1989. № 2. С. 82.

Зная уже, что спор решает не „писатель“, а „уважаемая редакция“, которая дала писателю нужных 60 тысяч своих читателей, Розанов охотнейшим образом отзывался на разные темы: в „Русском вестнике“ он защищал нетерпимость господствующей православной церкви, а обо всех других писал плохо - о протестантах, о католиках, об иезуитах, которые будто бы - неизвестно для чего?! - обваривают инославных детей...

Интересно и знаменательно, что в ответ на статью Розанова „Свобода и вера“*, в которой он писал, что Владимир Соловьев - это „танцор из кордебалета“, „разыгрывающий пророка“, осмеянный философ ответил статьей „Порфирий Головлев о свободе и вере“ с эпиграфом из Салтыкова-Щедрина: „Ишь ведь как пишет, ишь как языком-то вертит... Ни одного-то ведь слова верного нет. Все-то он лжет, и „милый дружок, маменька“, и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует“. Видно, что Соловьева задел и литературные особенности разнузданной манеры Розанова. Сейчас эту манеру склонны называть свободной, провоцирующей на ответ любыми средствами - даже скандальными. Этой манерой любят, считая иногда ее признаком одаренности Розанова. А Розанов не забыл Соловьеву обиды и в 1913 г. написал, что Соловьев был „не талантливый“, а „очень скоро бегающий“. Эти его быстро бегающие ножки были приняты за талант, и он был сочтен „русским Оригеном“.

Немало души и вот этой одаренности вложил Розанов в свои ответы на еврейский вопрос. Об этом и пойдет у меня речь дальше. П.Палиевский в „Литературной газете“ (28 июня 1989) пишет, что Розанов „внес нечто новое“ в национальные отношения, что его подход „чрезвычайно скандализовал“ общество, „не готовое к такой откровенности“.

Составитель тома избранных сочинений Розанова Ю.Ивак

* Русский вестник. 1984. № 1.

(Нью-Йорк, 1956) не поместил никаких статей писателя на эту тему и объяснил это так: „Заметки „черносотенные“ опущены: они пера его недостойны, и писал он их неискренне“. А я думаю, что Розанов, напротив, писал всегда искренне. Но ведь это и не очень важно. Не очень важна и личная беда: Аполлинария Сулова ушла от Розанова к еврею Гольдовскому. Важно то, что, отдавая свои статьи в газеты и журналы, Розанов всегда знал, что его будут читать.

Штатный сотрудник „Нового времени“, увлекшись революцией, он под псевдонимом В.Варварин писал в либеральном „Русском слове“ (потом свои эти фельетоны он издал в сборнике „Когда начальство ушло“. А когда начальство вернулось, он снова стал черносотенцем). В 1911 г. он писал, что такую „нелепую страну“, как Россия, „завоевать нужно“, в 1913 г. у него „душа вздыхает по Аракчееву, который всему сказал бы величественное: „Высечь“. В 1914 г. - он определенный шовинист, он за силу, за Россию, против Германии. И кажется, всякий раз он был искренним. „Широк человек“...

Еврейская тема Розанова волновала. И те, которые полагают, что он был юдофилом (существует даже работа А.Селивачева „Психология юдофильства“ с главкой о Розанове*), и те, которые убеждены в обратном, могут начать знакомство с этим вопросом по статье Розанова „Место христианства в истории“. Сам Розанов писал об этой своей статье так: „Объективное ее значение заключается в том, что ...показано историческое движение человечества, где, во-первых, „сказался Бог“ и, во-вторых, где орудиями или проявителями Промысла являются семитические и арийские племена, Библия и Акрополь... Мне даже казалось и кажется, что со времени этой статьи вопрос „о с е м и т и з м е“ и встал во всей значительности, не допускающей далее говорить „о жиде“ и даже „об евреях“**, а о евреях - Судьбе, евреях - Роке, евреях - Персте-Божием,

* Русская мысль. 1917, февраль.

** Но говорил, и сколько говорил! А главное что говорил!

и Плане Истории... Переходя к суетному и земному, к сору и рублю, должен заметить, что эта статья как-то навсегда для всего „п о т о м“ проложила в сору „улицу Розанова“... путь Розанова^{*}. На этот „путь Розанова“ мы и посмотрим.

Не раз упоминаемый здесь Н.Н.Страхов, который очень ценил начинающего Розанова и много для него сделал, когда-то писал ему: „Если бы было в моей власти, я бы предписал Вам, во-первых, - регулярный образ жизни, а во-вторых, - чтение хорошей немецкой философской книги. Настоящее образование и настоящая зрелость не достигается в три-четыре года, а только в десятки лет“^{**}. Это совершенно не соответствовало отличительному свойству Розанова - его оттолкновению от рассудочного постижения мира, его уверенности в силе интуиции. Это и вспоминает П.Палиевский в разговоре с А.Ф.Лосевым, „Ты говоришь, что этот нетеоретический человек прав... Так ведь он тоже себе на уме. Взять бы и ввести в теорию, что он себе думает... ужаснулись бы. Гегель и все это в сравнении с ним сладкая водичка. Розанов! Он это умел, и он начал... Ведь что наговорил...“

И вот „неподготовленный“ журналист с изощреннейшим умением опытного литератора утверждал виновность Бейлиса в ритуальном убийстве, убеждая в этом „60 тысяч с о и х читателей“! Это посерьезнее его забытой статьи о химии, написанной в молодости, или опубликованной в самом конце жизни смехотворной заметки о том, что англичане „не имеют песен и выписывают музыку из-за границы“^{***}.

Среди нескольких тем зрелого Розанова одна из самых важных - религия и пол. Ему казалось, что евреи глубже других народов понимают важность продолжения рода, он считал, что религиозность у евреев сексуальна, а сексуальность их - рели-

* В.В.Розанов. Литературные изгнанники. Т. 1. С. 203 - 204.

** Литературные изгнанники. СПб Т. 1. С. 203-204.

*** Заключение это Розанов сделал после рассказа В.В.Андреева, ездившего в Англию.

гиозна. Новый Завет для него - религия смерти, Ветхий Завет - религия жизни. Многие считали Розанова каким-то жрецом фаллического культа, „гностиком семени“, „первосвященником религии совокуплений и рождений...“. Самого Розанова это его жречество нередко доводило до парадийности и полной безвкусицы: „...Сочинения мои замешены не на воде и даже не на крови человеческой, а на с е м е н и ч е л о в е ч е с к о м“, - писал он в „Опавших листьях“. Но безвкусица эта была намеренной, цель ее была все та же - обратить внимание читателя, задеть его, эпатировать. П.Палиевский с восхищением вспоминает, что А.Ф.Лосев называл Розанова „всеприсутствующей потенцией“... Со мною Лосев таких разговоров не вел. Я помню совсем другой его рассказ. Вернее, пересказ слов П.А.Флоренского: на Пасху, идя вслед за Флоренскими во время крестного хода, Розанов сказал ему: „А в Христа-то я не верю...“ И еще помню, что Лосев сказал, что не хотел встречаться с Розановым. Не хотел его видеть.

Новый Завет для Розанова акосмичен, Ветхий Завет - космоичен. При том, что Розанов обо всем судит „то так, то эдак“^{*}, этой своей мысли он был верен до конца жизни. В последней своей книге „Апокалипсис нашего времени“ он писал: „Христианство не космологично, „на нем трава не растет“. И скот от него не множится, не плодится“.

Не только ветхозаветные евреи, но и вообще весь древний восток кажется ему теплее, семейнее. Он читал Талмуд. Дочь Розанова Татьяна Васильевна вспоминает, что „у отца был Талмуд, весь испещренный его заметками“. Что именно он там замечал - неизвестно, книга эта потом пропала.

* За эту многоликость некоторые называют Розанова Протеем. Например, Г.Штаммлер во вступительной статье к мюнхенскому изданию 1970 г., где он объясняет, что Протей - это мифический знаток глубинных тайн, обладающий свойством принимать любое обличье, чтобы только уклониться от неприятных вопрошателей. И предполагается, что Протей знал истину, владел ею. А Розанов?

Верно лишь, что „Розанов... занимался Талмудом, углублялся в „египетские тайны“, но, как писал Ю.Иваск, „по-любительски, и многое дополнял воображением“*.

Свой политический и бытовой антисемитизм, смешанный, как утешались многие, с любовью к евреям, он тоже „дополнял воображением“. Как, впрочем, и многие другие свои умо-заключения. Ведь считал же он дружбу библейских Давида и Ионафана, мифических Ореста и Пилада связью гомосексуалистов.

У Розанова была книга „Сахарна“, названная по бессарабскому поместью друзей автора, у которых летом 1913 г. он гостил с семьей. В воспоминаниях Т.В.Розановой сказано, что эта книга не поступила в продажу, так как началась мировая война. Розанов имел обыкновение издавать свои газетные публикации отдельными книгами. Поэтому я думал, что несколько статей в „Новом времени“ 1913 г. под названием „Уголок Бессарабии“ и легли в основу той книги „Сахарна“, единственный экземпляр которой, по свидетельству старшей дочери писателя, хранится в Государственном Литературном музее. Т.В.Розанова вспоминает, что в этой книге были „выпады против евреев, которые ловко скупают хлеб из-под рук помещиков“, так как управляющий помещьем, „когда не мог рожь продать по той цене, которую назначил, то выходил из себя и во всем винил евреев; с тех пор изменился взгляд отца на евреев - во всех несчастьях русских он стал всецело винить евреев“. Но еще до поездки в Бессарабию, до встречи с этим управляющим, весной 1913 г. в статье, посвященной картине Репина „17 октября“, Розанов писал: „Евреи - не творцы. Творит, выдумывает и рвется вперед арийская кровь. Еврею есть дело до „сегодняшнего дня“ и нет дела до России... Роль еврея - глупая, хитрая!“

* Ю.Иваск. Вступительная статья к книге Розанова „Избранное“. Нью-Йорк. 1956. С. 27.

Вот отрывки из статей „Уголок Бессарабии“: - Это еврейский паром?

- Все еврейское, - угрюмо сказал возничий. - И паром еврейский..." Дальше Розанов замечает, что около домов, принадлежащих евреям, стоят почему-то высохшие деревья, и пишет: „А я-то все ищу у евреев „Ваалов“ и „Астарт“ плодородия и вечного зачатия. Вот тебе и „плодородие"... Оно дальше „своей постели“ не идет, и чем „своя постель плодороднее, тем более умерщвляют они все вокруг... У них плодородие - не пантеистическое... Только „самому“ и никому больше! Их плодородие скопческое! Ни у кого оно не скопческое, а у них - скопческое.

„Еврею нужно „лучше“; лучше ему самому и только ему; ему и им, евреям... Ему вообще ничего кругом не нужно, и он страшно антикультурная сила в каждой местности, где живет...“

В статье как будто бы на вполне невинную тему о переводе с одного языка на другой „Откуда несходство греческого и еврейского текстов Священного Писания“ Розанов обвиняет на этот раз уже и древних евреев в злонамеренном „тайномыслии“, „тайнодумии“. Так что его рассуждения по поводу дела Бейлиса, его глумление над теми, кто отрицал обвинение в ритуальном убийстве, не выглядят неожиданными. 26 сентября в заметке „Важный исторический вопрос“, следуя своей манере обо всем судить, обо всем сообщать читателю, но ничего не изучать, Розанов утверждал, что ритуальное убийство действительно имело место, основываясь при этом на собственной интуиции и на прочитанной им книге В.Соколова „Обрезание у евреев“ (оттиск из журнала „Православный собеседник“, 1890-1891) *

* В.Б. Шкловский писал, что Розанов пользуется „типично фельетонным приемом развертывания отдельного факта в факт общий и мировой, причем развертывание дается автором в готовом виде.“(В книге „Сюжет как явление стиля“. 1921. С. 41.)

На первый взгляд кому-нибудь может показаться, что в отношении Розанова к делу Бейлиса проявилась как раз его увлеченность иудейской религией. У евреев, мол, религиозность жива, она еще не перешла в бытовую обрядность, которая не помнит о своей значительности, а религия - дело серьезное, и она требует жертв не на словах, а на деле. Ритуальное убийство, якобы совершенное Бейлисом, как раз, мол, и подтверждает все это. „Неподготовленный“ не только по химии, Розанов толковал Ветхий Завет на свой лад, „дополняя“ прочитанное „воображением“ и тем, что он услышал „от Ревекки NN, ставшей бывать теперь у нас в доме“. Розанов знал - не мог не знать, - что следствие начисто опровергло обвинение в ритуальном убийстве и причастность Бейлиса к убийству вообще. Несмотря на это, он упорно стоял на своем. И не в ученом споре богословов, историков религии и философов, а перед громадным числом читателей весьма влиятельной столичной газеты. В газете в эти дни из номера в номер печатались статьи об „астральном вампиризме евреев“, и о том, как страшны евреи вообще, а Розанов потешался над теми учеными, врачами, литераторами, церковными деятелями, которые с ним не соглашались, и, после того, как его позицию осудили в Религиозно-философском обществе, поместил в „Новом времени“ свое „Письмо в редакцию“:

„Меня упрекают и устно и печатно, отчего я ничего не ответил на обвинения, сыпавшиеся на меня в последнем Религиозно-философском обществе и вообще „по делу“...

- Какому?

- Бейлиса.

Но меня интересуют жертвоприношения и несколько не интересуется Бейлис, „раб“ и „ничто“ в процессе - вилка, которую ткнули в жертвенное мясо. От русских Бейлис не заслуживает каторги преступника, а заслуживает пощечины презрения“.

Из Религиозно-философского общества Розанова исклю-

чили, то есть члены этого общества открыто высказали Розанову, что они не хотят, чтобы он участвовал в их заседаниях. Д.В.Философов сказал, что статьи Розанова „Не надо амнистии“ (в „Богословском вестнике“), „Андрюша Ющинский“ (в газете „Земщина“), „Наша кошерная печать“ (в той же газете) - это „самый отвратительный цинизм, перемешанный с доносами и призывами к погрому“. П.Палиевский полагает, что исключение произошло из-за того, что равнодушие Розанова к „направлению“ вместо истины почиталось беспринципностью“. Это неверно. И Палиевский знает, что все было не так - ведь он знаком с материалами Религиозно-философского общества. Т.В.Розанова об исключении пишет: „С тех пор положение отца резко изменилось, никто из прежних знакомых не стал бывать... Затем появились новые знакомые“. В их числе она называет редактора журнала „Вешние воды“ - известнейшего антисемита М.Спасовского. Когда в Религиозно-философское общество был принят брат Оскара Осиповича Грузенберга - адвоката Бейлиса - С.О.Грузенберг, погибший потом у нас в 1938 г., Розанов, с редкой для него твердостью держась своих взглядов, нисколько в них не раскаиваясь, написал заявление о том, что не считает для себя возможным пребывание в одном обществе с этим человеком.

В 1914 г. Розанов издал книги „Европа и евреи“, а также „Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови“. Последняя книга довольно большая - 302 страницы. При всей своей переменчивости, в этой теме Розанов был редкостно одинаков. Если что и поражает в этих книгах, так это „уровень доказательств“, вроде таких, например, как: „еврей никогда не женится на русской, и еврейка никогда не выходит за русского“. Или: „Всякий почувствует, до чего еврей есть невозможный для сожительства народ, до чего они народ 40 веков антикультурный и антиисторический“. Или: „Смех Вольтера был глубоко здоровым смехом сравнительно со смехом Гейне, значительно отравившего европейский дух“.

Поражает также полное презрение Розанова к науке, к законам. Он пишет о деле Бейлиса: „Что же это за „суд“, который ничего не умеет „найти“. Это не „суд“, а извините - ротозей". И это тогда, когда В.В.Шульгин по этому же поводу писал: „Горько видеть вождей народа в роли искусителей и развратителей..." (в газете „Киевлянин“, 1913, №298), когда Шульгин, Короленко и многие другие считали, что оправдание Бейлиса спасло чистоту русского суда и честь русского имени.

Розанов писал, что еврейское консонантное письмо существует для сокрытия тайн, что евреи живут обособленно от других народов тоже для того, чтобы скрывать свои тайны. Может быть, Розанов и не слышал о народах, мало смешивающихся со своими соседями, не слышал об индийских кастах... В этой книге Розанов и его собеседник, обозначенный буквой „омега" (а это был не кто иной, как погибший потом мученической смертью священник П.А.Флоренский*), приходят к тому, что „есть только одно средство - о с к о п л е н и е в с е х е в р е е в". Но тут же - слава Богу! - они останавливаются, заключая: „То есть, средство такое, применить которое можно только при нашем отречении от христианства" (с. 208).

Примеры, которые приводились здесь, были из газетных статей Розанова и из тех его книг, которые не принято считать художественными. Но вот знаменитые „Опавшие листья" - оба „короба".

«Еврей всегда начинает с услуг и услужливости и кончает властью и господством.

Оттого в первой фазе он неуловим и неустрашим. Что вы сделаете, когда вам просто „оказывают услугу"? А во второй фазе никто уже не может с ним справиться. „Вода затопила все".

*И это было в 1914 г., то есть в год публикации самой известной его книги „Столп и утверждение истины".

И гибнут страны и народы».

(За набивкой табаку).

«„Услуги" еврейские как гвозди в руки мои, ласковость еврейская как пламя обжигает меня.

Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгинет мой народ...

Ибо народ наш неотесан и груб. Жесток.

Все побегут к евреям. И через сто лет „все будет у евреев"».

«Сила евреев в их липкости. Пальцы их - точно с клеем. „И не оторвешь".

(Засыпая).

Все к ним прилипает, и они ко всему прилипают. „Нация с клеем"».

«...Вся литература (теперь) „захватана" евреями. Им мало кошелька: они пришли „по душу русскую"..."»

Эти выписки можно продолжать и продолжать. Но не хочется. Все это „мы уже проходили..."

Н.А.Бердяев когда-то утверждал: „Все, что писал Розанов, писатель богатого дара и большого жизненного значения*, есть огромный биологический поток, к которому невозможно приставать с какими-нибудь критериями и оценками... Розанов не может и не хочет противостоять наплыву и напору жизненных впечатлений, чувственных ощущений..."** Это неверно. Исповедальные сочинения Розанова „Уединенное", оба короба „Опавших листьев", „Мимолетное", „Смертное" - это не „резервуар, принимающий в себя поток, который потом... переливается на бумагу". Розанов здесь пользовался определенным литературным приемом. Он литератор Свои записи Розанов хотя и писал, что не выбирал, но он дер-

* Позднее в „Самопознании" Бердяев сравнит Розанова с Федором Павловичем Карамазовым.

** Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1918. С 31.

жал корректуру, прочитывал записи на „листьях“, пребывая уже не в том состоянии, в каком делал запись. Это уже была не „душа“, а „литература“... Даже у Гофмана, когда на бумагах хозяина писал кот и история кота перемешивалась с историей человека, перемешивал все это писатель, автор. Это был способ мыслить, способ привлечь читателя, это был литературный прием. Тем более у Розанова, который в своих писаниях одновременно и автор, и кот, и хозяин кота. Это очень хорошо понял когда-то Шкловский, в литературной жизни которого Розанов, вероятно, сыграл не последнюю роль.

В свое время Пушкин в письме к Бестужеву говорил, что писателя надо судить по законам, им над собою признанным. Чего хотел Розанов от читателя, которому он исповедовался? Он писал: «Что, однако, для с е б я я хотел бы во влиянии? Психологичности. Вот этой ввинченности мысли в душу человеческую, - и рассыпчатости, разрыхленности их собственной души (т.е. у читателя). На „образ мыслей“ я нисколько не хотел бы влиять; на „убеждения“, - даже „и не подумаю“. Тут мое глубокое „все равно“. Я сам „убеждения“ менял, как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими, чужими)», (Опавшие листья, короб 1). И еще: «Мое имя никогда не будет забыто, а с именем - и мысли. „Розанов сказал“, „Розанов хотел“, „Розанов пытался...“»

Чего же добивался он своими статьями и заметками о евреях, кроме „ввинченной“ в душу ненависти? Ведь еще в „Уединенном“, эпатуруя своими парадоксами, он писал: „Даже не знаю, через „Ъ“ или через „Е“ пишется „нравственность“. И кто у нее папаша был, не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее - ничегошеньки не знаю“.

Это он, конечно, ерничал: уж адрес-то ему был известен - 10 заповедей в любимом им Ветхом Завете.

Позднее, когда сменилась власть, когда „начальство“ опять ушло и надолго пришло новое начальство, тогда голод-

ный и несчастный, стареющий, умирающий Розанов стал писать иначе. (Тогда Розанов продавал свою любимую нумизматическую коллекцию, а пролетарский Горький купил ее...)

После смерти Розанова его друг Э.Ф.Голлербах сообщал: «Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за „младенца, замученного Бейлисом“. Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные письма еврейскому народу. Впрочем, эти письма загадочны: в них и „угрызения совести“, и нежность, и насмешка»*.

В „Апокалипсисе нашего времени“, написанном и издававшемся уже при Советской власти, есть главки „Об одном народе“, „Немножко радости“, „Туфля“, „Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов?“ - то есть бить евреев, оказывается, все-таки нельзя. В главке „Домострой“ Розанов пишет: «Живите, евреи. Я благословляю вас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал во всем. На самом же деле в вас, конечно, „цимес“ всемирной истории - то есть такое „зернышко“ мира, которое „мы сохранили одни“. И м живите. И я верю „о них благословятся все народы“. - Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи, не знаем - я часто наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к русскому человеку и к русской земле.

Да будет благословен еврей.

Да будет благословен и русский.

Такое вот вынужденное обстоятельствами покаяние в конце „пути Розанова“. Есть еще и „Моя предсмертная воля“,

* Э.Ф.Голлербах. Розанов. Жизнь и творчество. 1922. С. 87-88.

10 января 1919 г., и специальные слова, обращенные к евреям. Приведу их здесь.

„Моя предсмертная воля.

Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я уже не представляю опасности... И можно добиться мне разрешения выехать с семьей на юг...

Веря в торжество Израиля, радуюсь ему. Вот что: пусть еврейская община в лице московской возьмет половину права на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду и племени Розановых честную ферму в пять десятин хорошей земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку и лошадь, и чтобы я ел вечную сметану, яйца, творог, всякие сласти и честную фаршированную щуку.

Верю в сияние возрождающегося Израиля и радуюсь ему.

В.Розанов”.

„К евреям.

Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения, и никогда ничего дурного ей не желаю, и считаю первой в свете по значению.

Главным образом, за лоно Авраамово, в том смысле, как мы объяснили это с отцом Павлом Флоренским*.

Многострадальный терпеливый народ люблю и уважаю.

В.Розанов”.

Думаю, что все эти слова тоже искренни. Бердяев вспоминал: „За месяц до смерти и в разгар коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он

* Не берусь сказать, что именно имеет здесь в виду Розанов. Сейчас у нас Флоренский известен гораздо больше, чем несколько лет назад, конец его жизни был ужасен. Бердяев в „Самопознании” (Париж. 1949.С.174) писал о Флоренском: „Его богословствование было эротическое. Это было ново в России”. Может быть, речь идет все о той же таинственной сексуальной религиозности, о которой Розанов не переставал проповедовать до последних своих дней. Но, может быть, все

производил тяжелое впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, приспосабливается. Но думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда не менялся...” И Т.В.Розанова писала о своем отце: „Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем не было. Воспитанным человеком он не был”.

Несмотря на то, что слова, написанные перед смертью, требуют к себе особого отношения, не могу не вспомнить других слов Розанова - о том, что болтун - еще не учтенная сила. В „Опавших листьях” он писал: „Русский болтун везде болтается. „Русский болтун” еще не учитанная политиками сила. Между тем, она главная в русской истории... Русь молчалива и застенчива, и говорить почти что не умеет: на этом просторе и разгулялся русский болтун”.

В мюнхенском издании избранных сочинений Розанова (1970 г.) есть восторженная статья Евгении Жиглевич „Купель жизни”. Не стану высказывать о ней никакого суждения и не буду приводить никаких восторженных фраз о „соках жизни, биении крови, трепете плоти” и пр., но этой статье Е.Жиглевич в качестве эпиграфа предпосылает слова Мартина Бубера - еврейского философа, так понимающего необходимость слушать и слышать другого человека, Бубера, который никогда не призывал к ненависти, не умножал зла, не давал какому-нибудь Смердякову толковать его слова в человеконенавистническом смысле. А Розанов, „ввинчивая в душу человеческую” ненависть, заклиная в „Сахарне”: „Не уступлю. Не уступлю. Не уступлю. Не уступлю”, - делал это.

гораздо проще. В предисловии к „Сахарне” Розанов приводит письмо к нему Флоренского с советом: „Про Хомякова говорили, что он „горд православием”. Будьте же и Вы горды - православием, Россией, Богом и не вмешивайтесь в гевалт - „зон”... „Это и Флоренский обывательски потешается над еврейскими фамилиями, которые часто оканчиваются на „-сон” или-зон”...

Сейчас пишут, что отношение к разным народам было „одним из центральных моментов в творческом мировоззрении Розанова...” - оказывается, и так теперь можно изъясняться с читателем...

В понимании „феномена Розанова” очень помогает статья Р.А.Гальцевой о Флоренском, суждение которого передает, как пишет автор, не мысль, а волю, „которая не столько направлена на осмысление реальности, сколько занята инсценировкой, или представлением идеи*». Мировоззрение Розанова было исключительно мало обременено позитивными знаниями, оно основывалось на чрезвычайно зыбком и резко неприязненным противопоставлении „наших” и „ваших”, „своих” и „чужих”, исходило из пренебрежения к истине и к таким важным словам апостола Павла, которые, конечно же, были известны Розанову: „Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного...”

В эпоху Сумгаита, в эпоху общества „Память” учиться у Розанова страшно. До какой же степени непросветленности должно быть доведено сознание общества, чтобы принять Розанова за праведника, а его поверхностную - пусть и блестящую словоохотливость за глубокий источник?! Ссылаясь на авторитеты, П.Палиевский вспоминает, что читать Розанова советовал сам Бахтин. Думаю, что Бахтин, которому были так близки идеи Бубера, менее всего стал бы рекомендовать Розанова в качестве учителя жизни. А так - почему бы не почитать? Интересный был писатель. Но разные люди и читают по-разному, и разное вычитывают.

* Сборник „Образ человека XX века”. М., 1988. С. 96.

В.ЛЕМПОРТ

ЭЛЛИПСЫ СУДЬБЫ

Посвящается ушедшим друзьям Аркадию Белинкову, Надежде Рошечевой, Вадиму Сидуру, Борису Слуцкому, Назыму Химкету.

Мне хорошо за пятьдесят. Так хорошо, что даже не хочется вспоминать о возрасте. Я все еще ношу молодежную прическу и джинсы. Но чувствую, что приходит время подумать и о душе.

А что нужно для души? Исповедь и очищение. Каждая судьба в своем движении от рождения до смерти описывает дугу - траекторию, а если предположить, что существует жизнь после смерти, то эта траектория превращается в круг или эллипс. Все эти круги, эллипсы и овалы перекрещиваются с другими и образуют сложную, объемную фигуру, которая называется человечеством. Моя судьба не раз перекрещивалась с другими судьбами.

Об этом мой рассказ.

По улице Горького идут двое. Врачи-отравители еще не сделали своего черного дела, Горький жив, и улица еще называется Тверской.

Один из этих двоих - лет пятидесяти, плотный, загорелый и седой в серой толстовке с наивно-добродушным выражением лица - мой отец Сергей Антонович, другой - мальчик с крупной головой и большими ушами. Это я, у меня то же выражение лица.

Мы только что приехали из тамбовских степей, и столичный шум нас оглушает, величие зданий поражает, как в свое время Матвея и Дыму Нью-Йорк (несведущим рекомендую прочесть „Без языка" Короленко).

- Пап-а-пап! - кричу я изо всех сил, перекрикивая трамвайные звонки. - Что это такое?

- Это трамвай, он перевозит людей.

- Пап-а-пап, а это что за тележка?

- Это автомобиль „форд".

Прохожие оборачиваются на мое непрерывное „пап-а-пап!".

Сравнивая ту улочку, по которой мы шли, с современной улицей Горького, трудно представить, что же в ней могло меня поразить. Ни гостиницы „Москва", ни „Националь", ни застройки архитектора Мордвинова.

Мы входим в переулок где-то в районе телеграфа. Очутившись в парадном небольшого дома, поднимаемся на второй этаж. Открывает высокая седая дама.

- Сережа! - пораженно восклицает она. - Откуда ты?

- Мы с похорон, - отвечает папа застенчиво, - я похоронил мать, а он свою бабушку.

Охи, ахи, поцелуй.

- Где вы остановились? - спрашивает дама и, когда узнает, что пока нигде, говорит: - Оставайтесь здесь, Константин Сергеевич в отъезде.

Эта дама была личной медсестрой Станиславского, а в каких отношениях она была с папой, мне не было известно. На стенах висели фотографии седого человека с объемными губами, наводящими на мысль, что он съел нечто вкусное. Это и был Станиславский.

Стол был накрыт. Обед очень хороший, кроме того, подавали незнакомое мне ситро и мороженое. Я пил, ел и не мог остановиться. Разговор шел о вещах далеких и мне непонятных. Но была новость, которую я запомнил: сегодня утром застрелился Маяковский. Эта новость крайне огорчила папу: он был знаком с его сестрой Людой и бывал у них в доме.

- Маяковский был моложе и потому не входил в нашу компанию, - говорил папа, - он приходил поздно, садился с нами ненадолго за стол. Однажды почему-то стал учить меня танцевать, поддерживая сзади за локти. Большой такой парень надо мной возвышался. Жаль его, у него такое выразительное лицо, хотя я стихов его не понимал и поэтом не считал.

Меня давно уже тянуло в туалет, но спросить, где он, стеснялся.

- А Володю мы положим на диван Константина Сергеевича, - сказала любезная хозяйка. - Вот какой чести ты удостоился!

Мне постелили крахмальную простынь на черном мягком кожаном диване самого Станиславского. Про туалет я так и не спросил, а километры, пройденные по Москве, вкусный ужин и взрослые разговоры сразу же повергли меня в neodолжимый сон. Я спал и возносился вверх от чувства невероятного облегчения. Чувство легкости росло, и я проснулся, когда стал совсем невесомым. Трагичность моего положения не вызывала никакого сомнения: подо мной была лужа, нет, подо мной было море, море отчаяния! До утра было еще часа три, и оставшееся время я употребил для осушения этого болота. Своей хилой грудью, напоминающей плетеную корзину, я бросался на это позорное пятно с отчаянием и героиз-

мом закрывающих собой пулеметные амбразуры в будущей войне.

* * *

Величие Станиславского лет этак через шесть-восемь открыл мне Аркадий Белинков, ученик седьмого класса „Б“, а я был учеником седьмого класса „В“ 125 средней школы города Москвы.

Мы идем по проезду Художественного театра.

- Вон Станиславский! - шепнул мне Белинков.
- Где? - спросил я, вспомнив про кожаный диван.

У портала театра стоял огромный пожилой человек, напминающий по расцветке и значительности лебеда. Он был в белом плаще, белые волнистые волосы развевались по ветру, темнели лишь кустистые брови. Объемные сочные губы были сложены в полуулыбку, и, как уже говорилось, наводили на мысль, что он только что съел нечто вкусное.

Мы „протыривались“ зайцами в Художественный театр и смотрели все, что тогда шло. А тогда играли Качалов, Мо-сквин, Тарханов, Книппер, Тарасова.

Когда мы возвращались домой, Аркадий мне пространно разъяснял систему Станиславского и противоположную ему систему новатора-революционера Мейерхольда.

„Протыривались“ и в его театр. Давали „Горе от ума“. Сцена показалась мне несколько голой, но актеры понравились, постановка была оригинальной.

Чацкого играл совсем еще молодой Евгений Самойлов. Среди актеров были и Игорь Ильинский и Мартинсон. Но, к сожалению, больше ничего посмотреть не удалось.

В следующий раз, когда я пришел к Аркадию на Тверской бульвар, он открыл мне дверь бледный, испуганный, с тоской в черных еврейских глазах. Он сказал шепотом (тогда у стен были уши, прошел процесс 1937 года, на бульварах у газетных стоек люди читали списки расстрелянных, никто не чувствовал себя в безопасности и разговаривали шепотом):

- Произошло ужасное. Вчера на квартире Мейерхольда в Брюсовском переулке была зверски убита Зинаида Райх, его жена. Это сигнал!

Через какое-то время, установить которое сейчас трудно (все остается лишь в слабой памяти людей, один за другим уходящих в небытие), закрыли Театр имени Мейерхольда, который располагался в нынешнем Театре имени Ермоловой. Впрочем, и Театр миниатюр здесь давал когда-то спектакли.

Вскоре трагедия завершилась. Мейерхольд был арестован и навсегда исчез.

Впрочем, мы о нем услышали еще раз. В этот ужасный момент еще одна судьба пересеклась с судьбой Мейерхольда.

В нашем классе, теперь уже в 9-м „В“, был ученик по фамилии Греков. Имени его никто не знал, все звали его „Греков“. Он был старше нас, ужасно худ, щека сходилась с щекой, злой курильщик. От него так пахло табаком, что близко к нему было лучше не подходить.

Вдруг он перестал ходить на занятия. Полгода о нем ни слуху ни духу, а так как товарищей и друзей у него не было, никто особенно не был обеспокоен.

И вот он снова возник в классе. Вновь появился всем безразличный человек и сказал фразу, которая привлекла всеобщее внимание:

- Я был арестован и сидел на Лубянке в одной камере с Мейерхольдом.

Мы добивались подробностей, но он говорил:

- Что я могу о нем сказать? Он все время лежал на койке лицом вниз.

* * *

А мой папа сидел в предварилровке на станции Ржакса, в комнате, метров двадцати, без окон. Компания была большая, человек сорок сослуживцев по Ржаксинскому району Тамбовской области. Это были агрономы, механики, предсе-

датели колхозов, просто темные мужики. Компания таяла по мере того, как ее члены признавались в антисоветской деятельности, во вредительстве, в создании тайных обществ. Одни подписывались под этими обвинениями потому, что награда за подпись была слишком соблазнительна - жизнь. Другие подписывали потому, что ничего вообще не понимали; велят, ругаются - надо подписать. Но, подписавшись, то есть оговорив себя, люди переходили в категорию врагов народа, то есть нелюдей, с которыми уже никто не был обязан считаться. И обещание сохранить жизнь за чистосердечное признание обычно не выполнялось.

Врага надо уничтожить, если он не сдается, как весомо высказался Алексей Максимович, но, впрочем, возможно, ему приписали эту фразу, ставшую санкцией на расстрел.

А который сдается?

Который признается?

Того тем более надо уничтожить, раз он сам признался, что враг!

Сергей Антонович, то есть мой отец, знал, что в два часа после полуночи вызовут кого-нибудь на допрос. После каждого допроса освобождалось жизненное пространство. Признававшихся назад не возвращали и путь к „параше“, благоухающему сосуду (в дополнение к смертельной духоте), становился все менее затруднительным.

В два часа ночи человек наиболее безволен, сморен сном в безвоздушной камере, голова соображает наихудшим образом.

За сон, которого лишали, многие, как за чечевичную похлебку, отдавали жизнь. Только уберите эти прожекторы, только разрешите сесть, лечь, и я подпишу все: да, я враг, махровый враг, я губил зерно, я не вовремя сеял, я не соблюдал технологию, я рассказывал политические анекдоты, клеветал на Советскую власть, клеветал на Сталина, Молотова и Ворошилова, у меня под полом склад оружия, я агитировал. Не бейте меня, и я укажу целую армию, которую я организо-

вал для вооруженного восстания, дайте мне бумагу и ручку, я укажу фамилии шпионов, только отпустите в камеру, на нары, под нары, к „параше“, только дайте спать!

- Ну, так долго будем в молчанку играть, Сергей Антонович? - спрашивал дюжий и краснолицый следователь Аболикшт.

Он тоже сотрудник района, хорошо отцу знакомый, иногда его собутыльник, латыш. Он даже льнул к отцу. „Мы, - говорил, - прибалты, народ аккуратный, хозяйственный, добрый“.

Но сейчас это был не добрый, хозяйственный Аболикшт, а сам разъяренный дьявол.

- Спрашивайте, - говорил Сергей Антонович, щурясь на слепящий прожектор.

- Признание! Добровольное и чистосердечное! Все остальное нам неценно!!! - орал изо всех сил Аболикшт, замахиваясь на отца мраморным пресс-папье.

- Мне не в чем признаваться, - отвечал папа, как зачарованный глядя на вскинутое над ним пресс-папье. Испробовавших удары Аболикшта вталкивали в камеру с проломленным черепом, а то и вовсе в морг.

Сергей Антонович, на беду Аболикшта, был так воспитан, что оговор самого себя считал таким же грехом, как и оговор кого-либо другого.

Аболикшт, уставши от угроз, принимался умолять.

- Ну, Сергей Антонович, дорогой, признайтесь, выручите старого друга, я же план сегодня не выполнил! Ну войдите в мое положение, что я сегодня скажу начальнику НКВД?

- Я вам всей душой сочувствую, - отвечал папа, - но я не мог присвоить себе дел, которых не совершал: я этого не делал, сообщников не имею, царским генералом не был, а был прапорщиком. Вы замечаете разницу? Прапорщик носил одну звездочку и один присвет на погоне, а генерал большую и золотой погон. Я был на 12 чинов ниже генерала.

- Сергей Антонович! - умолял Аболикшт, едва не падая на

колени. - Обещаю сохранить вам жизнь, лучшую камеру, трехразовое питание, легкую работу. А при таком положении, что? Раздавим как муху отправим на луну сегодня же...

- Воля ваша, но оговаривать ни себя, ни других я не буду, это подло. А совершив подлость, я сам себя убью, без вашей помощи!

Часам к пяти оба, смертельно измученные, расставались до следующего допроса. Аболикшт тут же укладывался на диван, а арестованного уводили в камеру.

* * *

Белинков, конечно, был гением. Или был бы им при нормальных жизненных обстоятельствах.

В четырнадцать лет это был абсолютно взрослый человек, сложившийся, поражающего красноречия. Он подчинял или привязывал к себе людей и доводил до рабского состояния. Одним из его излюбленных карающих приемов было отлучение. Обидевшись или встречая сопротивление, он в изысканной, но крайне обидной форме, высказывал свое нежелание видеть у себя этого человека „никогда“.

Эгоизм его развился благодаря весьма плохому состоянию здоровья. Ревматизм с раннего детства, ревмокардит и даже затемнение легкого. Отсюда отношение к нему родителей как к хрустальной вазе. Чуть что - в постель. В этой постели он в пятнадцать лет написал роман, поэму, сотню стихов.

Как сейчас, вижу Аркадия Белинкова. Выразительное, надменное лицо, длинные, блестящие, отброшенные назад волосы, впалая грудь, сутулые плечи. Если к этому прибавить огромные черные глаза, то классический образ поэта-декадента закончен. Обладая умом язвительным, спорщиком он был нетерпимым. До сих пор в ушах стоит его петушиный голос.

Была у него смешная слабость. Он не обладал знанием какого-либо иностранного языка, ну разве немножко знал не-

мецкий. Его преподавала у нас Мария Михайловна Липская, все мы ужасно шумели на ее уроках и плохо усваивали материал. Она старалась перекрыть шум. Кричала: „Руишь! Дрейдишь ихт. Тише! Не вертитесь!“ Тем не менее письма Аркадия пестрели иностранными словами, французскими, английскими. Создавалось впечатление, что эти языки он знает в совершенстве.

После окончания десятого класса он благодаря своим литературным способностям был принят прямо на третий курс Литературного герценовского института. Ему протезировал Илья Эренбург. Это он открыл в Белинкове блестящий талант литературоведа. С седьмого класса Аркадий страстно увлекся Юрием Тыняновым. Что он в нем особенного нашел, не знаю, сам я читал и „Поручика Кижэ“ и „Кюхлю“, и „Пушкина“. Ну и что? Неплохие вещи. Но чтобы посвятить целую жизнь Тынянову! Впрочем, может быть, я чего-то не доглядел, не понял?

По здоровью Аркадия не взяли в армию, война застала его в Москве, и среди бушлатов, шинелей и всякой рвани можно было вдруг встретить человека с волосами чуть не до пояса, с горящими глазами, в широкополой шляпе с мефистофельской эспаньолкой и в развевающейся старомодной крылатке.

Не исключено, кто-то из крупного начальства, увидев его на улице, сказал: „Возьмите этого человека и проверьте, что за птица“.

Взять-то птицу взяли, проверили, а выпустить забыли. Может быть, она кричала петушиным голосом: „А по какому праву? Кто вы, собственно, такой? Я не позволю! Я буду жаловаться!“ - а может быть, стала биться, хлопать крыльями и тем самым оказала сопротивление, но факт тот, что Москву Белинков увидел только спустя тринадцать лет.

А может быть, кто-то позавидовал его таланту или, что еще хуже, успеху у женщин и написал донос - тогда это было в моде, но только судьба Белинкова пересеклась на мгновение с судьбой человека, фамилию которого называть даже

не хочется, настолько он был любим всеми как литератор, назовем его условно Сан Саныч*. По долгу службы он должен был визировать приговоры, выносимые членам его паствы, что он, дескать, согласен, возражений не имеет.

Невозмутимый, спортивный, седой и обаятельный, он ставил свою визу под другими необходимыми подписями, и не было случая, чтобы он отказался ее поставить, говоря: „Позвольте! Да какой же он враг? Это же Мандельштам, гордость русской поэзии!“

Он, может быть, и гордость, но если он враг? Страх потерять кресло (а может быть, и свободу) заставлял его подмахивать свою подпись даже не задумываясь. Надо? Значит, надо! Такой исторический момент. Надев генеральскую шинель, он выезжал на фронт, в свою штабную газету, распекал какого-нибудь разгильдяя с майорскими погонами, с плохой выправкой да еще „под мухой“, вроде Михаила Светлова. Возвратившись в Москву, подписывал ордера на квартиры, на пайки, ставил визы под приговорами. Этому десятку, этому пятнадцать, этому расстрел. Надо? Значит, надо! Подмахнул свою подпись и под приговором Белинкову.

Сан Саныч был здоров, и призраки по ночам не являлись, как к душевнобольному Ивану Грозному. А Белинков без крылатки, в черном бушлате, без блестящих черных волос, с некрасивым шишковатым бритым черепом и горбатым еврейским носом, компрометирующим его в глазах уголовников, крепкой судьбы из светского льва был отброшен в самую презираемую лагерную категорию „придурков“ и „доходяг“. Копать землю? Но до 23 лет он не только ее ни разу не копал, но и в глаза лопаты не видел. А сердце? Тахикардия? Туберкулез?

Я-то боялся, что он до войны еще умрет, такой он был больной и квелый. Но такова человеческая выносливость: он тринадцать лет провел в лагере и не умер!

* Теперь-то все знают, что это Фадеев.

* * *

Вскоре моя судьба снова пересеклась с судьбой Белинкова.

Прозаически прозвучал телефонный звонок:

- Алло! Это говорит Аркадий Белинков, помнишь такого? Да, ровно 13 лет. Какой твой адрес?

И он появился в мастерской. Я был поражен. Ни один волос не упал с его головы, те же манеры, тот же костюм. И тот же Тынянов в голове.

Казалось, он не ходил в колоннах, где шаг вправо, шаг влево расценивался как побег и стреляли без предупреждения.

Я помню его папу, главного бухгалтера министерства Виктора Лазаревича, который на ночь прикосновением губ к его лбу определял, нет ли у него температуры. Мать, Мирра Наумовна, энергичная, моложавая, заведующая шахматной секцией Центрального Дворца пионеров, вилась над ним как птица, хлопотала, ублажала.

А тут снег, слякоть, окрики, гонка, грубые слова, оскорбленное человеческое достоинство! Клокотание бешеного сердца, срыв дыхания хилой груди.

Как это можно вынести?

Где-то недалеко, в том же направлении, шла, вернее, прыгала Надя Рошеева, существо еще более несчастное, чем он. Левая нога ее, изуродованная туберкулезом кости, была короче правой на двадцать сантиметров, а ее взяли без костылей. Незнакомые женщины вели ее под руки, а она прыгала как воробей. Ее арестовали, когда ей было двадцать. Она была студенткой ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории).

Что за грех был на ее душе, за который ее так жестоко наказали в таком юном возрасте? Организация восстания? Шпионаж? Без ноги-то?

И вот Рошеева и Белинков столкнулись в моей мастерской. Затравленно глядели друг на друга, едва друг другу кивнули, руки не подали. А ведь мы втроем проводили ве-

чера у ее постели в жарких спорах об искусстве. В этой постели она оставалась постоянно из-за туберкулеза. Ее и арестовали в постели.

- Подождите, - просила Надя, - до завтра, мне принесут ортопедическую обувь и костыли, вы же не можете предположить, что я убегу?

Но люди, пришедшие за ней, могли это предположить, вытаскивали ее из постели и поволокли с развевающимися косами и болтающейся короткой ногой.

Итак, они сидят у меня в мастерской, Аркадий и Надя, и сказать им друг другу нечего. Кто из них нарушил лагерную этику? Может, кто-нибудь пошел на уступки начальству, может, чего похуже?

Так или иначе, для меня они оба были героями. Они, еле живые, отправились в ад, прошли все девять кругов, сохранили талант и душу.

Белинков закончил блестящую работу о Тынянове, которая, по мнению знатоков, была выдающимся литературным произведением. Надя тоже вела какую-то интересную литературоведческую работу. Ни тот ни другой не высказал претензий друг другу ни в лицо, ни за глаза, но было ясно, что они никогда не смогут простить друг другу что-то недоступное моему пониманию.

Если для „врагов народа“ того времени нужно было иметь определенные качества - широту взглядов, незаурядный ум, полемический талант, поэтический дар, знание как русской, так и иностранной литературы, - то они были типичными „врагами народа“.

* * *

Двигаясь по траектории своей судьбы, попадаешь в совершенно разные эпохи.

Вот мы остановились где-то в 1956 году, разделяющем жизнь пополам, Ветхий завет и Новый.

В моей власти шагнуть назад или вперед.

А что если шагнуть к началу моей художественной деятельности? Хочешь не хочешь, возникает из небытия фигура Мотовилова. Почти забытая сейчас, но очень яркая личность. Люди моего возраста помнят, что дом на улице Горького с магазином „Армения“ и мастерской скульптора Коненкова венчался огромной женской фигурой из бетона. Не берусь утверждать, что она была безупречна в пластическом отношении, но архитектурно занимала свое место.

Под ней стоял бронзовый Пушкин Опекушина. Но кому-то подумалось (не главному ли архитектору Москвы Чечулину?): Пушкин стоит под развеваемой юбкой, а вдруг он поднимет голову? Какую картину он там увидит?

В результате фигуру разрушили, хотя она десяток лет простояла без вреда для Пушкина и его морали.

Так же поступили с воротами ВДНХ. Единственно хорошее скульптурное произведение выставки было именно на этих воротах. Это был рельеф, разномасштабный, многофигурный, многоэтажный, затейливой композиции, с монументальным подходом к форме. Автором был Мотовилов. И все-таки рельеф сломали через 30 лет, взамен поставили какое-то дерьмо.

Защитить Мотовилов себя не мог, так как к этому времени успел умереть.

В затхлое болото Московского высшего Строгановского училища он ворвался как свежий ветер.

- Долой строгановский лепщицкий стиль, Сандуновские бани и все такое прочее, увражи, обмеры, акантовые листья, ионики! - кричал он. - Будем заниматься настоящим монументальным искусством.

Ему было 56, высокого роста, похож на Микельанджело, но без перелома носа. Ходил в рваном вигоневом свитере и стоптанных бурках. Упал однажды с лесов метров в шесть высотой, на трехметровой отметке успел ухватиться за перекладину, руку растянул, но приземлился без особых потерь.

Это произошло лет через десять, когда ему было уже 65. Вот ведь какое здоровье было! А умер в 73 в постели балерины, где, перетрудившись, получил инфаркт. Не правда ли, отличная характеристика для мужчины?

Он выгнал с факультета старперов, пукающих мхом. Привлек к преподаванию молодых видных скульпторов, в том числе человека с библейским именем Саул, ученика Деспью и Бурделя. Золотой век Строгановского училища!

Даже в полночь можно было застать десяток студентов в скульптурных мастерских. Эти мастерские размещались в нижнем этаже стандартной школы-новостройки. Училище только что открылось, и пока действовали лишь два курса - первый и четвертый.

На первый принималась зеленая молодежь, окончившая седьмой класс, на четвертый поступали после художественных техникумов и удачники, пришедшие в вуз после десятилетки. Кроме того, на четвертый курс без конкурса шли участники только что закончившейся войны, имеющие среднее образование.

Группы располагались в смежных классах, мы проходили к себе в мастерскую через младший курс. Пол в обоих классах был залит водой от непрерывной поливки глины. Народу битком, теснота усугублялась из-за расположенных повсюду металлических каркасов для лепки человеческой фигуры, на подставках стояли обнаженные натурщики и натурщицы.

Проходя через младшую группу, мы неизменно видели безмолвную фигуру Саула, человека лет сорока, черноволосого, чернобородого, с неизменной трубкой в толстых губах. Пожалуй, он был похож на великого живописца Левитана, хотя из-за смуглой кожи напоминал араба или индуса. Образование получил в Париже. Ученик Деспью и Бурделя, он всем своим видом показывал, что скульптура - вещь настолько непостижимая, что сам он не лепил никогда, но тем не менее имел авторитет великого мастера и теоретика. Он ничего не объяснял своим ученикам, лишь иногда подходил к тому или другому, морщился болезненно и говорил:

- Уберите это...

Изящной белой рукой брезгливо скреб не понравившееся ему место. Ходили слухи, что в Париже он был ужасный Дон Жуан, и в это охотно верилось. Был он также азартным игроком на скачках. Вернулся в Москву перед самой войной, в Москве жил бобылем, о его любовных связях здесь никто не слышал, на скачках не играл. Потом женился и был очень доволен.

* * *

У нас же в группе был другой стиль. Георгий Иванович Мотовилов был очень деятелен и агрессивен. Ему не хватало бранных слов.

- Вы понимаете, что это бездарно? Нет, вы этого не понимаете! Вы этого не можете понять, - распалаялся он, хотя студент молчал как... ну неважно как, - вам просто нечем понять, потому что вы дурак! Нет, вы не просто дурак, а вы форменный, законченный осел!

И отходил от форменного, законченного осла, даже не глядя в его сторону. Он, как и Белинков, обладал даром отлучения. У него было лишь два цвета: белый или ярко-малиновый. Он или обожал, или свирепо ненавидел.

Обожал он девушек-студенток и направлял в их сторону флюиды мужского обаяния. Любил студентов очень юных из хороших семей и ненавидел великовозрастных парней из деревни, а в особенности людей, прошедших фронт.

Была тут у него своя логика: щенка можно научить чему угодно, а здорового, взрослого кобеля ничему не научишь, фронт же убивал самую основу эстетического восприятия.

Он всем по очереди поправлял работы, балагурил, шутил, приходил в монарший гнев, за ним ходила толпа и смотрела, как он делает поправки.

- Помните, у Верлена:
Дорогу, дорогу гасконцам,
Сверкают их латы, как солнце.

- Это перевод Холодковского. Это же чепуха! Бред сивой кобылы! Слушайте подлинник - и читает по-французски:

Энгран сомей нуар
Томб сюр ма ви
Дорме тутэс пуар
Дормэ туманви.

- Есть ли что-нибудь общее?

Все сгруживаются вокруг него, как апостолы вокруг Христа.

- Нет, Георгий Иванович, ничего общего! Вы это замечательно подметили. - Надо сказать ни один из нас французского не знал. Лицо у Георгия Ивановича бледное, ярко-голубые глаза прозрачны. Он прохаживается по мастерской, грузно опустив плечи, и вдруг его взгляд, обычно встречающий опущенные глаза, натывается на фронтовика. На этот раз это я. Цвет лица его делается ярко-малиновым, глаза мутнеют. Подходит.

- Что это? Иха-ха (недобрый возглас). Опять та же ошибка... Я же вам объяснял в прошлый раз... сколько можно! Преждевременное заканчивание поверхности - это старострогановский порочный метод, говорящий об отсутствии вкуса. Вы что думаете? Похоже и достаточно? Нет, друг мой (плохой признак, когда называет „друг мой“). Скульптура - это не ползание по поверхности, как Вучетич или Манизер, а сложный процесс вхождения одного объема в другой. Бурдель говорил: „Если хотите оживить глиняную скульптуру, то ударьте ей кулаком в живот“. Он со всего размаха ударяет мое произведение кулаком, сделав огромную вмятину, сердце мое сжимается. Зачем это портретное сходство? Это этюд! (Он сровнял глиняные нос и губы.) Покажите конструкцию и больше ничего. Только конструкцию!

Он ободрал скульптуру со всех сторон так, что она стала напоминать полосатого тигра.

- Вы абсолютно правы, - вмешивается один из учеников, - то, что они делают, - это же муляж, витринный манекен. Я ему сто раз говорил, а он мне не верит!

Подхалимов вокруг было много. Что же до Мотовилова, то он был не просто преподавателем. Он был дрессировщиком. Видели, как тигр пытается отбить лапой хлыст укротителя, но боится и, в конце концов, подчиняется? Так и я. Он меня выучил. Ну, любит ли животное укротителя?

* * *

Как приятно и радостно вырваться из города на землю, к траве, деревьям, солнцу, приехать, например, на пляж в Гурзуф. Я лично люблю плавать, загорать же - постольку-поскольку. Нет особой разницы, белый ли ты, красный ли, кремовый. Но окружающая публика была другого мнения об отдыхе. Подавляющая масса сидела на деревянных топчанах под натянутым полотнищем-тентом, меньшая лежала прямо на солнце, наклеив на нос фиговый или бумажный лист. Единичицы отваживались войти по колено в море. Был май, прохладно, я-то и получил путевку на 9 мая как участник войны в честь 25-летия Победы. В Гурзуфе нет таких прогулок, как в Коктебеле, пляжный участок маленький, и курортники с утра до вечера резались в домино и преферанс. Потом всей компанией отправлялись обедать.

Мне повезло с соседями по столику. Столик был на троих. Со мной сидела супружеская пара не слишком юная, она - с чертами былой красоты, он - бывшего здоровья. С ним мы оказались знакомы. Но вначале я его не узнал, так он изменился, отсидев шесть лет в лагере строгого режима.

Итак, звали его Юлий Даниэль. Вместе с Андреем Синявским они стали жертвами первого политического процесса хрущевского периода. Организаторы процесса не понесли никакого наказания, остались работать на прежних должностях.

- Как вело себя лагерное начальство, охранники и прочие в вашем лагере? - спросил я.

- Начальство, конечно, перестало зверствовать, как при Сталине, но лагерь есть лагерь. Мы работали на лесопилке.

Норма тяжелая, а я еще работал за Андрея, он был неловок, неумел и слаб как младенец. А не выработаешь норму - полного пайка не получишь, захиреешь, не поправишься.

Кроме того, он носил рыжую бороду, а начальники терпеть не могли бородатых, так как ненавидели попов и монахов. Требовали, чтобы он побрился, он ни в какую, его в карцер, он говорит: „Лучше умру, чем побреюсь”. Я его уговаривал, бесполезно.

- Вы сидели с уголовниками?

- Конечно. Мы же проходили по уголовной статье. Уголовник - это сволочь! Такая погань! Жадное жлобье, крохоборы, хамы.

Я-то с ними как-то справлялся, а Андрея каждый день за бороду таскали, а он, на беду, был маленький и обидчивый.

Я смотрел на Юлия. 10 лет назад это был почти юноша, сейчас - старик. Был здоровяк, теперь язвенник. Он остался тем же, кем и был, - литератором, но больным и усталым. Короче говоря, исправился. Даму его звали Ира. Узнав, что я учился в одном классе с Аркадием Белинковым, она пришла в восторг. В 1943 году Белинков заканчивал Герценский, а она поступила на первый курс. Не заметить этого Чайльд Гарольда было невозможно, и у них завязались какие-то отношения, о которых, понятно, я не спрашивал, а она не говорила.

- Где он сейчас? - спросил я, - хотя из статьи в „Литературной газете” знал, что он на Западе. Статья называлась „Васисуалий Белинков из Вороньей слободки”. Он что-то там вякнул, а наши обиделись.

- Его уже нет. Пять лет назад он погиб в автомобильной катастрофе...*

- Да?! Жаль... Талантливый человек был... Уникальный в своем роде...

- По всему видно, что вы с ним нечасто встречались.

- Да, мы не встречались с 1960 года.

* На самом деле А.Белинков умер в Америке в 1970 году.

- Отчего же? Вы же до войны дружили? Или дружится только в юности?

- Он остался таким же, каким был в сороковом. Нетерпимым, истеричным, дерзким, несправедливым. В искусстве замечал только политическую направленность. Красот пропорций, цвета, формы для него не существовало. Был антиэстет и гордился этим. Отличить меня от Вучетича или Манизера не мог.

- Да, таким он был. Он не мог создать сам художественного образа, а разобрать его критически мог великолепно. Я читала его „Тынянова”. Вещь отличная. Такой язык! Едкий сарказм. Книга была уже на выходе, но это совпало с процессом Юлия и Андрея. Начались строгости. В книге усмотрели какой-то намек. Набор разбросали, все договоры с ним расторгли. Он с женой Наташей поехал в туристическую поездку и назад не вернулся.

- Незадолго до этого я встретил его в ЦДЛ. Он был бледным, лицо отекло. Видимо, сердце было в неважном состоянии. Я спросил: „Что не зайдешь никогда”? Он сразу начал орать петушиным голосом: „На чем? На „скорой помощи”? На катафалке?! У меня уже три инфаркта было!” Я почувствовал себя виноватым, что у него было три инфаркта, и поскорее откланялся.

Разговор снова вернулся к лагерной жизни. Андрей совсем дошел там. Еле ходил.

- Я имел право просить помилования раз в год. И на четвертом году отказался от своего права, а присоединил его к прошению Андрея. И, как ни странно, это подействовало. Его отпустили по истечении четвертого года. В России он долго не задержался. Его пригласили в Сорбонну преподавать русскую литературу. И вы знаете, какой мерзавец? Звонит каждую неделю и смеется:

- Чего там сидишь? Чего ты забыл в Советском Союзе? У меня уже вилла на берегу моря! Совсем забыл, как доходил в лагере!

- А вы, Юлий, свой срок отбыли полностью?

- От звонка до звонка. В последний день вызвали, объявили об освобождении, выдали деньги, заработанные за шесть лет. Их было не так уж мало, несмотря на мизерные расценки. Сказали, что поражения в правах у меня нет, разрешена московская прописка.

Я бы смог уехать, но мне чего-то не хочется уезжать из России. Может быть, я не такой знаток литературы, как Андрей? Или Ира этому виной: ее на Запад не заманишь.

* * *

Но хочу вернуться к Мотовилову. Из предыдущих страниц, думаю, вам ясно, что человек он был властолюбивый, решительный, смелый и прогрессивных эстетических взглядов. Приближались два юбилея: 70-летие товарища Сталина и 60-летие Георгия Ивановича Мотовилова.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка подарков первому юбиляру, а к юбилею второго вышла статья „Против формалистических тенденций в скульптуре” главного архитектора Москвы Д.Н.Чечулина. В этой статье он выражал мнение, что „стояние медного Пушкина под бетонной женщиной в развевающихся юбках”, не закрывающих и середины цементных бедер, сможет вызвать нежелательную реакцию. Кроме того, подвергался уничтожающей критике памятник Алексею Толстому, установленный у собора, где венчался Пушкин.

Формализм Мотовилова, по мнению Чечулина, заключался в еле заметной фактуре. То есть его скульптура была не на сто процентов гладкой. В эти годы скульпторы выглаживали свои скульптуры до блеска, иначе они не принимались художественными советами. Статья совпадала с кампанией космополитизма. В нашем училище в космополиты угодили Мотовилов и, естественно, Саул Рабинович.

Мы решили встать на защиту наших кумиров. Бегали в партбюро, которое подготовило общее собрание училища,

где космополиты должны были публично каяться и рвать на себе одежды. Секретарь партбюро Земсков сказал нам: „Какие у него звания? Нет? А награды? Нет? Ясно, что он космополит, пусть публично себя покритикует, тогда мы, может быть, оставим его в училище, но не завкафедрой, естественно”.

Мы даже предлагали в чем-то покаяться Георгию Ивановичу, для проформы, но он отвечал: „Мне не в чем каяться! Абсолютно не в чем!”

Собрание началось. Дали слово Саулу. Он сонно вышел к трибуне, попыхивая трубочкой.

- Космополит, - сказал он, - это что? Человек мира или человек, спаливший свои космы? Если первое, то я не космополит, а человек, вернувшийся в Россию из патриотических чувств перед самой войной и разделивший со всеми все тяготы войны. Нет вопросов? А что касается второго, то жизнь мне действительно подпала космы. Помните меня четыре года назад, мои волосы? Смотрите сейчас - они еле закрывают темя. Помните мою бороду? Бакенбарды побелели, и я их сбрил или, если хотите, спалил. Что касается моих прозапных высказываний, то студенты, передо мной сидящие, подтвердят, что за эти годы я не сказал и сотни слов. Я им только говорю: уберите то или другое, но они убирают лишь безвкусицу.

Земсков, ведший собрание, спросил:

- Есть ли вопросы?

Так как вопросов не было, Земсков сказал:

- Очень жаль, что выступающий так нескромно пытался обелить себя. Мы ожидали искреннего признания. Только полная искренность и признание, только они ценны для нас. Что же, пеняйте на себя, Саул Львович! Слово профессору Мотовилову!

Тот встал, не подходя к трибуне.

- Я жду ваших вопросов.

- Расскажите, только искренне, как вы, старый профессор, попали в болото космополитизма.

- Я преподаю по утвержденной программе и училища, и Министерства высшего образования. В чем вы усматриваете космополитизм?

- Вы нарушили традиции старого Строгановского училища. Нам хорошо известно, что Бурдель, Майоль, Ронсар то и дело упоминаются вами. Вам не мила отечественная культура?

Ни Саул, ни Мотовилов так и не смогли доказать своего предпочтения русского искусства по отношению к западному и были зачислены в космополиты. А что это значило? Безработица? Арест? Мотовилову повезло. Как-то он пришел в училище с медалью лауреата Сталинской премии на груди. В Музее подарков товарищу Сталину появился горельеф: Сталин, а к нему сбегаются толпы ликующего и любящего народа. Главный автор Вучетич с группой скульпторов и среди них и Георгий Иванович Мотовилов, с которого смыли позорное пятно космополитизма.

С тех пор, Мотовилов перестал показываться в рваном вишнево-голубом свитере. На улице его можно было встретить в габардиновом пальто и сером берете. В мастерских появлялся теперь в хорошо сшитом костюме и с лауреатским значком. Наши этюды перестали быть рваными и полосатыми, а поражали гладкостью и портретным сходством. А сам Георгий Иванович уже никогда не шутил на французском языке и во всяком случае не ругал больше ни Вучетича, ни Томского, ни Манизера.

Фигуру женщины в развевающихся юбках, столь противоположную Пушкину, разобрали, оставив куцый дом с магазином „Армения“. Но это уже после смерти автора.

* * *

Траектория моей судьбы вновь пересекается с траекторией Нади Рошечевой.

Отпрыгав на одной ноге свой лагерный срок, она вернулась в Москву еще совсем молодой женщиной, скорее, даже де-

вушкой. Как я уже говорил, ее арестовали в двадцать лет и отправили в места отдаленные. Сейчас, в знаменательном 1956 году, ей было тридцать два года.

Она, как и Белинков, ухитрилась сохранить свою внешность.

Приятное русское лицо (хотя была еврейкой), серые, очень большие глаза, русые косы вокруг головы, широкие плечи и мускулистые руки микельанджеловской сивиллы, как у человека, который с рождения ходил на костылях. Ее всегда сопровождал юноша лет 25, улыбочивый и белокурый, по имени Володя.

По улицам Надя ходить одна не могла: костыли, ортопедическая обувь. Особенно неприятно было в гололедицу. И Володя помогал ей. Заключение абсолютно не повлияло на ее добродушие. Она всегда была в хорошем настроении, говорила доверительно, красочно, сочно. А ее друг никогда ничего не говорил, лишь улыбался по-собачьи преданной улыбочкой. Надю он называл на „вы“ и по имени-отчеству.

Тысяча девятьсот пятьдесят шестой! Год отречения от Сталина. Год возвращений из мест отдаленных. Год надежд. Всевозможных планов. Даже мы - поясняя: это Лемпорт, Сидур и Силис, скульпторы по тем временам модернисты - даже мы получили несколько залов в Академии художеств для демонстрации своих произведений. Отсюда невиданный наплыв людей в нашу мастерскую.

Появился Борис Слуцкий, высокий, бравый, плотный, похожий на большого сытого рыжего кота. Передо мной его портрет в камне и известняке. Точно, похож на кота-копилку.

Без свиты он не ходил, а иногда сам сопровождал известных по тем временам людей. Вот он привел турецкого поэта Назыма Хикмета, личность слишком знаменитую, чтобы его опускать. Достаточно привести строки Слуцкого:

Точно в детстве веселый,
Точно в юности милый,
Будто в каторге тачку
Он не возил...

И верно, курчавый блондин, даже рыжеватый, горбоносый, с густыми усами, он не был похож на измученного непосильным трудом каторжанина. Отлично говорил по-русски, прекрасно понимал нашу ситуацию, предлагал привести к нам иностранных корреспондентов, чтобы сделать нам мировую славу, от чего мы с благодарностью отказались, боясь гнева нашего начальства, которое могло оставить без заказов. В другой раз Слуцкий привел огромного и толстого Пабло Неруду, похожего на чудовищного какаду. Разговор шел по-испански, и мы не могли непосредственно пообщаться с великим чилийским поэтом. Переводчик заверил нас, что мы ему очень понравились.

Что ж, хорошо!

Мы подарили ему по керамике.

Слуцкий поддерживал молодые таланты, был меценатом, покупал картины, продвигал молодых литераторов в журналы. Много делал хорошего. Всегда спрашивал:

- Ребята, как у вас со жратвой? Деньжат не нужно? Не стесняйтесь, возьмите у меня рублей 200-500. Отдадите, когда сможете. И давал. Надя привела молодого поэта Генриха Сапгира. Самое забавное, что он ранее служил во внутренних войсках и охранял тот самый лагерь, в котором Надя отбывала свое десятилетнее заключение. Он был тонким поэтом, новатором и в ритмах, и в рифмах стиха.

Вскоре появился его друг Игорь Холин, худощавый человек, лет на 15 старше. Он тоже служил ранее во внутренних войсках, но уже в чине капитана. И, что самое поразительное, был уволен из этих войск с формулировкой „за жестокость, проявленную к заключенным“. Он был спокойным и добрым человеком и писал самые короткие стихи:

Поступила в ГУМ,
Не нужен для этого ум,
Работала временно,
Теперь беременна.

А может, его уволили за либерализм и придумали такую формулировку? Впрочем, бывают случаи, когда интелли-

гент, воспитанный и образованный, в армии, облеченный неограниченной властью, становится сущим зверем, я встречал таких. А лишенный этой власти становится вновь размазней и тюфяком.

Он как-то пригласил детского поэта Овсея Дриза. В определенных кругах тот считался великим поэтом. Встречи, как правило, проходили за столом. Посредине стола бутылка водки. Овсей непрерывно подливал себе и читал стихи на еврейском языке, оценить достоинство которых было невозможно. Правда, он тут же переводил их на русский.

Мы не очень любили его поэзию, вернее, не воспринимали ее на слух. Силис и Сидур ушли незаметно, по-английски, остался я один на один с Овсеем. Он все читал, а у меня слипались глаза, но он меня опередил, откинулся вдруг на подушку дивана и крепко уснул.

Увидев недопитые полбутылки водки, я подумал: как только он проснется, то сразу же потребует, чтобы я бежал в магазин, поберегу-ка эти остатки. Утром, проснувшись, он стал хвататься за лысую голову и восклицать: „Ох! Ай! Ой вэй!“ - так он выражал похмельное состояние.

Пожалуй, я сделал несколько тактических ошибок. Во-первых, не выпил с ним на пару, я был бы уверен, что это была именно водка, во-вторых, налил ему сразу весь остаток и спешил от него освободиться. Он маленькими глоточками и с видимым удовольствием выпил стакан до конца и сказал: „Это хорошо, что ты мне поддал сначала воды, а то горло пересохло! А теперь, Володя, не в службу, а в дружбу, сгоняй за бутылкой, я бы граммов 200 выпил для поправки!“

Я побежал в магазин, благо это было уже восемь. Он выпил принесенную водку, и в итоге опять уснул, и спал уже до вечера. Проснувшись, он стал мучиться похмельем и снова восклицать: „Ох! Ай! Ой вэй!“ Пришлось ему налить, он выпил и уснул уже до утра.

Утром я усадил Овсея в такси, дал шоферу рубль и отправил его домой. Вздохнул с облегчением. И вдруг, о ужас! На

диване осталось его кашне. Угроза нового посещения нависла надо мной.

Три года Овсей вел со мной переговоры о возврате кашне. „Старуха требует, житья не дает!“ - говорил он. Переговоры кончились печально - смертью Овсея, но, надеюсь, не потеря кашне была ей причина.

Потом появились поэты Батышев и Губанов. Они назывались группой молодых гениев: им в самом деле было лет по 17-18. Слов и сюжетов их стихов не помню, может быть, тогда и не вслушивался, так как чтение происходило опять-таки за бутылкой. Но манера чтения впечатляла. Губанов брал самую высокую ноту в своем регистре голоса и читал, вернее, рыдал в течение получаса, выливая вместо слез потоки слов.

Утомившись, он засыпал в рыжей пыли у нашей керамической печи, она находилась в отдельной комнатке.

Потом эти поэты, по определению органов, оказались шизофрениками, их забрали в лечебное учреждение, лечили по методу профессора Снежневского. И действительно вылечили. Лет через пять я их встретил. Это были вполне здоровые, нормальные люди. Только стихи писать перестали. Но опыт их не пропал даром: в их манере читает теперь Андрей Вознесенский.

Исцеленных гениев мы стали побаиваться и решили уклоняться от встреч с ними: время посуровело - наступила эра Брежнева. Паганини как-то ответил карбонариям, требовавшим, чтобы он дал концерт в их пользу: „Воюйте, боритесь своим оружием, но не выбивайте из рук моего - скрипки!“

Поэты, приходя к нам, читая, протестуя, даже просто болтая, работали по специальности. Они работали на себя, искали слушателя, приводили его с собой и добивались успеха. Их работа, их устремления были нам понятны, но отрывали нас от работы. А у нас были свои задачи, свои проблемы.

Я, кажется, приближаюсь к печальному завершению траектории жизни Нади Рошеевой.

Надя обычно приводила к нам очередного интересного человека. И мы сопротивлялись новым знакомствам. „Нет, - говорили мы, - не сегодня... Может быть, завтра или в другой раз... У нас художественный совет“.

Так продолжалось, пока мы не узнали, что Надя лежит в Первой градской больнице. На следующее утро нас известили, что литературовед Надежда Рошеева скончалась от туберкулеза в возрасте 36 лет. Конечно... Туберкулез... От него умирают и в более раннем возрасте. Но Горький жил до шестидесяти восьми и жил бы до ста, если бы не „врачи-отравители“. Кто знает? Может быть, без десятилетнего заключения Надя дождала бы до срока? А может быть, и дольше? Кто горячее всех откликнулся на ее смерть, это Володя, ее молодой безмолвный рыцарь с преданной улыбкой. Он в тот же день застрелился.

Получив известие о смерти Нади, мы полдня говорили об этом событии. Но мало-помалу забыли о ней. Мне кажется, что теперь у меня нашлись бы более теплые слова. А может быть, русские любят мертвых больше, чем живых? Я даже составил перечень эпитетов для живых и для мертвых.

Для живых: если темпераментный, значит, нахал, если экстравагантный, то пижон, если чувствительный - не иначе, как слюнтяй, если фантазер и выдумщик, то врун, а если отходит от стереотипов, то карьерист или выскочка.

Для мертвых у нас при тех же обстоятельствах слова куда более приподнятые и романтические. Если покойник (например, писатель) в своих произведениях и поступках проявлял темперамент, мы говорим „неистовый Виссарион“ или „неистовый Роланд“. Экстравагантного так и назовем экстравагантным, как считали Оскара Уайльда, чувствительного Есенина почитаем как великого лирика. Если покойник был фантазером и выдумщиком, называем его „талантливым фантастом“, отошедшим от стереотипов времени. Вообще среди ушедших в мир иной куда больше великих людей и гениев. Что ж, видимо, живые - конкуренты нам. Мертвых же не опасно возносить до небес.



Яков СИМКИН

БОГРОВ И СТОЛЫПИН

Сразу после выстрелов в председателя Совета министров П.А.Столыпина в дом Дмитрия Богрова ворвался полицейский наряд. Ошеломленная горничная сказала, что отсутствующие в Киеве его родители будут потрясены случившимся. Офицер патетически воскликнул: „О, разве Россия будет потрясена меньше?!“

Тем не менее большого потрясения не произошло. Россия не хотела оплакивать смерть первого министра. Это можно объяснить тремя причинами. Первая - за пять лет председательства Столыпин многократно подвергался покушениям, но отделывался легким испугом. Такое у него было счастье - ему всегда везло. Вторая причина была политического свойства. Столыпин огнем и мечом уничтожал завоевания первой русской революции. Третья причина, почему выстрелы Богрова не потрясли Россию, в том, что террор, деспотизм, насилие, жестокость не дают возможности относиться с уважением к их вдохновителям и направлятелям.

Были и другие причины. После следствия, суда и приговора была утверждена официальная версия покушения. Богров якобы состоял на службе у охраны, выдавал анархистов, и те, находясь в тюрьме, приняли решение казнить его. Это было дьявольское решение, поскольку Богров должен был или покончить жизнь самоубийством, или убить Столыпина. Выбрал последнее. В таком случае в Киевском театре 1 сентября произошла мелодрама. Приехавший вместе с императором Николаем II в Киев на открытие памятника Александру II, казненному народовольцами, Столыпин стал жертвой одинокого террориста. Все остальное остается в тени. За девять дней без особых хлопот полиции и политического скандала в Государственной думе с Богровым было покончено. Единственное, в чем сомневалась пресса, как он мог получить билет в театр, где находился император с семьей, много министров и избранная публика. Однако это занимало газеты ровно столько, сколько занимавшийся расследованием обстоятельств убийства сенатор М.И.Трусевич намеревался привлечь к уголовной ответственности за попустительство помощника министра внутренних дел, дворцового коменданта, начальника дворцовой охраны и начальника киевской охраны. Неожиданно император их помиловал. В этом не было ничего особенного, но помилование в ходе расследования получилось до того нескладным, что возбудило новые версии мотивов покушения.

Благодаря исчезновению важных документов в процессе следствия, версии нагромождались одна на другую. Их десятки. Это обстоятельство, безусловно, повлияло на решение нью-йоркского издательства „Телекс“ выпустить сборник документов и свидетельств „Убийство Столыпина“, выдержавший два издания. В объемистой книге факсимильно воспроизведены 46 документов, в том числе последние письма Богрова, протоколы допросов, им подписанные собственноручно (за исключением одного), страницы газет с откликами на покушение, стенограммы заседаний Государственной ду-

мы, допросы должностных лиц, присутствовавших в театре. Часть документов, вошедших в сборник, имеет самостоятельное историческое значение, поскольку в них содержатся факты, вскрывающие тайные связи между столыпинскими реформами и реакционными политическими партиями. Довольно значительное место занимают переписка Столыпина с Николаем II по еврейскому вопросу и „Журнал Совета министров“, зафиксировавший события, повлиявшие на общественное мнение.

Многие документы сборника известны давно, но они не помогли найти ключ к загадкам покушения. Вдруг при пожаре киевского охранного отделения сгорело „Дело Богрова“, неожиданно вывезли в Германию семейный архив Богровых, бдительная киевская прокуратура потеряла протоколы допросов свидетелей покушения. Нет! Все это не могло исчезнуть. В архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк) и Гуверовского института сохранились впервые опубликованные в сборнике фотографии Богрова. В этих хранилищах А.Солженицын собрал обширные материалы для своей эпопеи „Красное колесо“.

Сколько путаницы произошло из-за того, что своевременно не были опубликованы материалы следственной комиссии Трусевича. Ему ли было не знать, что Богров не был простым осведомителем охраны, если он писал в докладе: „Характер сотрудничества Дм. Богрова с киевским охранным отделением в большинстве случаев носил совершенно безразличный характер и никак не мог оправдать того доверия, которое Кулябко (начальник киевской охраны. - Я.С.) и остальные чины, которым была поручена охрана пребывания государя в Киеве, проявили в отношении Дм.Богрова. Единственное дело, по которому сведения Дм.Богрова, быть может, имеют известное значение, это дело Мержеевской“.

В протоколе первого допроса Богрова (1 сентября в первую ночь после ареста и жестокого избиения) он заявил, что Юлия Мержеевская, подготавливавшая покушение на царя,

была выдана им охранке. Чувство раскаяния не обуревало его. Сказал ровно, спокойно, почти формально. Тут же в протоколе: „На вопрос, почему у меня после службы в киевском охранном отделении явилось вновь стремление служить революционным целям, я отвечать отказываюсь“. Поменялись политические взгляды? Не сложились отношения с анархистами? Прямо-таки какая-то загадка.

Вот так-то сопоставление двух документов ставит под сомнение „корыстное предательство“ Богрова и тем более версию о том, что киевское охранное отделение по приказу из Петербурга (чуть не самого царя) поручило своему тайному агенту застрелить премьера. Скорее всего, Богров благодаря уму, настойчивости, смелости, остроумию и хитрости проник в охранное отделение для того, чтобы предупредить о готовящихся против революционеров акциях.

Но кто же решится на такой риск? По-видимому, Богров был одним из немногих людей, которым пришлось взять на себя такую опасную и трудную роль. Страх разоблачения не остановил его. Он действовал как умел, используя свои знания юриста и очень небольшой жизненный опыт. Ему было чуть больше 20 лет. Никакого далекого прошлого у него не было, ему было далеко не все равно, что о нем говорят. Он знал, что слухи о его предательстве распространяют находящиеся в тюрьме недолюбливавшие его Филипп и Наум Тыш, которые были непрочь поиздеваться над теми, кто после заключения вышел на свободу. Он написал им письмо, но тут же понял, что оно поставит его в трудное положение. Для того, чтобы не остаться в глазах однопартийцев человеком, уклоняющимся от ответственности, потребовал через двоюродного брата провести над ним открытый суд в стенах тюрьмы с участием Тыша и еще 12 заключенных. Суд состоялся. Обвинения с Богрова были сняты. Будучи предусмотрительным человеком, повез в Париж решение суда с целью публикации в нелегальном журнале. Редактор считал, что это предприятие рискованное и предусмотреть реакцию на документ невозможно.

Что-то ценное после суда ушло из жизни Богрова, несмотря на то, что он окончил юридический факультет Киевского университета и стал помощником присяжного поверенного. Для еврея получить звание присяжного поверенного и адвокатскую практику было почти невозможно. Без особой надежды поехал в Петербург, но вскоре убедился, что бастион не возьмет. Вернулся в Киев. Отец предложил ему крупную сумму денег (он был миллионером) для организации какого-либо коммерческого предприятия. Богров отказался и действительно едва ли был способен заниматься бизнесом.

Григорий Богров не без умысла предложил сыну открыть свое дело. В семье издавна занимались виноторговлей, но дед Дмитрия Григорий Исаакович Богров был, кроме того, весьма популярным еврейским писателем, напечатавшим в журнале „Отечественные записки“ Н.А. Некрасова „Записки еврея“ и „Еврейский манускрипт“. Он чистосердечно считал, что евреи в России должны ассимилироваться, развелся с женой, женился на христианке, жил в глухой деревне и за несколько месяцев до смерти принял крещение. Поступок деда не повлиял на внуков. Богровы остались иудеями.

В одном из первых сообщений по делу Дмитрия Богрова (3 сентября) не показалось странным заявление покушавшегося о том, что боязнь еврейских погромов долго удерживала его от выстрелов в Столыпина. На заседании Государственной думы 15 октября 1911 года фракция националистов („Всероссийский национальный союз“) провозгласила декларацию: „В охране состоит на службе много лиц, не заслуживающих никакого доверия, а также немало евреев, непримиримых врагов России и ее государственного строя, причем они нередко занимают ответственные и даже руководящие посты. Между тем из множества уголовных процессов с несомненностью выясняется предательская роль евреев в политических злодеяниях“.

До сих пор в России берегут умы подобного рода декларации и заявления: „Память“, „Отчизна“ и другие национали-

стические объединения. Тогда, в 1911 году, подписавшие декларацию депутаты Думы судья Червинский, учитель гимназии Алексеев и землевладелец Балашов назвали Богрова мстителем еврейского народа, потерявшим благоразумие. А за год до покушения Богров встретился с редактором журнала „Вестник знания“, в прошлом судимым народником Егором Лазаревым. В его воспоминаниях тщательно воспроизведены две беседы с Богровым. В одной из них Богров заявляет: „Я решил убить Столыпина!“ Вдруг услышал вопрос: „Вы еврей?“ Ответил, что предвидит, чем кончится покушение для еврейского народа. Просил у Лазарева посредничества между ним и какой-либо партией, чтобы она взяла на себя ответственность за покушение. Тогда его выстрелы будут более целесообразными и внушительными. Он терзался также мыслью, что покушение вызовет кривотолки, как и произошло на самом деле. Ни одна из политических организаций не хотела брать на себя ответственность. Для реализации предложения Богрова нужно было иметь твердую почву под ногами. Ни эсеровская, ни анархистская ее тогда не имели. Анархисты через Лазарева заявили: „Богров непременно остается при своем особом мнении. Он - скептик, причем принципиальный. Он никогда не соглашается ни с кем“. Может быть, они действительно были правы: если ему не понравится план покушения, он не возьмется превратить его в реальность.

Нужно было действовать самому. Никто почему-то не торопится убрать контрреволюционера, погромщика и палача. Шумят, кричат, а страна катится в пропасть. На следствии Богров заявил: „Покушение на жизнь Столыпина произведено мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, то есть отступления от начавшегося в 1905 году порядка: роспуск Государственной думы, изменение избирательного закона, притеснение населения, инородцев, игнорирование мнений Государственной думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа“. Тут же в протоколе воспроизведены в деталях подробности по-

кушения. С упорством одержимого человека Богров постоянно подсовывал охранке информацию о готовящемся покушении на царя. Миф раздувался. Наконец, в соответствии с замыслом, террористы появились в городе. Начальник охраны поручил Богрову наблюдение за ними. Эту роль пришлось играть особенно осмотрительно. Вдруг все кончилось почти впустую: по настоянию родителей вынужден был уехать из Киева на две недели. Вернулся в конце августа. Времени до прибытия царского поезда оставалось мало. Но нет худа без добра. По приезде в Киев Богров пошел на квартиру начальника охраны, где застал приехавших из Петербурга полицейских генералов. „Имена” террористов были названы. Казалось, еще одна комбинация и подготовка к покушению будет закончена, но на торжества в театре Богров билет не получил. Повторил старый ход: сгустил краски об угрозе и предложил меры возможной защиты. Ощутил детскую радость и чуть ли не захопал в ладоши, когда из полиции принесли билет.

Его искусство действительно заслуживало изучения. Николай II, академик Г.Е.Рейн, киевский губернатор А.Ф.Гирс, полковник жандармского управления П.Т.Самохвалов и журналист А.С.Панкратов так или иначе видели момент покушения и Богрова среди хаоса. Его внешний облик зафиксировал в своих воспоминаниях Панкратов. Его описания удивительно совпадают с фотографиями Богрова, воспроизведенными в сборнике. Зарисовки сцен также отличаются достоверностью. Разговор с полковником в фойе театра сразу после ареста Богрова. „Кто стрелял? Какой-то Богров, здешний адвокат. Кто он, русский? Нет, еврей. Слава Богу, что не русский...” Панкратов в это время размышлял так: „Он за был, видимо, что у нас были Рысаков, Желябов, Перовская, Каляев, Сазонов, Карпович...”

Полковнику не удалось воспользоваться национальным происхождением Богрова. В сущности, на его вопросы почти никто не реагировал. Гораздо самоувереннее писала в те

дни одна из еврейских газет в Америке: „Мы не боимся, что человек, стрелявший в нечеловека (изверга), - еврей; что рука, вновь поднявшая в России знамя борьбы, знамя свободы, это - еврейская рука”.

Не считая двух-трех газет, в том числе „Правительственного вестника” и антисемитской „Новое время”, русская и заграничная пресса отнеслась к покушению более или менее объективно, что вызывает в наши дни некоторое удивление.

Такое неожиданное открытие стало возможным благодаря тому, что в сборнике воспроизведено более 30 откликов русской и мировой прессы на события 1-12 сентября 1911 года. Имеются в материалах сборника и другие неожиданности. Когда Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Временным правительством в 1917 году, рассматривала материалы для проведения беспрецедентного в истории судебного процесса (за три десятилетия до Нюрнбергского) над руководителями свергнутого царского режима, на допросы вызывались А.И.Спиридович и П.Г.Курлов, поскольку выстрелы Богрова сыграли роль в политической жизни страны. Следователь задал бывшему начальнику дворцовой охраны Спиридовичу, близкому родственнику начальника киевской охраны, вопрос о взаимоотношениях Богрова с охранкой в день покушения. Ответил: „Утро для них всех было интересное. С семи утра до двух у них было свидание с Богровым, вырабатывали план действий”.

Неожиданный сюрприз между строк протокола: охранка совещалась с Богровым за несколько часов до покушения и принимала его всерьез. Это немножко забавляло его. У входа в театр он и начальник охраны были особенно предупредительны друг к другу. Когда наружная охрана пыталась задержать Богрова, поскольку билет его был надорван, начальник охраны с какой-то вызывающей непосредственностью приказал пропустить его. Но только это было опасным испытанием. В театре находились 95 чинов охраны при 22 офицерах. Впоследствии от них потребовали письменных

ответов на вопросы, где находились и чем занимались в момент покушения. Их сведения были путаными. Тем не менее они были уничтожены чьей-то рукой для „облегчения“ следствия. Вероятно, эти документы не на шутку испугали власти.

Кроме того, в суде не оказалось ни одного следственного протокола допросов Богрова. В камере судебного заседания находились всего около 20 человек, в их числе министр юстиции, киевский генерал-губернатор, командующий войсками, следователь по особо важным делам, прокурор, губернский предводитель дворянства. Скрытый и поспешный суд? Те отчеты о судебном заседании, которые печатались в газетах, оказались при сравнении с воспоминаниями современников, фальсификацией. Ни одного подлинного документа не сохранилось. Помещенный в сборнике отчет какой-то странный, лишенный из-за стилия доверия. Пожалуй, следовало бы его прокомментировать составителю сборника А.Серебрянникову. Может быть, некоторый скептицизм позволил ему не придерживаться в данном случае принятой им самим методики: сопровождать документы подстрочными примечаниями. Позволим себе также сказать, что в сборнике такого характера должно быть научное предисловие, объясняющее, как обстоит в настоящее время дело с изучением покушения на Столыпина.

Сочетание имен или, вернее, противопоставление имен Столыпина и Богрова упорно и решительно используется русскими националистическими организациями. Постоянно повторяется: „Два выстрела, прозвучавшие в киевском театре 1 сентября 1911 года, смертельно ранили Россию“. Или как поет чуткий к окружающему настроению современный бард Юлий Ким: „Ребята! Кончайте вы этот базар! Зачем Столыпина убили!!! Все Достоевский предсказал!“ Невольно вспоминается „Зачем нашего Христа распяли!“. Против националистического натиска советские ученые и публицисты пока придерживаются оборонительной позиции.

В недалеком прошлом (1983 год) появился роман А.Солже-

ница „Август четырнадцатого“, где 11 глав (62-73) непосредственно связаны с Богровым. Многие даже считают, что убийство Столыпина является центром повествования. Некоторые персонажи постоянно говорят о реформах Столыпина. Его портрет нарисован с невероятной тщательностью. Солженицын уверен, что Столыпин оставил России свои реформы в пожизненное пользование. А ведь на протяжении десятилетий его проекты воспринимались равнодушно или с особенной настороженностью.

Внезапно всплывает в романе образ Богрова. Одна из героинь романа, Агнесса Мартынова, рассуждая о значении и философии терроризма, говорит, что венцом русского террора является выстрел 1 сентября. Он равен только перво-мартовской бомбе, брошенной в Александра II народовольцами. А по справедливости мести, вероятно, превосходит. Ей возражает Аглойда Федосеева: богровские выстрелы являются не русским порождением, поскольку произвел их человек с какой-то чужой потемочной душой и двусмысленной фигурой. Словно Богров вообще без корней, тот, кто везде приживается. Он везде эмигрант и нигде не эмигрант, он изгой. Для того, чтобы стрелять в Столыпина, не обязательно нужно было быть евреем и искать дополнительных мотивировок к тем, которыми руководствовались ранее покушавшиеся на него русские люди.

Так или иначе в романе сохраняется какая-то внутренняя антипатия к Богрову, хотя на следствии он сказал: выступаю в защиту оскорбляемого народа. Личных мотивов мести у него не было. Он никогда не обращался к Столыпину и не видел его. Ни министров, ни генералов, ни сенаторов, ни прокуроров Богров убивать не хотел. Со Столыпиным началось единоборство за год до покушения.

По воспоминаниям М.Прилежаевой-Барской (советская писательница), впервые она услышала от Богрова о желании убить Столыпина весной 1910 года. Никто тогда не придавал особого значения его словам. Слова и слова: многие ненави-

дели Столыпина. Удивило только, с какой ненавистью сказал об этом улыбающийся Богров, как будто не нужно было соблюдать осторожность. Что это? Бесстрашие? Мысль его, по-видимому, не шла дальше подсознания. У него появилось самоощущение человека, обретающего свободу действий. Он не был хладнокровным убийцей, и тем более у него не было желания прослыть сверхчеловеком. И, кроме того, он не принадлежал ни к какой организации.

После освобождения из-под ареста летом 1908 года он раз и навсегда решил не примыкать ни к какой партии. Он считал, что любая организация - это узда. „Партия - это я!“ С кем бы он ни общался после ареста за участие в движении анархистов, говорил, что у него нет стремления и склонности входить в какую-либо организацию: „Хочу жить собственной жизнью“.

Его откровения встречали молчанием и вздохами. Вера Богрова (жена старшего брата), чьи воспоминания впервые печатаются в сборнике по рукописи, хранящейся в архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк), увидела Богрова после освобождения изменившимся, усталым и ироничным. Он наслаждался своей свободой с какой-то особенной страстностью: играл в азартные игры, но не был картежником, был завсегдатаем кафе-шантанов, но они не поглощали его. Он создал свою, причудливую и не всегда понятную для окружающих мораль, допускающую сильные ощущения. Еще одна загадка Богрова? Слово других, связанных с покушением, мало. Самая страстность и упорство, которые он вносил во все, что казалось ему интересным и нужным, часто вызвали сомнения и нарекания родных. Вера Богрова говорит при этом, что его нельзя было упрекнуть в недостатке морального мужества.

Ежедневно после обеда в кабинете Богрова-отца собиралась семья. Были разговоры на серьезные политические темы. Богров всегда говорил с несколько нарочитой предусмотрительностью, поскольку знал взгляды отца, являвшегося

единственным евреем, состоявшим членом Дворянского клуба. Разговоры отца всегда были полны сожалений о том, что Дмитрий и его двоюродный брат Сережа Богров (живший у них в доме) примкнули к революционному движению. Между отцом и сыном возник заметный холодок, что было совсем ни к чему, поскольку Дмитрий больше не входил в партию анархистов. Разве отец не видел, что Дмитрий находится в полном смятении, в мучительном и тревожном разладе со всеми в семье и в 23 года голова его стала совершенно седой. В первых числах марта 1911 года М.Лятковский, университетский товарищ Богрова, впервые увидел его поседевшим. Подумал: нервы не лгут.

Он больше не виделся с ним. В день казни Богров беседовал с раввином Алешковским и просил его (по сведениям из газет): „Передайте евреям, что я не хотел причинить им зла, наоборот, я боролся за благо еврейского народа. - А затем добавил: - Великий народ не должен как раб пресмыкаться перед угнетателями его“. За несколько часов до казни он хотел еще раз побеседовать с раввином, но не разрешили.

В сборнике факсимильно воспроизведено письмо Богрова родителям сразу после суда. Его чуткая совесть была неспокойна, тревога за отца и за мать обрела оттенок сыновьего раскаяния, но сострадание к ним не разжалобило его: „Простите меня еще раз, забудьте все дурное, что слышали, и примиритесь со своим горем, как я мирюсь со своей участью“. Мог повторить, если бы знал, слова французского анархиста Эмиля Анри, сказанные судьям: „Мы несем смерть и принимаем смерть“.

Очевидцами казни записаны три реплики Богрова на эшафоте. В двух первых говорил об одежде, в которой взошел на помост, в третьей, уже под саваном, спросил палача: „Голову поднять выше?“ Юмор еще шевелился в нем и оставался иммунитетом против отчаяния и безропотности. Наверное, реплика могла иметь и другой смысл.

Два выстрела Богрова преградили путь Столыпину, стре-

мившемуся установить жестокую диктатуру. Все остальное интересовало Богрова гораздо меньше.

К покушению Богрова сохраняется интерес различных политических партий и организаций. Для того, чтобы увидеть это, особенно далеко ходить не надо. С поднятым забралом выступает „Память”. „Отчизна” советует, как следует спастись от инородцев, способных расстрелять будущее России, а газета одного военного округа знает, как распознать затаенных террористов типа Богрова. Такая уверенность могла возникнуть потому, что офицер, стрелявший в Брежнева во время встречи космонавтов, проходил службу в одной из частей округа.

Не один Богров мечтал о низвержении и избавлении от существовавшего в столыпинскую эпоху строя. Но все же он один решился взойти на эшафот. Как можно не признавать или признавать с большими оговорками его подвиг? Дмитрий Богров должен быть возвращен революционной истории.

РЕВОЛЮЦИОНЕР, ТЕРРОРИСТ, БИЗНЕСМЕН

Из переписки Л. Б. Красина

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Леонид Борисович Красин (Никитич) прожил недолгую жизнь (1870-1926), но по праву может быть назван одним из виднейших русских революционеров. Двадцати лет отроду он начал участвовать в социал-демократическом движении, и в период самый критический для партии большевиков - с момента образования партии в 1903 году и до конца первой русской революции - состоял членом ЦК. В революцию 1905-1907 годов Красин стоит во главе боевой технической группы при ЦК, ответственной за вооруженную борьбу с правительством Российской империи, в том числе и террористические акты. Именно Красин руководит нелегальной перевозкой в Россию (через Стокгольм и Хельсинки) закупленного во Франции, Болгарии и Македонии для революционе-

ров оружия, а будучи инженером-химиком по образованию, лично возглавляет работу лаборатории, изготавливающей адские машины, ручные гранаты и бомбы. По позднему свидетельству, Троцкого, Красин мечтал создать портативную „бомбу величиной с грецкий орех“. В мастерской Красина, оборудованной в квартире Максима Горького в Москве и охраняемой грузинскими экспроприаторами группы Камо, были, в частности, сделаны бомбы, брошенные при известной экспроприации денег в Фонарном переулке и при покушении максималистов на председателя совета министров России П.А.Столыпина 12 августа 1906 года на Аптекарском острове. В результате взрыва резиденции Столыпина на Аптекарском острове несколько десятков человек были убиты или ранены (в числе раненых - дети премьер-министра), но сам Столыпин остался невредим. Правда, в 1910 году Красин рассоривается с Лениным и на некоторое время отходит от активной партийной работы. Но уже в 1912 году, вместе с бежавшим из Метехского замка Камо, Красин возвращается к большевикам-ленинцам и разрабатывает план экспроприации почты на Коджорском шоссе.

В последующие годы Красин становится удачливым бизнесменом, работает в одной из крупнейших европейских фирм и большую часть времени проводит за границей. После февральской революции, оставив семью в Англии, он возвращается в Россию, первоначально без намерения активно участвовать в событиях. К ленинской группе (большевикам) он в целом относится скептически, не забывая прежнюю с ними ссору. Но очевидно, что будучи человеком умным и циничным, Красин лишь выжидает, надеясь оказаться под рукой в нужный момент и обеспечить себе и семье „место под солнцем“. Именно по этой причине Красин после октября 1917 года начинает сотрудничать с коммунистами, хотя, очевидно, его мучают сомнения, которые он пытается заглушить как в себе, так и в своей жене, утешаясь тем, что его деятельность нужна еще и России.

Постепенно Красин втягивается в работу, занимает ответственные государственные посты: в 1918 году он становится членом Президиума ВСНХ и наркомом торговли и промышленности; в 1919-м - наркомом путей сообщения и членом Реввоенсовета Республики. С 1920 года Красин - нарком внешней торговли и одновременно полпред и торгпред в Великобритании. Тем не менее все эти годы он страдает из-за отсутствия привычного для него комфорта, уделяет большое внимание собственному быту, здоровью и финансам, особенно семейным. В быту революционер Красин остается баринком. В партии он чувствует себя чужим. В советской России он живет в постоянном ожидании краха большевиков, хотя в глубине души надеется, что ленинское правительство устоит. „Вся эта война такова, что побеждает не тот, кто одерживает победы“, - пишет Красин в письме от 18 мая 1919 года, когда Петроград вот-вот должен пасть под натиском армии генерала Юденича. Пути к отступлению, подполью и эмиграции у Красина на этот случай были давно подготовлены. Можно суверенностью сказать, что тема бегства из России в случае падения советской власти - одна из главных тем переписки с женой.

Красин так ни разу и не позволил своей семье въехать на советскую территорию. Он не осмеливался лишать жену и детей комфорта, а себя - мобильности одинокого человека, в любой момент готового бежать из России по давно налаженному пути. В 1923 году, как свидетельствует один из документов, Красин намеревался, в случае перевода его из Англии, уйти с постов и остаться за границей. 1923 год действительно был последним годом его работы в Великобритании: Красин был отозван, введен в ЦК партии и направлен на работу в Париж. Однако уйти в отставку и остаться за границей, т.е. стать невозвращенцем, Красин не решился: было очевидно, что советское правительство не позволило бы ему безнаказанно выйти из большевистской организации, к которой он принадлежал вот уже двадцать лет.

Публикуемые выдержки из писем Красина жене, Любви Красиной, относятся к периоду 1917-1919, 1923 и 1925 годов. Они являются частью материалов Архива Красина, хранящегося в Международном институте социальной истории в Амстердаме и насчитывающего, по нашим подсчетам, примерно 500 листов. Архив был передан институту вдовой Красина. Ряд писем, используемых в данной публикации, был приведен на английском языке в книге воспоминаний жены Красина Leonid Krassin: His Life and His Work. By his wife Lubov Krassin. London, Kessington & Son, (1929). Остальные тексты ранее не издавались. Письма публикуются с любезного разрешения администрации Международного института социальной истории. На русском языке все тексты вводятся в научный оборот впервые.

*Юрий Фельштинский
Доктор исторических наук*

ПИСЬМА

11 июля 1917 г.

Родной мой Любан*, не писал тебе давненько, частью из-за событий, частью потому, что, приготавливаясь сам к отъезду, уже терял настроение.

Ну, большевики-таки заварили кашу**, или, вернее, пожалуй, заварили не столько они, сколько агенты германского штаба и, может быть, кое-кто из черной сотни, „Правда” же и иже с ней дали свою фирму и сами оказались на другой день после выступления в классически глупом положении.

Описывать тебе все это по порядку нет смысла: гораздо полнее прочитаешь изложение событий в газетах. Скажу только, если правдисты хотели осуществить какой-либо „план”, вроде захвата власти, смены правительства и т. п., то, конечно, они себе самим обязаны провалом. Большой ор-

* Любовь Красина, жена Л.Б.Красина.

** Имеется в виду июльская 1917 года попытка захвата большевиками власти в Петрограде, окончившаяся для большевиков неудачно. Ряд большевистских руководителей, как, например, Троцкий, Каменев и Луначарский арестовываются Временным правительством. Другие, как Ленин и Зиновьев, скрываются.

ганизационной беспомощности и убожества, отсутствия намека на какую-либо осознанную и поставленную себе цель трудно себе представить. При малейшем руководительстве в первые два дня, когда вся многоголовая „власть” была тоже в состоянии полной растерянности, можно было сделать что угодно, но болтуны остались болтунами, и когда вместо вынесения резолюции или писания громовых статей потребовалось проведение лозунга в жизнь, грозные вожди и руководители всемирного пролетариата оказались попросту в нетях и не сделали даже попытки извлечь из разыгравшихся событий и пролитой уже нелепым и бесцельным образом крови хоть что-либо для осуществления своих тактических программ. Несчастные же „массы”, в лице главным образом солдат и некоторого процента хулиганья, совершенно бессмысленно толкались два дня по улицам, стреляя с перепуга друг в друга, шарахаясь в стороны от малейшего слуха или тревоги и абсолютно не понимая, что все это значит и что к чему: в общем уличный пейзаж несколько напоминал февральский с поправкой на время года. Раненых было изрядно, так как стрельба шла не только с крыш, и коэффициент полезного действия некоторых ружей и пулеметов был, вероятно, больше по сравнению с протопоповским. Зато не было массовых расстрелов каких-либо определенных групп, хотя по адресу „буржуев” и раздавались грозные возгласы, особенно на окраинах.

Мой автомобиль, конечно, забастовал со вторника утра, но, по счастью, его на этот раз не угоняли, и я ходил пешком только дня три, пока все не вошло в норму. В городе я бывал каждый день, но лишь у себя на Екатерининской, конечно, не пускаясь на Петроградскую сторону, благо телефон работал все время, и я имел возможность сноситься с конторой в течение всего дня. Никакой опасности я нигде не подвергался и под перестрелку нигде не попадал, хотя трескотня слышна была в конторе одно время изрядно (с Гороховой).

Совпадение всей этой истории с наступлением немцев на

фронте слишком явное, чтобы могло оставаться сомнение, кто настоящий виновник и организатор мятежа. Разумеется, заслуги идейных обоснователей и проповедников этой авантюры от этого нисколько не умаляются, и, вероятно, этот эксперимент не так-то просто и не всем из них сойдет с рук.

Сейчас все эти события в значительной степени уже заслонены нашими поражениями, прорывом на Тернополь и проч. Это бедствие для меня лично, впрочем, не неожиданно, потому что развал армии обуславливается не только упадком духа, но и рядом объективных причин, разрухой, расстройством транспорта и проч. С другой стороны и немцы, при всех их победах, вряд ли уже смогут достигнуть в эту кампанию какого-либо решающего результата. Скорее этот их удар через некоторое время скажется усилением нашей армии и, возможно, даже некоторым оздоровлением тыла. Может быть, немного меньше будут болтать и больше работать, а это сейчас главное по отношению ко всем значительным слоям и группам народа. Я, как и раньше, главную беду и опасность вижу в расстройстве транспорта, продовольственных затруднениях и в ужасающем падении производительности всякого почти труда. Всякий, не исключая интеллигентов, инженеров и пр. до министров включительно, делает 1/2, если не 1/3 против того, что он мог бы делать, и не из-за лени, а из-за неорганизованности, неумения приспособиться к новым обстоятельствам, из-за этой атмосферы неуверенности, испуга, возбуждения, всеобщей сумятицы! В этом улучшения пока незаметно, и когда оно начнется - Бог знает. Жизнь становится все труднее, исчезают самые обычные вещи, вроде молока, масла. Каждый обед - почти чудо, ибо только стечение исключительно благоприятных обстоятельств позволило достать эту курицу, или крупу, или рыбу. Вести хозяйство - чистое мучение, и я каждый день радуюсь за тебя, что ты, пока что, избавлена от этого наказания. Я уже не говорю о ценах: огурец - 50-70 коп., малина - 2 р. ф., салат - 50 к. ф.и пр. (...)

28 декабря (1917 г.)

Милый мой Любанчик и родные детки!*

Пишу вам несколько строк перед своим отъездом в Брест-Литовск**, о чем вы, может быть, будете знать до получения этого письма из газет.

Дело вышло так. Переговоры с немцами дошли до такой стадии, на которой необходимо формулировать если не самый торговый и таможенный договор, то по крайней мере предварительные условия его. У народных комиссаров, разумеется, нет людей, понимающих что-либо в этой области, и вот они обратились ко мне, прося помочь им при этой части переговоров в качестве эксперта-консультанта. Мне, уже отклонявшему многократно предложения войти к ним в работу, трудно было отклонить в данном случае, когда требовались лишь мои специальные знания и когда оставлять этих политиков и литературоведов одних значило бы, может быть, допустить ошибки и промахи, могущие больно отразиться и на русской промышленности, и на русских рабочих и крестьянах. Еду я сегодня в десять вечера экстренным поездом на Двинск и далее на Брест. Ты, мой родной Любанчик, пожалуйста, не тревожься за меня, поездка будет в хороших условиях, никакого утомления опасаться для меня нельзя, лично же я чувствовал бы себя беспокойно, отказавшись помочь не данным людям, не правительству, а всей стране в такой момент, когда худо ли, хорошо - решается ее будущее. Мой отказ был бы столь же недопустим, как отказ штабного или морского офицера принять участие в назначении военных условий мира или перемирия. И только в таком естестве

* Дочери Красина: Екатерина, Людмила, Любовь.

** Советско-германские переговоры в оккупированном немцами Брест-Литовске завершились подписанием 3 марта 1918 года Брестского мира между Россией и странами Четверного союза. 11 ноября 1918 года Брестский мир был аннулирован постановлением ВЦИК.

я и рассматриваю свою задачу. Немедля по возвращении из Бреста я соберусь к вам в Стокгольм (...)

Крепко вас всех целую и обнимаю

Ваш Красин.

15 февраля (1918 г.)

(...) Наконец, есть ведь еще опасность поражения, и хотя лично у меня есть все основания думать, что даже и враги должны будут отдать должное работе, которая целиком вся уходила на внесение сознательности и порядка в этот стихийный хаос, на устранение всяких эксцессов, все же я не столь наивен, чтобы полагаться на милость победителя, особенно в первые дни и недели, и тут лишь так же много легче быть одному, и я скорее смогу очутиться в условиях, гарантирующих от чего-либо худого. Вас же не спрячешь, а подвергать вас какому-либо риску, устраняясь от него сам, я, конечно, был бы не в состоянии. Вот причины, по которым я пока не могу вас сюда взять и звать. Как ни тяжела разлука, надо пока с ней мириться, и я прошу тебя, милый мой, дорогой мой любимишек, проникнуться сознанием необходимости и, кроме того, принять во внимание, что при тяжелых условиях современности мы еще во много раз лучше поставлены, чем другие, и множество людей нам завидовали бы. (...) Нет, други мои, надо еще ждать, и я надеюсь все-таки скоро быть у вас, и там мы обсудим вопрос, как и что, как и где быть дальше. (...)

26 июня 1918 г.

Хорошие мои (...)!

Как-то вы поживаете, золотые мои? Соскучился я по всем вам очень, много бы дал, чтобы взглянуть, как вам там живется. Спасибо вам за ваши письма. Пишите еще, пришлите также снимки, если сделали их за это время. Я сижу так долго в Берлине из-за того, что помогаю здеш-

нему нашему послу* в его переговорах с Германией. Немецкое правительство, ограбив целый ряд русских городов и деревень, хочет теперь еще заставить Россию платить по всяким старым и новым долгам, хочет дешево купить разные товары у нас, русских. И вот против всего этого нам надо бороться и по возможности выговорить лучшие условия, чтобы хоть как-нибудь облегчить положение. Этим я и занимаюсь, каждый день приходится разговаривать со многими людьми, и немецкий язык мне за этот месяц пришлось основательно припомнить. Живу я в самом русском посольстве, недалеко от Tierrgarten'a, но гулять в нем много не приходится: все некогда. Еды здесь вообще-то мало, но русскому посольству дают даже масло и мясо, и в общем мы питаемся хорошо, хотя немец-повар и не особенно вкусно готовит. Сами же немцы едят мало и плохо, но народ они терпеливый и понимают, что в этой несчастной войне можно только терпением и выносливостью взять. Почти все здесь войну ругают и говорят, пора заключать мир, но все-таки все слушаются своего правительства, а оно грабит весь мир и посылает на убой все большие массы людей. Так, должно быть, будет до тех пор, пока даже и немцы не взбунтуются и не сбросят своих правителей, как мы сбросили Николая.

Вы меня спрашиваете, скоро ли в Россию можно вернуться. Думаю, что еще не очень-то скоро, и зиму во всяком случае придется вам пробывать в Швеции. (...)

Был я два раза в Целендорфе. Послал вам оттуда три открытки, получили ли их? Zelendorf сравнительно меньше изменился, чем Берлин: там меньше грязи и разрушений, чем в Берлине. Из-за войны у немцев мало рабочих людей, и некому наводить чистоту, вставлять разбитые стекла или за-

* Полпред РСФСР в Германии А.А.Июффе (1883-1927). В партии большевиков с 1917 года, участник октябрьского переворота в Петрограде, член ВК. В 1918 году один из ведущих советских дипломатов во время переговоров в Брест-Литовске, затем полпред в Берлине.

ново красить то, что потрескалось или развалилось. Только все сады разрослись гуще, и многих домов из-за густых деревьев вовсе не видно. Пишите мне, как вы проводите день, а также сделайте снимки, как вы живете, ну, например, как наша милая маманя, золотая моя, пьет утренний чай или раскладывает пасьянс, как вы все обедаете или на прогулке, купании и т. п. Мне очень интересно было бы получить такие снимки. И отдельные морды тоже. (...)

25 августа 1918 г.

Родной мой, любимый Любанаша и милые мои девочки!

(...) В Москве я пробыл ровно неделю, сделал за это время много, но зато не имел возможности вам написать больше двух-трех строк. Как уже писал, впечатление у меня неблагоприятное. Город выглядит даже хорошо, и с едой трудно, но люди как-то кормятся, что же касается лично меня, то благодаря особым условиям я имел возможность обедать по два раза в день в разных столовых с простой, но домашней едой, не говоря уже о „Праге“, где за 50 руб. можно есть, как и за сто марок не поешь в Берлине. (...)

Как уже писал, я пока что не беру никаких громких официальных мест и должностей, а вхожу лишь в Президиум Высшего Совета народного хозяйства и беру на себя фактическое руководство заграничной торговлей, не делаясь, однако, еще комиссаром промышленности и торговли. (...) Самое скверное - это война с чехословаками и разрыв с Антантой: Чичерин* соперничал в глупости своей политики с глупостями Троцкого**, который сперва разогнал, расстроил и от-

* Чичерин Г.В. (1872-1936). В социал-демократической партии с 1905 года. Меньшевик. С 1918 года - большевик. В 1918-1930 годах - нарком иностранных дел.

** Троцкий Л.Д. (1879-1940). В 1917-1918 нарком иностранных дел, в 1918-1924 - нарком военно-морских дел и председатель РВСР. В январе 1928 - сослан в Алма-Ату. В январе 1929 - выслан из СССР.

толкнул от себя офицерство, а затем задумал вести на внутреннем фронте войну. Так как из его генштаба, вероятно, три четверти - предатели, то никто не может предвидеть, чем все это кончится. Хуже всего то, что по мере успехов чехословаков становится труднее сдерживать захватнические стремления немцев и теоретически мыслить такой оборот, что при занятии чехословаками Нижнего немцы ответят на это занятием Питера и Москвы, хотя бы под видом военной помощи, а это в свою очередь через два-три месяца приведет к тому, что от всего большевистского правительства оставлен на своем месте будет разве один товарищ Никитич (т. е. сам Красин), так как на иные специальности спрос сразу сильно упадет. Будет очень жаль, ибо не только я, но даже (...) право настроенные люди признают, что путь наиболее здорового и безболезненного развития лежит сейчас для России только через большевизм, точнее, через советскую власть, и победа чехословаков или Антанты будет означать как новую гражданскую войну, так и образование нового германо-антантского фронта на живом теле России. Много в этом виновата глупость политики Ленина и Троцкого, но я немало виню и себя, так как определенно вижу - выйди я раньше в работу, много ошибок можно было бы предупредить. Того же мнения Горький, тоже проповедствующий сейчас поддержку большевиков, несмотря на закрытие „Новой жизни“ и недавно у него из озорства произведенный обыск. Питер выглядит тоже очень недурно, на улицах полный порядок, даже по случаю бывшей карьеры заведена опрятность и чистота. Правда, улицы пустынные и весь город имеет вид выздоравливающего больного. Несомненно, худшие времена позади, и если бы не эта чертова война под Казанью, Вяткой и проч., можно было бы спокойно, уверенно рассчитывать на дальнейшее и прочное улучшение. (...) Вообще очень прошу не верить никаким ерундовым паническим рассказам. Не будь войны на Волге и обусловленной ею продовольственной неурядицы, я не задумался бы вас выписать

сюда: настолько велико вообще успокоение и упорядочение всей жизни. В частности, за мое питание не беспокойся, я прекрасно ем и не экономлю в деньгах. Надеюсь в конце сентября или в начале октября с вами хоть ненадолго увидаться и взять тебя с собой на неделю-другую в Берлин. (...)

23.1X.1918г., Москва

(...) Работы много, разнообразной и широкой, и, когда она спорится, получается ощущение точно стоишь около большого горна и молотком куешь кусок стали, искры так и летят во все стороны. Если чертовы чехословаки или наши - хуже всяких врагов - друзья-немцы не испортят нам обедни каким-либо неожиданным условием, то натворим немало заметных дел и, пожалуй, возврат к старому ни при каких условиях уже не будет возможен. (...) Пожалуйста, не делай из этого вывода, что я хочу вас там на веки вечные оставить. Напротив. Во-первых, я уверен, что не за годами время, когда в Европе начнется собственная совдепия, а это будет куда похуже нашего. Во-вторых, надо детям привыкать к тому новому укладу жизни, в котором им придется жить. Поэтому, как только „военное“ положение у нас хоть несколько окрепнет, а главное, паек хлебный фактически дойдет хотя бы до трех четвертей фунта, я сейчас же вас выпишу. Пока что, други милые, сидите там и не беспокойтесь за меня, я живу в хороших условиях, и ничего со мной случиться не может. Работаю тоже с расчетом не надрываться и не чувствую ни малейшего утомления. В октябре собираюсь за границу, конечно, ненадолго, так что ты уж, Любан, на меня не ворчи. (...)

24.X.1918.

Родной мой золотой Любченышек и милые мои дети!

Если бы вы знали и видели, как я по вас по всех скучаю, истосковался. Писем от вас почти не имею, да и вы мои едва ли исправно получаете: при этой неразберихе и окольных путях

многое в пути теряется. Гуковского * по пути в Ревель немцы обыскали из-за какой-то перебранки по поводу ехавших на одном пароходе с ним русских беглых пленных и при этом отобрали письма. Так я от вас ничего и не получил. Последняя телеграмма была от 12-го.

Ну, я живу тут по-прежнему, и самое, конечно, главное в моей жизни - работа, еда и сон. Больше почти ничего: за день так устанешь, что мыслит голова мало, да и к лучшему, иначе я еще больше бы по вам тосковал. Питаюсь я хорошо, как и раньше, и на этот счет ты, родной мой Любан, не беспокойся. Единственный дефект в том, что относительно много мяса приходится есть, но в России живя, это уже неизбежно. Живу в „Метрополе“, квартира отличная, если будут топить достаточно, то и с этой стороны я устроен. Чувствую себя очень хорошо, не устаю и никаких вообще дефектов в себе не замечаю. Неправильностей с сердцем уже несколько месяцев вовсе не было, и я склонен думать, что вся эта история была у меня не органической, а явилась результатом той стрептококковой ангины, которой я заболел в Москве в 1914 году, когда хоронили бабушку. Очевидно, продолжительный отдых в Стокгольме и жизнь у вас под крылышком тоже сыграли свою роль.

Ну а как быстро меняются события и какой величины мировую катастрофу мы переживаем?! Прямо невероятно быстро, с которой полетела Германия в пропасть. Воображаю, как горд и доволен мышонок!

Рушится целый мир, и к старому возврата нет, даже если бы старым силам мира и удалось еще на время победить Великую Революцию. Все сведения из Германии подтверждают, что там начался развал совершенно того же характера, как у нас в пору развала армии в (1) 917 году. Таким образом,

* Гуковский И.Э. (1871-1921). В партии с 1898 года, активный участник двух революций. В 1917 году - казначей ЦК партии. В 1918 - заместитель наркома, а затем и нарком финансов.

в этом пункте пророчества Ленина, хотя и с опозданием на несколько месяцев, оправдаются. Сейчас пришло известие, что Либкнехт освобожден. Прямо невероятно для Германии. Теперь вопрос, **когда** оправдается такое же предсказание и в отношении Антанты. Будет ли ему предшествовать „победа до конца“ и в связи с нею подавление революции в России или „передышка“ дотянет до капитуляции не только Вильгельма* и Карла**, но и Вильсона***, Ллойд Джорджа**** и Клемансо*****. Предсказывать трудно, но мне все-таки думается, едва ли все так гладко во Франции, и в Англии, и особенно в Италии. Как ни велик соблазн „победы до конца“, все так истощены и так безбожно устали, что и победители чего доброго так же лопнут во время победы, как и побежденные.

Да! Трудные, трудные еще предстоят нам времена. Ты вот, Любан, в претензии на меня, что я сюда поехал, а мне думается, я поступил правильно, и помимо субъективного сознания обязанности принять участие в этой работе, это надо сделать уже хотя бы потому, что в этом слагающемся новом надо завоевать себе определенное место, и не только себе, но и вам всем, а для этого приходится работать. Ты не бойся, я меру знаю и буду ее соблюдать, тяжелее всего разлука с вами, мне так хорошо жилось вместе, но это надо преодолеть. Как дальше пойдут события, трудно предвидеть, одно ясно, вам сюда возвращаться еще не время, слишком не устоялась жизнь, и существовать здесь семьей было бы прямо-таки не-

* Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-1941), германский император и прусский король в 1888-1918 годах. После ноябрьской 1918 года революции в Германии эмигрировал в Голландию.

** Карл I (1887-1922), император Австрии, король Венгрии (под именем Карла IV) - в 1916-1918 годах.

*** Вильсон Томас Вурдо (1856-1924), 28-й президент США (1913-1921) от демократической партии.

**** Ллойд Джордж Д. (1863-1945). Премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах, один из лидеров либеральной партии.

***** Клемансо Ж. (1841-1929). Премьер-министр Франции в 1906-1909 и в 1917-1920 годах.

возможно. Сдвинулось с петель все наше старое устройство и жилье, самые неоспоримые понятия, права, привычки опрокинуты, и множество людей как раз из нашего круга стоят в недоумении перед обломками своего вчерашнего благосостояния, зажиточности, комфорта, удобств, элементарных благ. Те, кто переживают эту бурю за рубежом, едва ли правы, так как тем труднее им потом будет привыкнуть к новым условиям. Конечно, жены и дети, кто могут, лучше должны быть избавлены от этих трудных (...) переживаний, но нам надо работать и бороться не только за общие цели, но и за свою личную судьбу. У меня была мысль при ближайшей поездке за границу взять тебя сюда с собой на побывку, чтобы ты посмотрела, как сложна и какая иная стала тут жизнь, но я не знаю, следует ли даже это делать, и, пожалуй, спокойнее будет тебе, милый мой, посидеть в Стокгольме. Ну да об этом мы еще поговорим. Когда я поеду в Берлин, еще не знаю. У меня очень много всякого дела, не отпускающего отсюда, кроме того, есть разные причины, по которым лучше не слишком торопиться, и как ни хотелось бы мне вас скорее всех обнять, придется потерпеть до конца ноября, а может быть, и до декабря.

(...) Посылаю тебе, миланчик, бумагу комиссара финансов о выплате тебе денег с 15 августа по 3 тысячи р. в месяц. Значит, за август - 1500, за сентябрь - 3 тысячи и за октябрь - 3 тысячи. Должны, судя по тексту письма, выплатить по казенному курсу, т. е. около $7500 \times 2 = 15.000$ крон. Это было бы неплохо. Только в скором времени хотят Воровского* и всех заграничников сократить и не будут считать крону по 52 коп., тогда и твои 3000 рублей сморщатся соответственно, вероятно, до 3000 крон. Поэтому не зевай и хоть за эти-то месяцы получили с них по хорошему курсу. Я здесь оставляю

* Воровский В.В. (1871-1923), в партии с 1894 года. С ноября 1917 года - советский полпред в Скандинавии. С 1921 - в Италии. Убит в Лозанне (Швейцария).

себе по 1000 р. в месяц, этого мне хватит вполне, принимая во внимание сравнительно льготные цены на квартиры и в наших столовых. Четыре тысячи в месяц - это в советской республике почти что невиданная сумма. Но все же, миланчик, с деньгами будь поосторожнее, неизвестно еще, что всех нас ждет впереди.

21 февраля 1919 г.

Милый мой, родной Любан!

Пишу тебе в надежде послать это письмо с Классоном*, если только ему удастся получить пропуска в Швецию. С ним такая история: у него давно уже бывали припадки какой-то желудочной болезни - образование газов в желудке, давление на сердце, которое доходит до двухсот и больше ударов в минуту. Раньше эти припадки бывали редко, а теперь повторяются чуть не через две недели. И вот на днях был один такой, после которого Роберт наш едва не отвел Богу душу. Мы с Ульманом решили отправить его за границу и вот выдумали командировку в Швейцарию, и возможно, что его как политически нейтрального и пропустят. Хорошо бы, если бы ему удалось вас повидать, вы бы лишний раз убедились, что я тут совсем благополучен и за меня беспокоиться нет основания.

Что-то союзнички не отвечают на наши ноты, хотя последние составлены если не в примирительных, то в успокаивающих тонах. А то одно время меня совсем уже было начали снаряжать на Принцезы Острова для мирных переговоров. Пока что это, видимо, откладывается, но если до мирных переговоров дойдет, то мне, по всей вероятности, не избежать в них участия. Мы не теряем надежды переговаривать с французами и компанией не на Принцевых Островах, а, например, в Париже, и тогда по пути мне, вероятно, удалось бы заехать в Стокгольм.

Впрочем, это все пока мечты, действительность же заклю-

* Классон Р.Э. (1868-1926), крупный электротехник, строитель ряда электростанций в России.

чается в том, что мы воюем и на Северном, и на Южном, и на Западном, и на Восточном фронтах. После Великой французской Революции не было еще такой революционной на всех фронтах войны. С топливом и транспортом очень плохо, пассажирское движение на днях, вероятно, будет остановлено и, пожалуй, надолго. Войска приходится снабжать, подвозить артиллерию и припасы и перебрасывать воинские части из Самары на Ригу или из Вятки под Киев или Полтаву. И все это после четырех лет большой войны и двух лет большевистской революции. Это письмо я пишу в Питере, в „Астории“. Приехал сюда на три дня и по обыкновению занят выше головы.

Сегодня, между прочим, была у меня баронесса Ропп, хлопотала за каких-то сидящих людей, которых мне приходится выручать, - просила вам кланяться. Ее, конечно, уже давно выселили из великолепной квартиры и, вероятно, изрядно при этом пограбили, но так она бодрa и выглядит неплохо. У Анны Казанской умер муж, и вот не знаю, удастся ли выхлопотать какую пенсию. Надежды мало. Саму Анну я еще не видел, и не представляю, как она с ребятами перебивается.

Не дай бог сейчас попасть в такое положение.

(...) Питер совершенно пуст, магазины все закрыты, вид довольно унылый, как, впрочем, и в других городах Европы. Война всюду наложила свою печать (...). Люди по улицам ходят изрядно обшарпанные, как дома, с которых обваливается штукатурка, и часто, встречая знакомое лицо, останавливаешься, поражаясь переменам. (...) Трудную школу всем приходится проходить. Молодежи-то еще ничего, у них есть шансы выбраться до более приветливых дней, ну а вот пожилые и старики внушают жалость.

А перспективы и возможности в этой стране громадные, и если бы оставить нас в покое, через какой-нибудь десяток лет не узнать бы России. Пора спать. Кончаю пока. Ну прощай, мой ласковый Любченышек, целую тебя крепко, мой родной. Не унывай и не тоскуй там, голубышек мой. Родных девочек целую крепко.

Твой, любящий тебя Красин

(Приписка карандашом на том же письме)

Милые мои, родные девочки!

Прошу вас очень, пишите мне чаще и попросите маму через каких-нибудь шведов мне письма пересылать. Как выживаете? Не забыли ли язык? Усердно ли занимаетесь музыкой? Я жду, что к нашему свиданию вы будете уже хорошо играть. Не хворайте, берегите маманю. (...) Не скучайте очень по папе и знайте, что как только можно будет вас взять в Россию, я это сделаю, но пока нельзя - значит нельзя, ничего тут не поделаться. Ну, целую вас крепко-крепко (...)

14 марта 1919 г.

(...) Как ни храбрятся мои родные девочки, но жить здесь было бы невыносимо трудно сейчас, а главное, я сам чувствовал бы себя намного хуже. (...) Размах и формы бедствия сейчас трудно себе представить. Но и в Европе неизвестно еще, что будет. Германия еще только вступает в революцию, сейчас находится в фазе, соответствующей нашему июлю 1917 года, а уже борьба идет много более кровавая, жестокая, и расстройство всего экономического аппарата доходит уже до прекращения транспорта, сидения целых городов впотьмах и т. п. Все основания думать, что и другие страны, принимавшие участие в войне, не избегнут глубочайших потрясений, не исключая победителей (...) Кто бы мог думать, что баварцы, пивные баварцы учредят у себя в Мюнхене советское правительство и додумаются до столь большевистских методов, как взятие 30 заложников из буржуазии. (...) Поистине гениальную прозорливость проявил Ленин, увидавший события за 2-3 года раньше, чем кто-либо. Его уверенность в неизбежности подобного же развития для остальной Европы - также лишний аргумент в пользу высказанного.

Вот видишь, мой дружок, какие дела и как мало надежды в близком будущем не только на спокойную тут жизнь, но и на возможность вообще самого элементарного суще-

ствования. Подумай, если зима 919/920 года должна быть прожита в нетопленных домах, без света, на голодном пайке или без всякого пайка, то можно ли обрекать ребят и тебя на такое существование? Сам я все-таки в привилегированных условиях, наконец, я один и уж в самом крайнем случае, если дело дойдет до полного развала и просто уничтожения городов, а на некоторое время, может, даже вообще всякой государственности, то я смогу как-нибудь спастись, всем же нам вместе это будет невозможно. Последнее имеет полную силу и для такого случая, если бы пришлось считаться с неблагоприятным оборотом и исходом войны. Хотя вся моя работа на виду у всех, и я не думаю, чтобы кто бы то ни было лично мне мог сделать какой-нибудь упрек, напротив, сотни и тысячи людей даже из противоположного лагеря помянут меня добром при всяких обстоятельствах, но если дело дойдет до перемены режима, несколько недель и даже несколько месяцев могут оказаться очень неопределенными, и никакие гарантии (вроде, например, того, о чем тебе будет говорить податель этого письма) не будут действительными. Во всяком случае, я не настолько наивен, чтобы на них полагаться, и знаю, что в таких обстоятельствах надо надеяться прежде всего и даже исключительно на самого себя, а тут опять быть одному - значит иметь все шансы на удачу (...) Конечно, ни вам, ни мне от этого не легче, но что же делать, мой родимый, когда человечество попало в такое бедствие? (...) Пока вы отсиживаетесь в Скандинавии - у нас наибольшие шансы выйти благоприятно из этой передраги, вырастить девочек и, может быть, сравнительно спокойно доживать дни. Действуя же без разума, только по непосредственному влечению, не рассчитывая и (не) учитывая pro и contra, мы рискуем просто гибелью, в физическом смысле. Вон у Анны Кукушевой муж умер просто от физического истощения, от недоедания, а сколько детей гибнет и погибнет еще от болезней!! (...)

18 мая 1919 г. Москва

(...) Приезд сюда я считал бы еще кое-как правдоподобным, если бы немедленно прекратилась внутренняя наша война, и вместо взаимоистребления можно было бы заняться подвозом нефти из Баку и восстановлением копей Донецкого бассейна. Но на это надежды нет, война затягивается, может, придется потерять даже и Питер, что нас еще не очень смутило бы, но условия жизни будущую зиму не поддаются даже отдаленному представлению. В прошлом году мы еще дожигали остатки минерального топлива, а потому дров и отопления было относительно много, теперь же минерального топлива не осталось абсолютно, заготовка дров из-за продовольственных и транспортных затруднений ничтожна, и города таким образом осуждены на замерзание в самом ужасном и непереносном смысле слова. (...) Но посудите сами, мои родные, могу ли я при таких перспективах звать вас сюда? Это было бы с моей стороны безумием. Вы скажете, ну как же ты сам будешь жить? Во-первых, мне как комиссару многое легче доступно, по нашим во многом идиотским порядкам семьи даже ответственных работников не пользуются почти никакими льготами, а затем я все же и выносливее, и сильнее всех вас. Наконец, кто знает, какой оборот примут далее события? Правда, лично моя деятельность такова, что я даже от людей иного политического лагеря постоянно получаю всякие заверения, но возможно ли всех их считать за чистую монету? Потом первое время в общей свалке разбираться не будут, наконец, самое поражение советской власти, если до этого дело дойдет (а мы думаем, что прежде, чем это случится, Антанта пойдет по стопам Венгрии), будет процессом отнюдь не молниеносным, а длительным, следовательно, может быть, придется менять резиденцию, переезжать из города в город и т. п. Одному все это полбеды или даже никакой беды. Если же представить себе что-либо подобное при наличности целой семьи, то мне, конечно, не оставалось бы другой возможности, как оставаться с вами

и смотреть, что из этого выйдет, т. е. искушать судьбу самым неприличным и недозволительным для неглупого все-таки человека образом. Будучи один, я в определенный момент, вероятно, уже не в московский, а в харьковский, киевский или какой-нибудь еще иной период истории нахожу, что далее для моих административных талантов применения уже не имеется - и со спокойным сердцем, малым багажом, ничем ровно не стесняемый, кроме размышлений о правильном выборе маршрута, смогу посвятить все свои силы скорейшему воссоединению (...) (с семьей). Согласитесь, этот вариант гораздо занимательней и веселей. Ничего неправдоподобного и неосуществимого в таких предположениях нет: вспомните, например, Бражникова*, а мне ведь едва ли надо будет так далеко забираться. Может быть, конечно, в течение некоторого времени не будете иметь от меня известий, но это не должно смущать, вы можете быть за меня спокойны, уж я приму все меры, чтобы обеспечить себе спокойное существование и хороший путь. Повторяю, я считаю, что события могут развиваться иначе и что мы-таки выдержим до наступления таких условий, когда воевать с нами будет уже некому, но дело может затянуться и, что в данном случае главное, зима будет здесь во всяком случае невыносимой. Одно время можно было ждать прекращения войны ранней весной, тогда можно бы было вывезти из Баку нефть (...). (...) на скорое окончание этой борьбы рассчитывать, увы, нельзя. Это, повторяю, решает вопрос о возможности вашего возвращения в следующую зиму в отрицательном смысле. Сейчас началось как раз наступление на Петроград. Ведется оно малыми силами, и довольно трудно судить, что именно преследует при этом неприятель. Само по себе даже занятие Питера еще ничего особенного не означает, так как уже

* Речь идет о подготовке путей для побега из России в случае, если большевистское правительство падет.

много месяцев Петроград ничего не дает стране, а кормить там надо свыше миллиона душ. Политически потеря, конечно, очень тяжела, но военного значения она иметь не может. Весь провиант, доставляемый туда, останется на усиление других мест. С другой стороны, для удержания города, населенного сотнями тысяч рабочих, более года отстаивавших советскую власть, потребуется немалый гарнизон. Еще вопрос - во что этот гарнизон превратится в красном, хотя и оккупированном Питере? Ведь вся эта война такова, что побеждает не тот, кто одерживает победы. (...)

17 августа 1919 г. Москва

(...) У нас положение тяжелее, чем где-либо уже по одному тому, что мы не можем кончить войну, войну с фронтом свыше 1000 верст. (...) Страна и без того истощена и измучена, война же пожирает все: продовольствие, топливо, ткани, металлы, наконец, рабочую силу. Надо еще удивляться, как при таких условиях мы держимся, и совсем неудивительно, что жизнь во многом напоминает осажденную крепость, ибо так оно и есть на самом деле, ибо мы осаждены со всех сторон. Тем не менее войну мы ведем, и есть все основания надеяться, что мы ее выиграем, как ни велико неравенство сил. Громадное пространство и земледельческий характер страны приходят тут нам на помощь. Как бы ни повернулись обстоятельства, пока я один, я всегда смогу найти выход, если же вы были бы здесь, то в случае неблагоприятных событий мы были бы связаны. Жить здесь при теперешней голодовке сколько-нибудь сносно - надо не меньше 30.000 в месяц, да и тут нельзя поручиться, что в доме не лопнут трубы и весь дом не замерзнет, как и было в минувшую зиму со многими. Пока я один, я могу в случае надобности последовать примеру Бражникова, будучи в то же время спокоен за вас. (...) Меня несколько беспокоит, правда, неопределенное заявление Классона о денежных затруднениях. Мне казалось, что оставленного Вацлавом Вацлавовичем (Воров-

ским) должно было хватить не менее как на 80 месяцев. Не понимаю, в чем тут дело. (...)

Ну, пока, иду спать. Целую вас всех поочередно и всех вместе, милые мои, золотые, бриллиантовые, ненаглядные мои. Вся радость моя в вас, мои любимые! Храни вас бог, будьте там веселы, благополучны, здоровы, тогда и я здесь буду хорошо себя чувствовать. На сон грядущий читаю „Правду“, но обычно уже на 1 -й странице засыпаю. Сплю пока что хорошо: стало холоднее и мухи исчезли.

Пока прощайте.

7.XII.1919. (Юрьев).

Милая моя, родная Люба!

(...) Люди живут все трудно из-за страшной дороговизны и недостатка питания и, что всего ужаснее, дров. Ходим мы сейчас во многих фуфайках и, у кого есть, в бурковых сапогах или валенках. Я одеваюсь настолько исправно, что у меня ни разу не было даже насморка и только вот здесь, в Юрьеве, благодаря гнилой погоде, я его, кажется, заполучу, хотя и борюсь отчаянно полосканиями. У меня в комиссариате тепло, а на случай крайний имею соглашение с Классоном о переезде к нему, где уж абсолютное тепло. Все вообще опростились донельзя, и внешний вид теперешней Москвы и Питера, конечно, убил бы тебя своим убожеством. И наряду с этим - такое, например, явление, что театры полны, работают всю, есть концерты, а ночью по неосвещенным улицам Москвы сплошь и рядом видишь одиноких женщин и барышень: идут как ни в чем не бывало, никого не опасаясь и без малейших инцидентов, не говоря уже о грабежах или нападениях.

Кратко я мог бы характеризовать наше положение: мы, несомненно, перешли в высшую стадию общественного развития, но находимся (из-за войны и собственной безрукости) еще на низшей ее ступени. Кое-какие ростки и признаки лучшего будущего появляются. Даже с транспортом железной дороги удалось с марта добиться больших положительных

результатов, в отношении общей дисциплины и дисциплины труда теперь и в 1918-1917 годах - это небо и земля, но, конечно, все усилия парализуются войной, этим Молохом всепожирающим.

Как мне ни тоскливо и горько жить без вас эти месяцы и годы, я все-таки, считаю, поступил правильно, оставляя вас пока там. Не только непосредственно тяжела жизнь, это бы еще туда-сюда, но нет полной уверенности в завтрашнем дне, и вот это главное. Один я так или иначе смогу быстро и решительно принять все меры, до бражниковских включительно, ну а что делать, оставаясь „всей семьей”. Не могу же я вас тогда бросить, а оставаясь, можно попасть Бог весть в какую передрагу, особенно первое время*. Вот почему, родной мой, я пока еще не решаюсь вас сюда звать и, думаю, ты и дети вполне со мной согласитесь и поймете, что иного пути нам пока нет. В то же время я прошу тебя очень сохранять при всяких известиях, которых у вас, вероятно, изобретают немало всяческих, сохранять спокойствие и верить, что я уж так или иначе приму свои меры, считаясь с обстоятельствами данного положения, времени и места. (...)

Ну, квартира наша пока что цела и невредима. Вещей, за исключением теплых, нательного платья и т. п., я не трогаю: все равно негде их хранить, настоящей оседлости ведь никто не имеет, разве еще Классон, у которого я летом хранил, например, свою доху. Кстати, у него за границей нашли отравление поваренной солью и, посадив на диету, почти совершенно его вылечили. (...)

4 марта 1923

Милая моя маманя!

(...) В общем, атмосфера здесь лично для меня скорее улучшилась, несмотря даже на отсутствие Ильича, который хотя и поправляется, но довольно медленно. Очевидно у

* После падения большевиков.

большинства внутреннее сознание, что их октябрьская позиция была ошибкой, даже просто глупостью, это сказывается во множестве мелких фактов. Отсюда еще, разумеется, очень далеко до быстрого выпрямления и правильного курса. С монополией внешней торговли мы одержали решительную победу и разбили всех ее врагов наголову. Тут на нашу позицию встали полностью Ленин и Троцкий, и всей остальной публике оставалось только принять решение, диаметрально противоположное тому, какое было принято осенью. Разумеется, и тут, при наличии многих интересов, как внутри России, так и в особенности вне ее, которым монополия стоит поперек горла, нечего обольщаться успехом, а надо завтра же готовиться к новому напору и новой борьбе.

Ставился вопрос и о Лондоне. С моим отъездом и болезнью Берзина* положение создалось там очень трудное. Возникла такая план, чтобы в Англии полпредом назначить Воровского, освободив меня совсем от этой должности. Решили пока оставить по-старому, Воровский частью не очень пригоден, частью нужен еще в Италии. (...) Что касается меня, то, не будь необходимости для детей быть в Англии, я с удовольствием воспользовался бы удобным предложением уйти из Лондона, где меня (...) не пожелали принять; как раз самое время было бы посадить им туда Воровского или даже еще менее значительную фигуру. Здесь в смысле работы, несомненно, интереснее, чем в Европе, и только в случае возобновления связи с Америкой мне имело бы смысл поехать туда на полгода. Жить сейчас в Москве уже и вам было бы возможно, если бы не чертовски трудные здесь вопросы с квартирой, вечно растущими расходами в связи с падением курса рубля и большими неудобствами и неприятностями по урегулирова-

* Берзин Я.А. (1881-1938), в партии с 1902 года. В 1919-м - нарком просвещения в советском правительстве в Латвии. В 1919-1920 - секретарь ИККИ. В 1921-м - полпред в Финляндии, в 1925-1927-м - в Австрии. Расстрелян. Реабилитирован посмертно в период перестройки.

нию всех таких житейских дел. Тут либо надо быть в какой-то вечной противной охоте за всякими случаями и способами, чтобы если и не улучшить, то хоть удержать на прежнем уровне автоматически ухудшающееся из-за растущей дороговизны положение, либо стоически вести спартанский образ жизни, вроде Фрумкина*, который чуть-чуть не уморил жену, предоставив ей рожать в какой-то демократической лечебнице, не умея и не желая пойти в какую-то инстанцию, попросить несколько бумажных миллиардов, без чего ни хорошего доктора, ни теплой и чистой постели не получишь. Я, конечно, буду изучать все возможности, и в общем и целом вопрос о переезде сюда вашем надо обдумать, но пока что я все-таки доволен, что могу вас там оставить на прежних основаниях. Там видно будет. Слишком торопиться пересаживать девочек сюда, пожалуй, не стоит. (...)

6 июня (1923)

Милая моя маманечка, ну вот, я опять в Москве. Доехали мы вшестером великолепно, скорее, чем прежде, почти на сутки, ибо переменили расписание и в Риге не надо терять целый день, как было раньше. Попал на сессию ЦИК'а, приняли новую конституцию **Союза** Советских Республик. Выбрали союзный Совнарком, и я теперь уже не российский нарком, а союзный, в отдельных же республиках будут иметь не наркомов, а заместителей.

Сегодня получено известие, что англичане принимают Раковского** и, таким образом, его назначение становится

*Фрумкин М.И. (Германов, 1878-1939). В партии с 1898 года. Февральскую революцию встретил в ссылке в Красноярске. После октябрьского переворота - член краевого экономического совета Западной Сибири.

** Раковский Х.Г. (1873-1941), один из руководителей балканских революционеров до и во время первой мировой войны. В 1918 году - дипломатический представитель РСФСР на Украине (вместе с Мануильским). Позже - глава второго советского правительства на Украине. На московском (бухаринском) процессе 1938 года выставлен обвиняемым, приговорен к двадцати годам. Умер в заключении.

окончательным фактом. Вопрос о торгпреде еще не решен, но многие из приятелей, как Крестинский*, Стомоняков** и др., указывают, что мне как союзному наркому, не будучи полпредом, не приличествует оставаться торгпредом, находящимся иерархически в общих вопросах в подчинении у полпреда, а лучше осуществлять контроль и руководство над лондонскими торговыми организациями в качестве наркомвнешторга. Я пока лишь хожу, скучаю, присматриваюсь, не предпринимая пока никаких действий до выяснения положения. Многих еще не успел повидать, и есть немало мелких спешных текущих дел. После дороги не сразу попадешь в рабочее настроение. Отъелся я и выспался за дорогу отлично, загорел, и морда у меня выглядит „поперек себя“. Настроение хорошее, на все вещи смотрю с точки зрения наплевать и так и дальше предполагаю. (...)

28 июня (1923 г.), Берлин

Милый мой родной Любанаша!

Вот я второе утро в Берлине. Доехали мы великолепно, остановился я в посольстве (...). Крестинский сегодня улетает в Москву, мы же поедем поездом.

Новостей здесь особенно нет. Из Москвы сообщают о некотором улучшении у Ленина, но, видимо, небольшом и малообнадеживающем. Погода тут, как в Лондоне, - пасмурно, холодно, уныло. Еще более уныло внутреннее положение Германии.

* Крестинский Н.Н. (1883-1938), большевик с 1903 года. Участник революции 1905-1907 годов. На Шестом съезде РСДРП(б) избран членом ЦК. В момент октябрьского переворота - председатель Екатеринбургского ВРК. Погиб в период чисток.

** Стомоняков Б.С. (1882-1941), в партии с 1902 года. С 1921-го - уполномоченный НКВТ в Германии. В 1921-1925-м - Торговый представитель РСФСР (СССР) в Германии, одновременно в 1924-1925-м - заместитель наркома внешней торговли СССР Красина.

Ну вот, мой миланчик, уже пришли по мою душу, и я должен кончить письмо. Крепко тебя, мой родной, целую и обнимаю. Будь здоров, не волнуйся, не грусти, не слушай никаких сплетен и наветов и знай и помни, что я тебя люблю, и никогда не разлюблю, и никогда не брошу. Целую родных моих девочек и кланяюсь всем.

Твой Красин.

3 июля (1923 г.)

Милый мой родной Любанаша, сегодня 3 июля, мы наконец-то уезжаем из Берлина, целым караваном*. Дел всяких и переговоров было тут предостаточно, но еще больше предстоит в Москве, почему отчасти и беру с собой Стомонякова. Стоит уехать на полтора-два месяца, и тем уже начинать развал чуть не по всей линии и многое надо будет наново отстраивать. Около внешней торговли теперь крутится столько всякого народа. Под благовидными и неблаговидными предложениями стремятся обойти монополию внешней торговли, а Фрумкин, при всей своей даже избыточной бюрократической твердокаменности, в этом отношении часто попадает впросак. О Москве тут пока только ранние неопределенные слухи. Назначение Раковского, по рассказам, вызвано, главным образом, желанием избавиться от него на Украине. Вопрос теперь только, дадут ли ему англичане agreement: об этом, когда узнаешь, напиши (через курьера). Я уж рад, что уезжаю, а то обеды, завтраки и интервью меня и тут замучили: немцы хотят показать, что и у них люди еще в ресторанах едят. Жизнь здесь у обывателей неважная. Иногда в один день цены вдруг вырастают на сто процентов. Жалование на днях тоже сразу увеличили вдвое, но рынок на это немедленно ответил более чем двойным повышением цен, и рабочие и служащие остались ни при чем. Ну пока, до свидания. Пиши мне почаще. Целую всех крепко.

Папаня.

* Речь идет о Хлебной конференции.

19 августа 1923 г.

Милая моя Мамоля!

Очень мне больно было читать из писем (...), что здоровье твое плохое. Горюю об этом и за тебя, и за ребят, и еще больше за себя, потому что чувствую и твой, и их укор мне, да и действительно выходит, ничего, кроме обид и огорчений, я тебе за всю жизнь с тобой не принес. Худого тебе судьба послала мужа, и верь мне, мне очень горько и тяжело, что я не мог и не могу сделаться таким, какого тебе надо. (...)

(После 12 сентября 1923 г.)

Родные мои!

Пишу две строчки, ибо почта уходит сегодня, а у меня буквально ни минуты свободного времени. Вступили в полосу боев, и первое сражение в субботу 12/9 прошло с очень хорошим для нас результатом. Я был в ударе и в часовой речи изрядно потрепал своих противников. На днях имел разговор со Стал. (Сталиным?), и, к удивлению, он занял очень примирительную позицию*. Конечно, еще рано говорить о результатах, но все же имею большую уверенность в конечной победе.

Здоров вполне, и настроение у меня великолепное. (...)

Ваш папаня.

17 октября 1923 г.

(...) Любаша, (ты) пишешь насчет больших неприятностей и т. п. Кто это тебе все набрехал? Напротив, несмотря на жестокие атаки нэпа на монополию внешней торговли, настроение в отношении меня сугубо благожелательное и благоприятное, а так как к этому присоединились еще весьма удачные тактические выступления, то в общем и целом, несмотря на объективные трудности (омужичение, в том числе и мозгов), мы отстаивали свои позиции вполне и имеем передышку в об-

* Речь идет о монополии внешней торговли, за которую выступали Красин, Ленин и Троцкий и против которой выступал в какой-то момент Сталин.

щем, вероятно, не менее, чем на год. Всякие беспокойства в связи с рассказами разных кумушек надо оставить. Я со времен Вл. Ильича не чувствовал себя в такой степени господином положения в своей сфере работы, как сегодня. Если твое осведомление идет от Нетте,* то это доказывает лишь, что он такой же ловкач по части осведомления о внутреннем положении, как и мастер по части перевозки икры. Этакая балда! Ну да и Чернышев тоже хорош! Г...ные коммунисты. Вот за такое головотяпство действительно стоит чистить из п(арт)ии.

Завтра я еду в Харьков на сессию ВУЦИКа и для прочтения докладов. Это последнее настоятельно необходимо (...)

(Без даты)

Ну, родные мои, как же вы-то там живете? Сегодня из Берлина есть телеграмма, будто немцы согласны на восстановление дипломатических отношений. Я еще не хочу верить такому счастью, потому что это дало бы нам возможность опять более или менее регулярно получать письма и если железнодорожное движение не будет нарушено, то, может быть, в декабре мне удалось бы съездить к вам на побывку. К этому сейчас сводятся все мои мечтания, и наибольшее мое счастье заключается в том, чтобы быть с вами, родные вы мои морды! Напишите мне ваш точный адрес, а то я и письмо не знаю, куда вам адресовать. (...)

А Жоржик-то наш остался в революционном Гамбурге**, и немецкое правительство не могло его выставить. Еще чего доброго окажется там губернатором или президентом. - Ну, пора кончать! Пишите мне, мои милые. Здоровы ли вы, все ли у вас есть, не будет ли вам холодно в этой прекрасной вилле.

* Нетте Т.И. (1896-1926), советский дипкурьер. Убит в Латвии при падении на дипломатическую почту.

** Возможно, имеется в виду Г.И.Сафаров (1891 - 1942), в партии с 1908 года. Умер в заключении.

Думаю, что американцы скоро должны будут подвезти вам хлеба, и жизнь, может быть, немного полегчает. (...) Пишите мне, ведь оттуда через шведов всегда есть оказия: они ездят в Россию постоянно и на пароходах, и через Финляндию. Еще раз вас обнимаю. Храни вас господь.

(Без даты)

Милый мой Любанчик!

Составь исподволь список всякой посуды и утвари, которая вам понадобится для зимнего житья в Стокгольме. Хотя все цены здесь страшно возросли, все же в Берлине это будет дешевле купить, чем в Швеции. Я полагаю, что мне в конце лета придется, вероятно, быть в Берлине, и я все мог бы закупить и даже, может быть, привезти, так как я надеюсь вырваться на несколько дней к вам (...)

Иоффе очень настаивает на моих периодических приездах, ибо я ему тут сильно помог. И, возможно, если я возьмусь за организацию внешней торговли, то я возьму себе и всю консульскую часть и, следовательно, время от времени должен буду и сюда, и в Скандинавию предпринимать инспекторские поездки.

Мои костюмы ты, мамоничка, уж захвати с собой: мои в Москве годны лишь для повседневной службы, в Лондоне же есть два совсем новых (черный с полосатыми бр. и коричневый полосатый), - они мне будут вполне кстати для более официальных выступлений. Здесь за шитье костюма приходится платить 100 марок, т. е. вдвое дороже Италии. Вообще здесь все цены в 1½ - 2 раза выше итальянских. Мой костюм из купленной в Венеции материи сегодня будет готов, еще не знаю, как это удастся.

Я чувствую себя хорошо и бодро, совершенно не утомляюсь, постараюсь в Москве по субботам и воскресеньям отдыхать и, может быть, даже буду ездить верхом. Берегите и вы накопленное за Лидо* здоровье, в особенности Вы, ма-

* Венеция-Лидо. Курорт, городской пляж Венеции.

моничка. Я очень по вас всех соскучился, постоянно о вас думаю и всех вас крепко целую и люблю. (...)

(Конец 1923?)

Мамане, private and confidential.

На случай, если бы в официальном моем положении произошла перемена (в Лондоне), я постарался бы, конечно, минимум до лета оставить вас там, а после либо перейти на более приватное положение и жить в Англии же, или переселиться куда-либо, где дети смогли бы учиться, например, в Швейцарию или во Францию, и где жизнь не столь дорога.

Ну, пока, до свидания, пиши мне, милый Любанчик. Крепко тебя обнимаю и целую, родной мой.

(Ноябрь 1925)

(...) Я очень беспокоюсь, как тебе и девочкам удастся урегулировать вопрос с квартирой, и не уверен, что у вас с деньгами все благополучно. Ты же, по обыкновению, на этот счет ничего не пишешь. Раковский на днях телеграфировал, что в Лондоне все готово к вашему приезду. Я не очень-то сочувствую вашему приезду туда до меня. Положение может создаться ложное, особенно ввиду неопределенности моего отъезда отсюда. Боюсь, с другой стороны, что и жизнь в Ambassade доставит вам всем теперь мало удовольствия. Как из этого положения выйти - не знаю. (...) Или всей семьей поехать на юг? Может быть, это было бы самое лучшее, и при современном курсе франка на Ривере, несомненно, можно лучше и дешевле прожить, нежели в Лондоне. Особенно долго стеснять Раковских тоже неудобно - тут и делай, что хочешь. Очень мне перед вами всеми, и перед девочками, и особенно перед мамоней совестно, что из-за меня вам приходится подвергаться всем этим неудобствам и неприятностям. Что будешь делать, когда здесь что ни день, то новые и новые обстоятельства, неожиданности и перемены.

Москва в 1920-1921 году, когда была на наркомпродовском пайке, требовала в день 18 вагонов хлеба. Сегодня

еженедельный привоз - 80 вагонов. Вот это четырехкратное увеличение потребления хлеба тоже что-нибудь да значит. Москва внешне сильно упорядочилась. В некоторые часы уличное движение настолько интенсивно, что почти нельзя в автомобиле по улицам проехать.

13 ноября. Пасмурные дни. Я немного оскандалился: съел в Кремле кусочек языка, не очень, видимо, свежего, и у меня случилась обычная моя гастрономическая история, в довольно слабой форме, что касается самого припадка, то несколько более упорная в смысле расстройства желудка, которое у меня обычно в два-три дня проходит автоматически, а тут уже пять дней не прекращается, несмотря (а может быть, благодаря) на лечение. Так как я в момент заболевания находился на обследовании в Кремлевской комиссии, то мне предложили лечь на обследование в Кремлевскую больницу (это на Воздвиженке, близ угла Моховой), где я сейчас и пишу это письмо. Лежу я здесь (вернее, сижу) уже третий день, ни черта не делаю, начинаю хорошо питаться, в меру восстановления желудка, подвергаюсь всяким анализам и обследованиям, уклоняясь упорно от более трудных, как, например, рентгеновский просмотр желудка или анализ желудочного сока. Лечиться здесь я ведь все равно не буду (особенно после того, когда на Фрунзе наши эскулапы так блестяще демонстрировали свое головоунытие), а за границей врачи здешним анализам все равно не поверят. Ничего у меня найти не могут: сердце увеличено всего на два см, что при моем возрасте давно ниже нормы, аорта мало расширена, склероз небольшой, печень никаких болезненных явлений не показывает, селезенка увеличена, но не болезненна, моча нормальная, etc. Единственное - это малокровие и недостаток гемоглобина и красных шариков. Это, очевидно, результат того, что я почти не бываю на воздухе и солнце, и вывод отсюда, конечно, - необходимость перемены режима, поближе к природе.

Похитрее вопрос, как это сделать. Во всяком случае, ника-

кой болезни клиническое обследование у меня не находит. В дальнейшем предстоит мудреная задача комбинировать врачебные предписания насчет отдыха с необходимостью скорейшей поездки в Лондон и с участием в построении нового объединенного Наркомторга. (...)

В Париж я думаю на два-три дня заехать, по-моему, не следует уезжать, не попрощавшись. Может быть, еще придется когда-нибудь иметь дела с французами.

Ну, пока до свидания, мои милые и дорогие. Спасибо за ваши письма: я был очень им рад, особенно - хорошему доброму тону. Уж потерпите, мои любимые, теперь недолго, я думаю, осталось ждать, и скоро мы заживем опять все вместе. Обучайте меня английскому языку и верховой езде.

Целую, обнимаю всех крепко.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души:

Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

Книга (320 страниц.) выходит в ближайшее время. Цена по предварительным заказам 15 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

**"Time and We"
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA**

Автор публикуемых ниже писем Ирина Михайлова не профессиональный литератор и даже не имеет высшего образования. Она родилась в городе Коломне Московской области в 1955 году. Окончила школу. Позже работала лаборанткой, была связана с диссидентскими кругами. Возможно, из-за этого не была принята ни в один из московских вузов.

В начале 80-х годов тяжело заболевает, и под знаком борьбы с болезнью проходит, в сущности, вся ее дальнейшая жизнь. Больница, дом и снова больница... В течение многих лет она мечтает вырваться из СССР. Лишь в 1988 году ей удается выехать по гостевому приглашению в Париж вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Она принимает твердое решение в Союз не возвращаться. К этому времени ее состояние было безнадежным. Прожив во Франции около года, она умерла и была похоронена недалеко от Парижа.

Уже после этого близкими и друзьями было собрано около ста ее стихотворений и около двухсот писем, представляющих собой яркий человеческий документ и помогающих лучше понять образ и характер их автора. В письмах Ирины Михайловой привлекают прежде всего мысли, ее необычный внутренний мир и необычное видение жизни. Она одинаково ярко пишет о своих страданиях и страданиях окружающих людей, о психологии подавленного бытом советского человека, о нравах московской толпы, о российской глубинке и варварском отношении к природе, о русских „патриотах” и разгуле ненависти, о литературе, о Швейцере и Бомарше, о Набокове, Бродском и Саше Соколове. Читая ее письма, мы видим человека, живущего напряженной внутренней жизнью, чья духовность, страдания и мысли, мы уверены, не оставят равнодушным читателя.



МЫ ПОЗВОЛИЛИ СЧИТАТЬ СЕБЯ НИЧТОЖНЫМИ И МЫ СТАЛИ ИМИ

Письма Ирины Михайловой

7.03.82

Наташ!

Спешу тебе оштриговать наше житье-бытье под рубрикой: . . . а дело твое живет”. Жаль, что нельзя было отснять немое кино, со среды твоего ухода начиная. Немое, потому что главные герои и статисты тебе пока еще дословно памяты и ты бы легко могла воспроизвести реплики. Но, может быть, я смогу тебя порадовать кое-какими изюминками чудесных превращений.

Например, мое пребывание в твоей осиротевшей комнате и восседание на оголенном полу в позе Будды среди чемоданов, склянок, пакетиков и коробочек с неизменной сигаретой в зубах и обворожительно-кривой улыбкой в сторону мест общественного пользования, закончилось званым обедом у твоей соседки. Она пыталась засунуть в мой нервически-пустующий пищевод дефицитное содержание своего холо-

дильника и не могла поверить в отсутствие наших с тобой родственных связей (за ради чего я так стараюсь?). Для нее было откровением, что тебя можно не просто терпеть, а любить - и перед шквалом толпящейся любви она вдруг поняла всю неуместность своей злопамятной коммунальной мелочности обид и прониклась к тебе почтением сомнамбулическим. Ввиду чего я и уполномочена передать тебе ее привет.

Маркыч же, усовестившись своего облика „злодея” в моих глазах, решил обелить свою репутацию длинной и косноязычной исповедью, выманив меня пальчиком на кухню. То, что я поняла в результате переспросов и догадок, членораздельно выглядит так: „Вот ты человек (морда у меня не семитская и не жила с ним бок о бок), скажи мне, за что Наташка меня так ненавидела?” (Поздно, голубчик, выяснять.) Я же, говорит, мог на нее наклепать - все видел, все слышал, но мне участковый сказал, мол, не стоит Маркыч, они скоро уедут. (Думаю, вот тебе и ответ на твой вопрос.) И он меня долго выспрашивал: „Ты ей кто?”

Им в голову не приходит, что есть родственность другого порядка и ради нее люди способны забыть на время дом, забросить свои дела. Ну да Бог с ними, они не дрянь, а просто люди иного социального круга, где другие условности и твои, мои... жесты, действия им непонятны, и потому враждебны, как все чужое. Просто некая конкретность твоего отъезда, вынос мебели, раздача вещей (чего добру пропадать) на некоторое время сближает худосочных интеллигентов.

Ну да хватит об этом славном финале твоей коммунальной симфонии - обе стороны довольны, и мне обещано прощение твоим „промахам” и непоминание лихом, что было скреплено солью слез соседки по лестничной клетке.

14.07.83.

Витя, Наташа и Тимка!

Доброй ночи (увы, я живу в основном по ночам, отчего зачастую лишена приятных бесед с друзьями, в это время суток

предпочитающими тесный контакт с подушкой любому разговору.

Если помните, были такие садово-парковые скульптуры во славу все притупляющего спорта: маслястые девицы с веслом и с толстыми наростами неизменной серебряной краски. Не раз на плаву я лелеяла этот дивный образ, держась за весло с остервенением кошки, которую бросили в воду. Какая уж тут стать и грация, коли один Бог знает, как я боюсь реки с ее бездонной мутью после прозрачного моря, где дно такое славное, что и утонуть не страшно с моим судорожным собачьим стилем.

Для смены пространственных впечатлений мы заплывали в малые речки, рыбы плясали у самого килля, непуганые утицы скликали выводок в трех метрах от весла, которое, онемев, мы забывали опустить и въезжали в могучие заросли осоки, обленившись чтить технику безопасности. Как-то там, в тесной Европе и автостранных Штатах, с безлюдностью? Здесь мы проплывали по 25 км в день и дай Бог, если встречали одну полупустую деревню в два дня. Правда, надо сказать, что отсутствие сообщения держит нравы поселян на уровне XVI века, причем отнюдь не европейского ренессансного, а российского (после Грозного). Предметный обиход изменился, но как били жен, так и бьют при известном „рыцарском” кодексе к чужой бабе, а они тут в крепком теле, чего об их худосочных пьянчугах не скажешь. Более того, эти лихо матерящиеся особы носят синяки, как знаки боевого отличия, с генеральским достоинством, как будто наш скоротечный век не отмечен феминистическим движением. Впрочем, со времен Чаадаева исторической памяти не прибавилось, посему матриархат существует вперемешку с домостроем и все это сдобрено небрежением к тому и к другому полу и к личности вообще. Деревенские же традиции, которые ныне так медоточиво восхваляют новоявленные славянофилы из столичного муравейника, как были внешним ритуалом, так и остались, никакого самосознания, кроме легко доступного само-

утверждения через ненависть к городским, что, в сущности, есть частная форма всегдашней ненависти к чужакам. В общем, еще больше веришь Бунину, нежели Толстому и тем паче Тургеневу с их идеей народа (у Толстого) и батистовым платком (Тургенева). И никакого Белинского и Гоголя, вопреки чаяниям, эти люди с базаров не несут. Книг в домах нет, ни единой; библиотека все десять дней, пока мы пережидали холода в деревне, была закрыта за ненадобностью. Унылое зрелище брошенных деревень чередовалось с унынием в деревнях живущих. Боже мой, а какое потребительское отношение к лесу - с екатерининских времен валят сосновые боры, сплавляя лес по реке, а устье затопили, лес гниет и травит рыбу. Мы за месяц плавания не срубили ни одного зеленого дерева, а рыбаки, здесь живя и плодя потомство, валят гигантские сырые березы и бросают их на месте пиршественных стойбищ. Поистине, не знающие прошлого не думают о будущем! И даже чистый воздух и здоровое питание не спасают детей от убогой наследственности, от родительской деградации - очень много горбатых, хромых и косых. Эти беспородные люди напоминают собственные самосевные леса на месте бывших сосняков и ельников - такие же кривые и мелкие в жестокой борьбе за существование. Вот вам картинка, вернее, мелкие клейма к иконописной Руси, которую слюнями по дерматину редакторских дверей пишут современные ретро-славянофилы и водометными слезьми обливают любители благородной старины. Идеализм, особенно исторический, - опасная игрушка, чему много в реальной истории примеров. Но я уже, кажется, сбилась с описательного на дидактический тон, который и у чрезвычайно образованных людей неприятен, а мне с суконным рылом и вовсе непозволителен.

Засим отправляюсь множить сон Морфея, ибо первый пех вот-вот оттопырит нижний треугольник клюва, и я не успею пропеть свой фальцетовый зачин.

Ир (в просторечии Косиножка).

30.08.-3.09.83.

Август на исходе. Почему-то исход заметнее начала. Никогда не помню, как это (книга, отношения, сезон, день...) началось. Ретроспективно восстанавливаю, да нет, скорее создаю, чем припоминаю. Конец - всегда сгусток, удар и ...управляем, словно упущенное начало спохватывается. Не боюсь концов, потому что люблю сумерки и ночь, когда время лепится под аритмичными толчками воображения. День же проскакивает, как второпях проглоченный недожевок. Беспамятство рождения и, наверное, доскональность, докапельность смерти. Психологическая притягательность завершенности проволакивает внимание, в пробелах и пропусках живет вымысел.

Мне как-то не с кем стало разговаривать, Наташ. Я слегка утратила прежнюю оцупь в отношениях и перестала довольствоваться лоскутками и оборвышами разговоров, не найду в себе узелка, за который потянуть, может быть, это нить „основы“ удлинится, а может, устала разматывать и наматывать на ус чужую. Не понимаю, хотя иногда кажется, что просто надоела непрременная правота, выдаваемая за истину, а коль скоро стремление к собственной перестало слепить, то чужое спринтерство видишь с раздражающей отчетливостью, а спорт я не люблю ни как зритель, ни тем паче как участник.

Еле теплюсь. Был мастер по швейным машинам - 82-летний крошечный человечек в бесцветной кепчонке, в пиджачишке довоенного кроя, безумно трогательный и совершенно сумасшедший. Он нюхал, оглаживал каждый винтик, поносил своих предшественников; он стоял стоймя, отставив трость, забыв о пояснице, как на молебне, перед моей почтенной рухлядью целый день. Поневоле Платонова вспомнишь. Я смотрела на эту уходящую, ушедшую породу мастеров, на эту финальную нищету, на эти бережно хранимые инструменты, с 13 года живущие в карманах своего хозяина, на руки, которым не мешает слепота, им не нужно зрение, и ду-

мала про эту двуглавую страну, одна голова которой смотрит на восток, другая - на запад, и обе - мимо себя. Боже мой, боже! А старичонок лечил машинку, как, дай Бог, врачу лечить живого человека. Кстати, он два года проучился в медицинском, но не мог без содрогания резать трупы и нашел-таки себе бескровную живность. И тут он - Дарвин и хирург, и невропатолог, и лектор. Он ни на минуту не давал мне расслабиться, вертел перед моим носом винтики, проволочки, поясняя смысл их жизни. Временами я готова была его убить за эту неистовую страсть к механике, за сумасшедший бред из истории еврейского народа и его коммунальной жизни с вором-домушником и Эммочкой, за туалетную бумагу, которую он обозвал картоном и кричал мне из сортира, что ею и лошадиную задницу испортишь, а ему, отравленному соседями, нужна наипмягчайшая... Но он ушел, машинка, которую я похоронила год назад, работает, и я сижу на кухонном табурете и молюсь за здоровье чудаков, которые так невыносимы вблизи и о которых так весело и так до слез горько вспоминать в этой угрюмой жизни, которая так неласкова к ним.

Вот он - этот одинокий, беззубый, контуженный старик с манией преследования. Я даже и описать-то не умею яркость и абсурдность своих ощущений, а не то чтобы жалость преобразовывать во что-то действенное. Правда, природа подарила чудакам гордость, и поди их еще приласкай. Они без нас лучше обходятся, чем мы без них. Может, поздно любить начинаем, что твердая чудаческая порода раскалывается от дружеских тисков или гибнет, как дикий цветок в вазе, потому как привык к другим суровым условиям неприятия. И вообще-то любить не умеем, потому и бегут чудаки нашей любви, она их норовит „обесчудачить“, со скупостью самого скупого рыцаря сохранить в своем пользовании.

3.09.83.

Гуляли по Садовому от Рождественского монастыря через Трубную площадь к Пушкинской. Погода мягкая. Старушечья

Москва обсела лавочки и крутит черепашьими шеями во след прохожему, и шипит, и эта немощная ненависть омерзительна. Подумала, что сие - обряд освящения своей кое-как прожитой жизни. Внутреннего отсчета нет, посему от внешнего осуждения легко переходят к внутреннему одобрению и к идеализации, канонизации себя. Помойки, старухи, голуби, милиционеры - неизменные статисты в кадре, где шныряют одержимые действующие лица, имя которым - толпа. В Елисеевском магазине нервно дышат в затылки друг другу, и там-то уже не пассивная ненависть вышедших по старости из игры, а яростная, вытесняющая ненависть соперников. Социальное животное со стадными инстинктами и с индивидуальной проломностью - выжить. Утрата вкуса - потеря стиля - забвение традиций. Так, наверное, выглядели крепостносы в городах Востока; любые захватчики, насильно вписанные в чужую эпоху, в не ими созданный ансамбль форм. В Ленинграде это еще острее чувствуешь, но там так было, вероятно, всегда, ибо формы оккупировали; они там чужие людям, а не люди им, но Москва-то более-менее самозародившийся город. Поняла, что действие „Мастера и Маргариты“ могло происходить только здесь, и, может быть, это еще один сюжетный зигзаг романа - в Москве ведь много исторических измерений, здесь время очень пространственно, и уж если вселяться Бесу, то уж, конечно, в Третий Рим.

Петербург идолопоклонник и классический эстет от языка, он давно уже соблазнен мелкими прихвостнями (тщеславная воля и подражательность - годный для этого замес). Там царя непременно надобно назвать императором, а улицу - проспектом. Москве соприроднее бульвар и переулок - княжеский город, палатный, а не дворцовый, и город, очень требующий людей, а не манекенов, не призраков, не винтиков. Правда, сталинские фаллические уроды с чудовищной непропорциональностью, за которой видишь карлика, желающего быть гигантом, сильно потоптали Москву, и мышьяк - вот что им потребно иметь у подножья, мышьяк юркаю-

щую. Очень грустные прогулки, Наташка, будто поверх оробевшей культуры хамская рука нацарапала ругательства - заводы и НИИ в соборах, посольства в особняках. Еще гуляю и всякий раз прощаюсь, но не так, как прощаются с живыми, скорее, как с телом отлетевшей души. Бездомность людей, несвоедомность - и обезлюденье домов в центре. Все всему чужое. Купчиха во дворянстве - вши и нечистое белье под показным раззолоченным платьем.

8.11.83

Мы с С. удрали от бравурной музыки и пьяного апатичного восторга к моей маме и там три дня читали: я - „Историю Петра" и „Историю Пугачевского бунта" Пушкина, а С. - Шекспира в роскошном издании Брокгауза и Эфрона. Таким образом, и столичный, и провинциальный патриотизм мимо нас промчал свое чумное „Ура!". Ехала в электричке, и как-то отчетливо увидела, что вагон набит лицами, в коих озарение энтузиазма и исторического смысла способны вызвать война или погром. Им, чтобы жить, нужен строй, теснота и азарт выживания, и некая всеобщая цель за неимением собственной, но не умозрительная, а так чтобы живота касалась. И сознание страха переместилось в легкие; душно. Люди грубой придушенной чувствительности и элементарных потребностей нуждаются в грубых потрясениях. Люди коллективных страстей входят в историю батальонами, полками, армиями. Спаси нас, Господи. Неужели? Беспокойный воздух, кошмарные сны...

Мне тут было совсем худо... Вызвали скорую... Молча составляла завещание... Сейчас чувствую себя все еще довольно погано, но при воспоминании о тех двух днях кошмара радуюсь жизни и тому, что хожу, говорю, читаю... Надо идти в поликлинику делать... (обследования), но одна мысль про поликлинику способна одолеть желание выздороветь. Если бы ты знала, Натусь, как мне худо и страшно. Только Сашина выносливость и хладнокровие вселяют в меня наде-

жду на возврат к полнокровной жизни, без... (лекарств). Никогда не думала, что брошусь с надеждой к химиотерапии, но, видно, это мне наказание за травную самоуверенность и неуважение к врачам... Очень хочется жить, а не поддерживать существование организма с утра до вечера, когда в голове умещается количество таблеток, часы приема и необходимо есть, когда пища противна. Все. Кончила про хворь...

13.11.83

Зима ворвалась тайфуном, отчего общественный транспорт флегматичен более обычного, а сугробы наметами легли поперек пешеходных троп. По причине торжественного открытия новой ветки метро, номера и маршруты автобусов спутались... Естественно, никаких пояснений к транспортной неразберихе не последовало, и эксперимент - единственный рискованный способ выяснить, куда тебя везет автобус, - что вовсе не гарантия завтрашнего повтора. Для внезапной зимы весьма удачная мистификация пассажиров. А я из-за болезни не успела сшить себе зимнее пальто и с опаской выскакиваю на перепудренную улицу и мчусь в поликлинику, чтобы оттуда ковылять на одной ноге с нестерпимой болью в ягодице от укула. Но я готова примириться с зимой, транспортом и мерзостью поликлинических завсегдатаев, потому что живу, могу читать, радоваться, говорить в полный голос.

14.11.83

С утра пребываем дома. Приходила Л., что не принц датский. Я была тускла и не совсем в гостеприимной форме, Л. же, как обычно, на небольшом взводе, отчего разность наших психических тонусов отчетливее проступила. С удивлением обнаружила, что ее порог близости, тот, с которого не стыдятся откровенности, гораздо ближе моего; и, уверившись, что с нами он переступлен, Л. совсем не замечает нашей дистанции. Хотя все мои рассуждения и похожи на изъяс-

нение антагонизма, но у меня нет ни малейшей враждебности по отношению к П., ибо у нас просто разные психологические пространства, и на мозоли мы не наступим друг другу, это уж точно, и чуточку скучно. Еще, для завершения темы: эта девочка, крепенькая и цепкая, как-то уж, на мой вкус, излишне культивирует в себе женскую беспомощность, капризность и кокетливую эксцентричность, и всякие женины привилегии. Женщинам с такой повадкой принято многое прощать, потому что они чуть-чуть еще и обаятельные дети в необходимом окружении ласкательных взглядов и легкого щебета. А ты же, Натусь, знаешь, что я не больно-таки схожусь с беспримесными женщинами и бешусь, когда в спорах со мной применяют этакий занижающий прием: Ирочка, мол, женщина, не будем ее обижать... Не знаю, зачем я тебе все эти свои наблюдения излагаю, видимо, во взаимной известности победительного лица.

15.11.83

Я теперь, как „мнимый” больной, слегка отгорожена от мира хворобой и боюсь ее разбухания во времени и пространстве. Впрочем, мне много лучше, и на этом спасибо. С. меня теперь метлой загоняет в постель не позднее часу ночи, и мои милые ночные бдения так бесславно прерваны. Я покоряюсь: очень его, перепуганного, жалко, да сама натерпелась страху. Но днем сосредоточиваться пока не научилась и живу как-то невпопад и глупо, ну да образуется. Морозищи пошли нешуточные, и совсем уже нету зеленого цвета, кроме как у В. на подоконнике в горшках.

19.11.83

Натуся, спасибо за посылищу. Кофе нюхаю, как хищник, которого сделали травоядным, - очень хочется, да, боюсь, давление аукнется. Чертова жизнь. ...лежу в норе, зализываю раны. Телефонная связь похожа на пуповину роженицы или на медицинскую кишку - все то же ахающее доброжела-

тельное расспрашивание про здоровье и долгие гудки много-точия. Что и кому я могу рассказать, кроме затверженного выясняем, бегаю. Говорю и знаю, что ни мне, ни собеседнику сие не интересно, а то, что мне после тяжких приключений просто жить интересно - общее место - и произнести-то стыдно. Саше же и говорить не надо - он знает, он все пережил вместе со мной, кроме самых страшных безгласных моментов, похожих на одинокое (всегда одинокое) прощание с жизнью. Тот, кого любишь, дольше всех остается внутри тебя с тобой, но и он, через боль и страх, должен быть оставлен, отцепляешься сознанием, чтобы не уволочь с собой. Ну да ладно.

26.11.83

Наташенька, прости, что на двух листах написала такую невнятицу, просто устала от болезни, от себя, от мытарств. Целую, Ир.

Письмо от 12.12.83.

Наташик!

Очень жаль, что от тебя нет весточки. Тасую твои фотографии и понимаю, что между нами спина фотографа; и как ты ни хороша, а все же рачий панцирь со скрипом разворачивается и совсем не в сторону объектива; а, впрочем, естественность в фотографии - нечто иное, чем просто естественность, которая может оказаться не фотографичной или неуклюжей. В твоих снимках - грациозность и вкус, да и слишком твои позы, чтобы не прочесть в них нашу Наташку. Нам, к сожалению, нечего тебе послать, доброжелателя с фотоаппаратом не находим, а сами эту технику не освоили, да и выгляжу я хуже некуда. Мой организм заявляет свои права на меня и неутомим в фокусах... Уже наступило 13, я опять не сплю, ночи перестали меня радовать, одно дело не спать по собственному выбору, другое - не мочь спать. Романтическое кокетство: „покоя сердце просит”, - кажет мне свой по-

белевший язык, а мне даже не потешить себя воспоминаниями о буре и натиске, ибо задором я обделена. Сижую, складаю слова стопочкой.

14.12.83

Госпитализация откладывается из-за отсутствия мест, несмотря на то, что вся эта затея „по знакомству“; скоро мы отметим два месяца моей болезни. Подумала, что письма для меня род заговора, заклинания. А боюсь-то я смерти, оттого и ночи не в радость, и зима тяжела. На пяточке между нашей и соседней башнями поселилась собачья стая, голосит всю ночь, соперничая с водопроводными трубами, которые взрывают, ибо частенько стали отключать воду (и обещают вздорожание горячей и холодной до 65 и 45 копеек соответственно). Как видишь, Натуся, я теперь собираю всякую мелочь из звуков и новостей, ибо внимание рассыпалось на тысячу мелких осколков, и крупнокалиберные мысли не помещаются. Это очень скучное крохоборство.

15.12.83.

Ночь была беспокойная. Разбудила С., он так неловко вскочил, что теперь хромает на большое колено.

Скоро я, как у Белля в „Групповом портрете...“, перейду к цветам мочи, то-то будет радости моим адресатам. Наверное, чтобы весело переносить невзгоды, надо быть причастным истории, как Бомарше; любить жизнь во всех ее проявлениях, как Фигаро; или смеяться ей в лицо, как Лао-Цзы и т. д. У меня в запасе много подобных рецептов, но все они прописаны давно и индивидуально, своего пока не придумала. А уповать на больницу, „летуна“ и на самого Господа Бога опрометчиво. Что-то не так в моей жизни, и я даже догадываюсь что, но, по-моему, существует какая-то, предусмотренная в конструкции защита против собственной интуиции. Когда беру ее на язык, вываливаются связки, и разрозненные мысли приходится связывать логиче-

ски, что ошибочно. Но если ничего не проговаривать, то интуиция и вовсе будет работать вхолостую, а то и атрофируется, пожалуй. Мыслительная машина западного образца. А впрочем, нет навыка. Болезнь - замечательная студия одиночества, если, конечно, не сидишь на полу под дверью, просясь наружу или зазывая сиделок.

17.12.83.

В. подкинул „шедевр“ Е.Харитонов, который произвел на меня отвратительное впечатление. Если существует понятие „сперматочивый стиль“, то это - сперматочивая рефлексия, что до стиля - то он сродни заборной писанине и клозетным лозунгам. О Евгении Харитонове я давно слышала, но впервые сподобилась. Он принадлежит, по-моему, к тому течению, которое захлебывается в житейском дерьме, сочтя оное за сермяжную правду. Если официальная литература и в пейзажах идеологична, и ее абстракции лживы, то у этой братии избыток подлинных конкретностей напоминает оргию, на которой грызется сообща кровавая, обгаженная туша действительности. Чем гаже кусочек, тем пикантнее и смелее. „Заголимся и обнажимся“. Зачем же подбирать отбросы официальной литературы и какая же свобода в отпротивности? Этаким поп-лит - давайте мы будем ненавидеть евреев и поминать Сталина, чтобы вы нас, гомосексов, любили и читали. Щекотка для белых воротничков - секс, да еще гомосексуальный, антисемитизм, сталинизм и несколько мыслишек о несправии - и вся эта бурда приправлена оглядками на христианство (вот ведь апостол Павел любил Христа), а женщины (бабы) должны быть толстыми, чтобы мальчиков рожать и подкладкой для нашего мужского удовольствия быть. Как тебе все это нравится? В. мне сказывал, что ты некогда читала эти „Слезы об убитом и задушенном“. Тогда ты, наверное, поймешь меня. Кончается этот метеоризм заднепроходного интеллекта хвалою И.Глазунову, т. е. славянофильскими намеками, ведь эта писанина и состоит из наме-

ков, рассчитанных на все вкусы - булочка с изюмом - выковыривай что хошь. Если даже допустить, что Е.Х. выводит на передний план подразумеваемые реалии, чья совокупность более походит на правду, нежели энтузиазм строителей коммунизма, интернационализм и здоровая семейственность, то все равно выходит дешевая спекуляция на правдоподобиях без всякой свежей мысли. Я бы не писала об этом так много, если бы не чувствовала общности эпохальных черт во всем - театриках, которые рождаются недоносками чьих-то претензий, в Малой Грузинке и в салонах, в телезрелищах и журнальной стряпне - всюду спекуляция на сакральных, скандальных и просто популярных упоминаниях и полуграмотных реминисценциях.

Какое-то всеобщее гаденькое желание вывернуть себя наизнанку. Прыщавые и бородатые мальчики переживают половое и социальное созревание за твой счет, а литературно-театральные дамы не знают толком, кем хотят быть - то бьют мужиковато, то истерически дрючатся, то многозначительно осанятся. И все с того или иного боку отщипывают по кусочку от успехотворных тем - там дело врачей упомянут, тут тараканище помянут иль потравят, там колоколенку вставят, повздыхают о деревне и поратуют за природу, психушку не обойдут и проч. А здешний зритель заговорчески хлопает и рад-радешенек намек на лету схватить и интеллектуальный пупочек на радостях почесать и за одно это готов простить и перековерканного Достоевского, и плохую режиссерскую работу, и гнилой душок творческого позыва. Благодатная публика, ты ее помоями - а она отряхивается и шепчет - а-а-а, понимаем, понимаем... Обряд посвящения.

19.12.83.

Вчера гуляли по лесу; хрустели сугробы, немели щеки, на месте не устоишь. Сегодня я тащилась в овощной по старому и свежему асфальту - новые тротуары кладутся у нас прямо на грязь и оледенелости - умопомрачительное зрелище по-

середь зимы. В магазине топчет народ, какая-то баба норвила мне склизким кочаном в щеку двинуть, ей казалось, что, вытянув руки, она значительно приближается к кассе. Из того, что происходила эта сцена днем, явствует, что предновогоднее волнение началось. Господи, если бы эти яростные бедняги так же активно противились войне, как в очереди - лишнему человеку, то их старания - ублажить чрево - не были бы так смешны, а их активность благородно бы именовалась темпераментом.

Но они хватают, хватают, давясь и рыча. А мы позабыли, как делают историю настырные одиночки, чьих подписей нет под петициями, ибо сие - ублажение своей совести, и не более. Швейцер на свои средства построил больницу и лечил негров в Ламбарене, в 35 лет выучившись для этого медицине. Бомарше на свои деньги оснащал корабли для будущей независимости Америки. Новиков до смерти выплачивал долги за типографию и книго-торговое предприятие, за аптеку для неимущих. А мы все ждем помощи со стороны, не рискуя ничем, ни за что не отвечая и веруя в силу обстоятельств, в астральную неопределенность и в законы истории. И свою жизнь проживем по воле всемогущего случая. Мы позволили считать себя ничтожными, и мы ими стали. И мы не будем ничем кроме, пока в каждом не очухается родившийся (а не рожденный) человек.

30.12.83 - 1.01.84.

Милая моя Наташка!

Сейчас задам работенку твоим глазынькам, ибо, хоть и переселилась я в больницу на долгий срок, но без мебели, а моя антикварная печаталка весом в комод. О тебе знаю с Сашиних слов, но свое отсутствие оплакивать не перестаю. Лишена я здесь всех земных удовольствий: от одиночества до твоего голоса в ночи. Знаю, что ты меня по-княжески одарила от пяток до макушки, и, Бог даст, я к выписке научусь радоваться, как прежде, и станцюю жигу в твоих башмаках и белом свитере.

Пока же я имею койку в шестиместной палате и тайный ключ от кабинета моего главного лекаря, отселе и пишу тебе. Глотаю таблетки по 6 раз в день по схеме. Меня со всех сторон обследуют. Уже обнаружили. ...Почти через день встаю в 6 утра излить драгоценную жидкость в склянки и пробирки - сие есть символ моей нынешней жизни. С. ходит каждый день со своей больной... Хорошенькая парочка, не правда ли? Я даже Новый год не разгляжу в окошке, ибо мне приказано залегать в постель в 23.00. Как в детстве, проплю еще один год в надежде на самодельную радость.

1.01.84.

Странно, но нестрашно выводить рукой эту зловещую цифру. Но моя любовь ко всем, кого люблю, почему-то безмятежна. А времена-то у нас, Натуся, наступают суровые. Серьезные люди озабочены, а я в больнице, как зимний медведь в берлоге. Но ты, милый наш человек, будь аккуратней, дабы нам не лишиться взаимных писем и приветов, ибо ходим мы по зыбкой земле. „Патриотический дом” стал настойчивой погремушкой для испуганных человечьих чад. Отсюда до доносов и уловления шпионов не так уж и далеко. Мои сопалатницы в нынешнем лидере признают хозяина, а ты ведь знаешь, что это значит. Да и голос народа (помнишь, в „Борисе Годунове”: „народ безмолвствует”) в больнице хрипит и кашляет лозунгами, т. е. молчит.

Читаю „Атхарваведу” - древнейшее собрание индийских заговоров (~ 1 тысячелетие до нашей эры). Вот тебе заговор от бед:

„Как ветер заставляет подняться
Пыль с земли и облако в воздухе,
Так вся беда от меня
Пусть уйдет прочь, вытолкнутая заклинанием”.

I
Как Небо и Земля
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

II
Как день и ночь
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

III
Как солнце и луна
Не боятся, не повреждаются
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

IV
Как молитва и власть
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

V
Как правда и беззаконие
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

VI
Как что было и что будет
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

Правда, Наташик, в наивности этих строк заключена какая-то неуходящая мудрость? Но не старости, а детства, которое беспрепятственно сливается с тем, что видит, не обособливаясь и не лукавя. Неужели мы так постарели, что вкус пресытился простотой, и ассоциации облепили образ. Бродского не выношу, это холодный и апатичный манеризм скупого времени.

Что мне тебе рассказать из забытой тобою были? Про то, как я ждала до вечера больничную „койку”, или как пьяная буфетчица спала на баке для отбросов, или про то, как больничный треп неизменно упирается в евреев, а разговор о собственных болезнях - единственный из осмысленных.

Мои больничные наблюдения вернули мне социальное зрение. Мир реальных людей, с которыми я ежедневно делю больничный паек, ограничен тем немногим, что в данный момент в поле зрения. Весь же опыт умещается в шаблонных формулировках, будто никто из них не жил всерьез и в одиночку. Это - грустное зрелище. Внешнее бодрствование рассудка при абсолютной спячке разума.

Мужская же половина пациентов и вовсе лишена каких-либо различий, сборище убогих самцов. Несчастье совсем не облагораживает человека, о благородстве не ведающего. А болезнь становится эгоистической привилегией тела перед духом, больного перед здоровым... Наши больницы похожи на тюрьмы, человек с корнем выдергивается из нормальной жизни, и переживает госпитализацию, как поезд - от завтрака до обеда, от обеда до ужина - и, слава Богу, день прошел, будто это не от их жизни отрывают кусочки кожи. Они явились как механические метрономы дня и ночи на эту землю. Ожидание (смерти?) есть их естественное состояние, состояние неврастеников, где временем владеет безымянное беспокойство. Так легко увлечься этим стадным состоянием.

Я вяжу, читаю, курю и пишу тебе - вот и вся моя защита от больничной коммунальности. Еще бегаю по этажам, чтобы не разучиться ходить, ибо на прогулки нас не выпускают. Как только мне сообщат окончательный приговор, я напишу, поскольку, возможно, медицина наша, даже по знакомству, на уровне Конго, а, впрочем, я все равно уже вверилась ее произволу и пью лекарства. Лучше будем надеяться, что медицинская тема исчезнет за ненужностью из нашей переписки.

Идет дождь, и в больнице он почему-то отраден; наверное, жизнь природы напоминает о жизни вообще.

Очень скучаю по твоим письмам, по твоему голосу, по устным вестям о тебе...

Ну вот, Наташик, прожит первый день 84 года, в котором нам всем набегит по годичку к нашему возрасту, дай Бог, не пустою цифрой.

Обнимаю тебя и жду твоего звонка. Спасибо тебе за новогодние подарки, мне не терпится их побыстрее понюхать - они пахнут Парижем и твоей заботой.

Целую.
Ир.

P.S. Что тебе связать?

23.01.84.

Читаю „Школу для дураков“ - и „высокая болезнь“ автора налицо. Очень уместное чтение. Кажется, эту вещь похвалил Набоков, что делает ему честь, ибо в обратном чести не вижу. Совсем не набоковские, не игрушечные слова, из других авторов не надерганные, в галиматью не вырождаются. Талант ведает меру. И то и другое, безусловно, имеют быть. Дай Бог им долгие лета. Как, интересно, выглядят наша литература оттуда, вытирают ли новые имена, западают ли старые? Какова читательская выборка? Ты все-таки как-никак работаешь с книгами и с читателями, может, чего успела наблюсти. Что там с Бродским, которого не люблю за чопорную искренность? Жалуют ли Набокова - с ним тоже расплевалась после „Мелкого беса“ и Достоевского? Есть ли литературные сенсации на русском языке? А как выглядят иноязычные литературы (обозримо? яснее? доступней?..)? Что-нибудь происходит с твоим собственным вкусом? И вообще читаешь ли?

Поскольку ложусь спать рано, постольку ощущение фатальной нехватки времени, ибо утром я отвыкла быть дееспособной, да и просыпаюсь я так рано, как рекомендовано, а вечерний пыл утыкается в подушки. Но мои лекари упорно настаивают на раннем сне... Лекарствия не оскудевают в наших домах, и мы способствуем выполнению аптечных планов, тогда как Продовольственная Программа выполняется без нас - грызем локти. У нас в доме образовалось некоторое скопление картин - дарственных, и ради багетов я продала платье. Единственный надежный способ обеспечить внеплановые закупки, так называемые деньги на роскошь.

Статей расхода, как правило, больше, чем статей дохода, об этом сильно позаботилось отечество...

„Между собакой и волком” на первый взгляд слабее „Школы для дураков”, народнические игры и славянофильский душок от языка. Чуть-чуть на потребу и слишком ради хлеба насущного. А когда авторские мотивы столь очевидны, то вещь проигрывает, вернее, разыгрывается по чужим правилам. Миленькая иллюстрация к эмигрантскому упадку дарований. Падеж талантов. Всем, кто не Бродский и не Набоков, эмиграция противопоказана, я имею в виду литературную эмиграцию. Языковое чутье подменяется ностальгической чрезмерностью словоупотребления, словесной схоластикой или лубочностью... У русскоязычных свобода слова слишком часто переходит в разнузданность речи или - парадоксально - в архаический аристократизм, ибо существуют два полюса сознания: анархический и монархический, к которым попеременно тяготели русские писатели. Таков опыт. Таков спрос.

Не знаю, Наташик, зачем я тебе все это пишу, на поток сознания моя фрагментарная писанина не походит, скорее на выковыривание редких мыслишек из тестообразного ума. Занятие неприличное, почти как вычесывание вшей и публичное выбивание носа. Уж лучше, покачиваясь на горбах верблюжьих, мерно перечислять барханы, колючку, эфу; барханы, тучу, пекло; пекло колючее, эфу бархатную, барханы тучные. Но до верблюдов мы пока еще не добрались, хотя деньги на Мангышлак у нас уже частично отложены - проделать на верблюдах весь путь от Москвы до Шетпе не удастся, да и песня получится заунывная, как „Путешествие из Петербурга в Москву”. Обратное веселей - пушкинское, короткое. (Уже вкусив верблюжьей колючки!)

Всем приветы и поцелуи. Ир.

3-5.04.87.

Наташик, Алик!

Не самый удачный день выдался для письма, но, ожидая удачного, я могу промолчать еще долгие месяцы, посему прошу снисхождения к пессимистическому пафосу. Временами на меня накатывает бессилие жить в этом ублюдочном государстве, особенно когда оно нахально впирается в дом. А сегодня Саша привез от частного плотника (мы заказали для Данечки) сборный домик. Плотнику было велено сделать его по французскому журналу с детальным описанием, но когда я увидела свою розовую мечту в цвете общественной уборной, я зарыдала от безысходной ярости и пришибленности. Этот дом был похож на свой французский прообраз так же, как вся моя жизнь похожа на проживаемую внутренне. А поскольку все это произошло после двухчасовой прогулки по весенней грязи среди одинаково безликих домов и глазу даже вверху не было роздыху от унылой невзрачности, то приперло будь здоров. Невыносимое дерьмо, к которому мой ребенок вынужден привыкать и полагать естественным и даже единственно возможным. Я не могу весь мир вокруг него сделать своими руками, хотя очень стараюсь. Боже, как мы живем! Прежде чем спустить Даньку на землю, я долгими хождениями выискиваю пяточок, свободный от колбасных шкурок, разбитых бутылок, обрывков нижнего белья и черной городской коросты на талом снегу. И нахожу отнюдь не каждый день, да и что ему пяточок, когда он мчится к ближайшей луже, плюхается в нее попой и колотит ручонками по воде, не интересуясь, что там побывало до него и плавает сей момент. Можно только заранее зажмуриться, а потом выжимать черные варежки и оттирать все остальное, моля Бога, чтобы уберег от заразной харкотины. И такой выгребной ямой наша окраина будет еще не меньше месяца. Когда это на расстоянии метра шестидесяти (а лучше бы подальше), то привычно игнорируешь, но блевотина под носом и помойки, разнесенные на десятки метров вокруг себя под

нетвердыми детскими ножками, человеколюбию не способствуют. Начинаешь в прохожем видеть личного врага. Так что чистого цвета не существует в природе этого государства, и слезами не отмоешь.

И сие не сугубая привилегия города. Когда мы плавали на байдарке, то близ человеческого жилья леса выступали в таком же пренебрежительно использованном виде. Психология бывших крепостных, что ли? Ведь и собаку посади на цепь, она начнет валить рядом с будкой. А может, и это от отсутствия внутренней частной религиозности, когда Бог не соборный и не по праздникам, церковь на пригорок выставили и вроде как заслонились, а что сопли об исподнее, так это за кулисами клюквенного православия, театральной набожности.

5.04.87. Натуся! Не успеваю, как всегда, - шлю обрывок с припиской - солнце, тепло и не так мерзко на душе. Целуем Вас всех! Ира.

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРЕД УБИЙСТВОМ

Нам неизвестна фамилия автора этой записи. Тем не менее сопоставление ее с известными материалами о расправе с деятелями Еврейского антифашистского комитета позволяет сделать вывод о ее достоверности. Запись приводится в той редакции, в какой она некоторое время назад появилась в США.

Все члены Еврейского антифашистского комитета, за исключением Ильи Эренбурга, оказались за столом заседаний у секретаря ЦК ВКП(б) Сулова. Каждый из них получил приглашение явиться по вызову. Почему не было среди явившихся Эренбурга, потому ли, что он не был вызван, или не явился, хотя был приглашен, остается тайной. Это обстоятельство впоследствии вызвало много толков, как известно, сам Эренбург пытался ответить на эти толки. Вел протокол встречи один из ближайших помощников Сулова. Секретарь ЦК сделал, как он сказал, доверительное сообщение. Он сказал, что ЦК и Советское правительство озабочены судьбой еврейского народа, принесшего огромные жертвы в период войны. 6 миллионов, сказал он, это вряд ли точный минимум погибших. СССР был одним из ведущих

войну государств, может быть, даже единственным, кто и после войны проявлял заботу о судьбах еврейского народа и отстаивал право его на собственное государство и соответственно этому его представитель голосовал в ООН. Надо было ждать, что вновь созданное при активном участии СССР государство Израиль пойдет по пути, по которому после войны идут прогрессивные силы мира, на правом фланге которых стоит СССР, принеся больше всех других государств жертв в борьбе за мир во всем мире.

К сожалению, новое государство Израиль вместо того, чтобы идти по пути серьезных забот о действительных нуждах еврейского народа, после всяких влияний согласилось следовать в форватере государств, враждебных делу мира, которым нет дела до настоящих нужд и интересов народов, до путей мирного труда в новом государстве Израиль. От такого ложного выбора страдают евреи, живущие в разных странах мира. Мимо их страданий не могут пройти народы нашей страны, все прогрессивные люди. Как им помочь? Никто не может и не должен сказать: что же, разве не сам народ нового государства должен заботиться о своей судьбе? О судьбе своего государства? Почему ему должны помогать другие? Люди нашей страны приучены помогать своим братьям, страдающим народам. И мы уверены, об этом думают и евреи, живущие, строящие новый общественный строй на своей родине в Советском Союзе. Как помочь? Об этом мы много думали. Единственно разумное решение, мы уверены, это - создание настоящего еврейского государства, заботящегося о нуждах своего народа, привыкшего помогать другим народам, трудящимся всех стран, идти по пути социального и экономического прогресса, идти вместе с передовыми государствами мира. И так как государство Израиль оказалось неспособным идти по такому пути и ведет народ к неизбежной катастрофе, очевидно, единственный выход в создании государства, которое показало бы, что еврейский народ не хочет быть прихвостнем империализма, хочет и способен

строить государство социальной справедливости, а не создавать за счет интересов народа базу для капиталистических эксплуататоров. Такое государство может быть построено силами, волей талантливого, трудолюбивого народа, вместе со всеми народами нашей страны проделавшего большой и успешный путь строительства социализма. Такое государство может быть создано евреями, родившимися и живущими в СССР. В этом окажут необходимую помощь все народы нашей страны. ЦК ВКП(б) пришел к этому выводу после многочисленных бесед с представителями еврейского народа, которые с энтузиазмом приняли эту идею и выразили большую признательность ЦК за проявление такой, затрагивающей коренные интересы еврейского народа заботы. Настало время действовать. По мнению ЦК, на базе Евр. АО (Еврейской автономной области) в Биробиджане должна быть создана Еврейская Автономная Республика в границах, обеспечивающих возможность расселения всех евреев, проживающих на территории Советского Союза, и возможность предоставить убежище всем евреям, которые пожелают переехать из других стран. В эту автономную республику должны переехать все евреи, проживающие на территории СССР. Этим с самого начала будет дан нужный темп развития экономики, культуры, превращения первого еврейского государства нового типа в преуспевающий во всех отношениях центр создания и развития еврейской социалистической государственности.

Здесь с самого начала должны найти себе место евреи всех профессий, всех уровней образования: от рабочего и колхозника до академика. С самого начала должны быть завязаны тесные связи во всех областях и сферах экономики, культуры, социального развития с другими автономными республиками Российской Федерации и всех союзных республик. Все союзные республики, надеемся, придут на помощь вновь создаваемой Еврейской Автономной Республике. Через относительно короткое время эта республика явится об-

разцом решения национальных и культурных проблем. ЦК ВКП(б) считает, что ЕАК, в котором представлены лучшие люди еврейского народа, должен считать своей главной задачей в ближайшее время не только разьяснять, но и довести до самых широких кругов еврейского народа решение о создании ЕАССР и превратиться в рабочий аппарат, призванный подготовить осуществление этого исторического решения. Считаю, что мне оказана высокая честь выступить перед вами и вместе с вами начать практическое осуществление трудной задачи, которую выдвинула история. Мы стоим на крутом, решающем повороте в решении судеб народа, который принес так много жертв в недавней войне, в которой все народы СССР, все сыновья и дочери нашей страны показали, на что способны люди страны строящегося социализма. Советский народ разгромил всех врагов человечества, всех тех, кто готовил уничтожение еврейского народа. Советская страна теперь явит всему миру пример активной помощи этому народу в решении его исторических задач. Все вместе, вместе со всеми народами нашей страны, нашей великой Родины будем решать задачу создания еврейского автономного советского государства.

Первым с ответом на сообщение секретаря ЦК выступил член ЕАК Соломон Лозовский. Возможно, что право высказаться первым Лозовский присвоил себе не без оснований. По возрасту он был, вероятно, старше других, но в подобных случаях число лет от роду вряд ли решает. Лозовский был известным деятелем рабочего движения, в свое время он был председателем Профинтерна, интернационала революционных профсоюзов, и в этой роли был членом Исполкома Коминтерна, созданного в 19-м и ликвидированного во второй год второй мировой войны. В среде членов ЕАК Лозовский был наиболее известным политическим деятелем, долгое время был членом ЦК Компартии. Теперь, в связи с исключительным решением, принятым в самой высокой ин-

станции, руководством Компартии, Лозовский, возможно, считал себя обязанным первым откликнуться на это решение. Он сказал, что не имеет полномочий выступить от имени ЕАК, но считает себя обязанным изложить свое отношение к решению, о котором было сообщено секретарем ЦК, но это его личное отношение. Он напомнил, что больше 50 лет состоит под знаменем партии рабочего класса, два десятилетия был с Лениным. Еще на заре своей революционной деятельности и в России, и в эмиграции он твердо верил, что так называемые национальные проблемы еврейского народа могут быть решены только вместе с победой революции рабочего класса, социалистической революции. И сейчас его очень трогают заботы партии, к которой он принадлежит много десятилетий, об исторических судьбах еврейского народа.

На определенном этапе развития революции, начатой под руководством Ленина в октябре 17-го, после победы в самой страшной войне, угрожавшей самому существованию Советского государства, ЦК поставил и решает очень сложную проблему и, видимо, намерен держать совет с единственной организацией еврейской общественности в Советском Союзе, родившейся в самом начале войны и сыгравшей, как известно, очень большую роль не только внутри страны, но и в воздействии на общественное мнение за рубежом в пользу Страны Советов. Он, как коммунист, как член ЕАК, горд тем, что его партия проявляет так много забот о судьбах всех народов Советской страны, судьбах народов мира, об их интересах. На протяжении десятилетий он вел борьбу с националистическими партиями, пытавшимися отделить борьбу рабочего класса и трудовых масс еврейского народа от борьбы рабочего класса страны, в которой они родились, развивались, боролись против гнета царизма и господствующих классов.

После победы Октябрьской революции народы бывшей царской империи, жившие компактно на определенной

территории страны, по своей собственной воле обрели государственную самостоятельность и образовали единый СССР. Это было выражение ленинской национальной политики. Главной чертой этого процесса образования автономных республик, а затем и союзных социалистических республик надо считать обеспеченность наиболее благоприятных условий развития экономики, культуры, языка, искусства отдельных народов на территории, где они исторически осели компактно, где сложилось своеобразие национальных черт, традиций, где выросла исторически определившаяся национальная особенность этих народов. Процесс формирования союзных и автономных республик знаменателен тем, что он протекал на основе и вместе с укреплением единства советской государственности.

Каковы особенности исторического развития еврейского народа на территории, на которой вырос СССР? Нет ни одного сколько-нибудь значительного по своим границам района, в котором евреи жили бы компактно и составляли заметное большинство населения данного района и пользовались бы своим родным языком как исключительным языком общения даже в своей национальной среде. На какой же почве может быть создана Еврейская Автономная Республика? Где тот территориально обособленный район, который мог бы оказаться доступным для развития еврейской государственности, разумеется, в границах современного СССР? Остается искать такую территорию в отдаленных, малообжитых, малозаселенных окраинах нашей большой страны. Чем могут окраины привлечь разбросанные по всей стране массы еврейского населения? Неужели можно предположить, что можно, что удастся убедить эти массы, что это продиктовано их так называемыми национальными интересами? До сих пор еврейский народ, массы еврейского народа, родившиеся, выросшие, всеми корнями связанные с исторической судьбой, с многовековой борьбой русского, украинского, белорусского и других народов, считали, и не без осно-

ваний, что их судьба неотрывна от того, как развиваются народы, в среде которых они жили, трудились, развивались как граждане общей для них родины и, если видели в том необходимость, принимали в той или иной форме участие в развитии еврейской языковой культуры. Они знают, что не только в Конституции, но и в реальной действительности ни один из народов, живущих в Советской стране, ни один гражданин СССР не знает никаких национальных ограничений на всей территории его родины. Какие доводы могут убедить еврейские массы в необходимости покинуть места, в которых они живут, и вместе со своими семьями переехать в создаваемую ЕАО? Для чего и во имя чего должны они это делать? И если в ответ на советы поехать туда, мы услышим: „Спасибо за совет и за заботу о моих благах, предоставьте мне самому решить, как мне поступить“. Неужели мы должны сказать: „Ты обязан покинуть то место, в котором ты живешь, ты здесь не можешь оставаться“. Как к такому нашему заявлению относятся люди, привыкшие всерьез выслушивать решения верховных органов нашей страны и всерьез пытаться понять их смысл, их цель, их мотивы. Можно ли в оправдание такого решения сказать, что в отъезде еврейского населения в создаваемую ЕАССР заинтересована страна в целом и они, евреи, в интересах всех народов должны согласиться переехать? Нельзя придумать более бессмысленный довод. Нельзя объявлять о создании ЕАССР без того, чтобы представить себе все связанные с этим проблемы. И в первую очередь проблеме населения этой автономной области. Какие другие мотивы могут возникнуть не только в сознании тех, кто должен добровольно переехать в эту автономию, но и тех, кто должен их побудить к этому, какие доводы, кроме одного: сказать каждому, уезжай добровольно, а если не уедешь добровольно, ты уедешь по принуждению, ты обязан переехать? На этом могут быть закончены все доводы. Что касается меня лично, то я не считаю возможным выступить роли такого проповедника, каково в его личной судьбе не ждет ниче-

го, кроме презрения. Я привык со всей прямоотой говорить тогда, когда речь идет о важных проблемах, какие ставит перед нами наша эпоха. Думаю, что ЦК очень важно было выслушать доводы, предупреждающие о возможных последствиях проведения в жизнь проектов, затрагивающих судьбы не только отдельных народов нашей страны, но и будущее нашей социалистической системы. Это трогает каждого из нас. Чего я меньше всего опасался, это обвинения в том, что во всех своих доводах я исходил только из так называемых национальных интересов народа, сыном которого я продолжаю быть. Ведь для меня судьба этого народа уже много десятилетий неотделима от исторических судеб, от путей исторического развития класса, к которому я принадлежал, интересами которого я жил и продолжаю жить. Никогда я не был националистом, но с тех пор, как считаю себя осознавшим свой путь в жизни, я вижу смысл своей жизни в борьбе вместе с авангардом рабочего класса, с авангардом человечества за победу того общественного строя, за создание и развитие которого я вместе с партией, к которой принадлежу, делаю все, на что способен. Это обязывает меня оставаться верным этому знамени.

После Соломона Лозовского слово получил Перец Маркиш, председатель ЕАК. Маркиш - беспартийный, награжден орденом Ленина в годы после 1-го съезда советских писателей, в котором участвовал А.М.Горький. Он получил самую высокую награду вместе с группой писателей, поэтов, литераторов народов Советского Союза, прославивших литературу и этим самих себя. После гибели Михоэлса председателем ЕАК оставался Маркиш. Маркиш начал с того, что, хотя он формально и по существу считает себя ответственным за деятельность ЕАК, он здесь может выразить лишь свое отношение к тому, что было изложено в доверительном сообщении секретаря ЦК. Еврейский комитет, естественно, не имел возможности обсудить сделанное предложение

предварительно, это оправдывает необходимость изложить свою позицию. Об этом приходится только сожалеть. Но в одном случае считает себя обязанным говорить как председатель ЕАК, это в выражении огромной признательности ЦК Компартии на неизменную заботу о тех огромных задачах, какие стоят перед всеми народами нашей страны, перед народами страны социализма. Опираясь на опыт, накопленный страной и ее народами в строительстве социализма, новой общественной системы, ЦК партии ставит новую задачу перед еврейским народом, перед народом, жизненные интересы которого связаны неразрывно с успехами всех остальных народов СССР. Как председатель ЕАК, единственной общественной организации еврейского населения Советской страны, и от себя я выражаю благодарность ЦК, всей партии за то огромное внимание, которое уделяется еврейскому народу, более всех других народов пострадавшему в войне. Вместе с другими народами сыновья и дочери еврейского народа участвовали в борьбе против фашизма. И естественно, что в самом начале этой войны был создан ЕАК. Фашизм, разбойно напавший на Советский Союз, угрожал и ставил целью поработить все народы Советской страны. Этот гнусный замысел народы нашей страны встретили так, как только могут и должны поступать люди страны социализма. Не щадя жизни, все народы поднялись на защиту социалистической родины и разбили фашистские полчища, освободили захваченные районы нашей страны от гитлеровской чумы, помогли народам Европы восстановить свою государственность.

Для еврейского народа эта война имела и дополнительную черту, это была война против угрозы поголовного истребления евреев. Эта угроза превратилась в реальность там, где гитлеровцам удалось захватить, оккупировать территорию нашей и соседних стран. Евреи - воины Красной Армии вместе со всеми другими народами сражались за Советскую родину, защищали ее с оружием в руках. Евреи-воины, как и

весь советский народ, видели свою задачу в том, чтобы нанести поражение гитлеровской армии. Они спасали еврейский народ от угрозы поголовного истребления. Нет необходимости напоминать о трагической судьбе уничтоженных гитлеровцами евреев. Евреи не отделяли задачу спасения еврейского народа от поголовного истребления от поставленной партией перед всеми народами Советского Союза задачи отстоять свою Родину, свою независимость, отстоять социалистическую систему. У евреев - воинов Красной Армии, у всего еврейского народа во время войны не было лозунгов, отличных от лозунгов, которыми вдохновлялись все советские воины. Но в душе каждого воина-еврея жило и особое чувство - его вдохновлял лозунг борьбы за спасение своего народа от страшной угрозы поголовного истребления. Эта особая черта борьбы воинов-евреев против извергов фашизма нашла отражение в самой идее создания Еврейского антифашистского комитета, она прозвучала на первом большом собрании, созванном ЕАК в самом начале войны.

Комитет и его руководители, его первый председатель Шлойме Михоэлс уже в самом начале своей деятельности предприняли все, что было в их силах, чтобы мобилизовать всю энергию еврейского народа на активную борьбу против фашизма. Большую роль сыграла поездка руководителей ЕАК - Михоэлса и присутствующего здесь его заместителя Ицика Фефера - в США и другие страны. Мы помним, каких успехов добились они в том, чтобы склонить общественность западных стран в пользу оказания помощи советскому народу, который вел смертельный бой с фашизмом. Посланцы комитета поступили так, как должны поступать советские люди, как должны действовать сыны всех советских народов, - тем самым они поступили и как достойные сыны еврейского народа. Ибо помощь СССР - это и помощь еврейскому народу в его борьбе за само его дальнейшее существование как народа. Одно неотделимо от другого. И никому не удастся это опровергнуть, так же, как никому не удастся обосновать

утверждения, будто ЕАК - это просто национальная еврейская общественная организация, ограничивающая свою деятельность кругом забот о еврейском населении Советской страны. ЕАК сохраняет тот же самый статус, который был определен в момент его возникновения в начале войны. На всех этапах его деятельности, при самом активном участии самых широких масс еврейского народа его задачи были неотделимы от тех задач, которые стоят перед всей страной, перед всеми советскими народами, и он решал эти задачи вместе со всеми советскими народами.

Почему в начале войны оказалось необходимым создать ЕАК? Это оказалось необходимым в связи с особыми чертами борьбы еврейского народа, совместно со всеми другими народами нашей страны, с нависшей над страной смертельной угрозой. Теперь, когда еще не залечены раны, нанесенные войной, когда в бедственном положении оказалось значительное большинство еврейского народа, новые условия, по-видимому, требуют сохранения ЕАК. Что это за условия?

Большинство евреев, выживших во время войны, находятся далеко от тех мест, в которых они жили до войны, и теперь возвращаются из эвакуации. Это очень сложный и очень трудный процесс восстановления на старых пепелищах, возвращение к нормальной жизни, к работе в нормальных условиях, восстановления разбитых жилищ, восстановления очагов просвещения, культуры. Если бы всего этого не было, то, по-видимому, отпала бы и необходимость в сохранении ЕАК. Он существует, хотя резко изменился круг тех забот, каким занят этот комитет, но остались неизменными основополагающие черты, какие характерны для деятельности этого комитета. Раны, которые нанесла война всем народам, еще не залечены, и мы, члены ЕАК, чувствуем, что помощь в залечивании этих ран остается нашей главной заботой. Поэтому нас так трогают заботы, какие проявляет ЦК к нуждам еврейского населения. У меня, председателя ЕАК, как и у всего комитета в целом, об этом скажут и другие его

члены, нет иного представления, иных планов решения тех трудностей, с какими связано послевоенное восстановление - экономическое, культурное, социальное, демографическое - еврейского населения нашей страны, как только на путях упорного труда каждого человека, каждой семьи, каждого гражданина, считающего себя евреем, вместе, рука об руку с сынами и дочерьми всех других народов, на путях активного участия в решении всех задач дальнейшего развития нашей страны, ее социалистической экономики, ее социалистического строя, ее культуры, ее могущества. Нет и не может быть в нашей стране никаких ограничений, никаких исключений ни по признаку пола, ни по расовой и национальной принадлежности. Это знают все народы, это знают и евреи, они считают себя гражданами великой страны, строящей социализм, здесь их родина, с ней они связывают свое будущее, будущее своих детей, будущее своего народа, его культуры, его самосознания. Я говорю об этом не только как один из членов ЕАК. Я считаю себя еще и участником сложного процесса сохранения и развития еврейской культуры. Она растет вместе с культурами других народов нашей страны, она остается национальной по языку, она изменяется вместе с тем, как изменяется весь строй жизни народа, как развивается идеология человека, строящего социалистическое общество. Культура народа теснейшим образом связана с его историческими корнями, с его традициями, с его подъемом на новые социальные высоты. Культуру нельзя оторвать от вековых привязанностей народа, культура хорошо знает свою родину, вместе с народом она черпает в его соках те силы, без которых не может жить народ, не может жить его культура. Культуру нельзя переместить, перевезти из одного места в другое. Отдельные люди могут менять место, но они не могут менять родину. А в культуре не вырешь ни одного кусочка, который может продолжать развиваться в отрыве от всей культуры народа. Во внешних чертах процесса труда рабочего на заводе, колхозника на трак-

торе может оказаться трудным различить национальные черты, разве только по этнографии. Здесь может показаться, что нет никаких национальных привязанностей, никаких национальных особенностей. Но стоит всмотреться в поведение работающего, и выступают более или менее отчетливо выраженные черты национального различия. Что уж говорить о культуре, о внешнем ее проявлении, о внутреннем ее дыхании? Она неперевозима без того, чтобы ее переселить вместе с народом. Но в том-то и вся суть, что народ переселить нельзя, его нельзя оторвать от исторически сложившихся связей с родиной, с родной землей.

Мне предстоит явиться перед народом, который, не буду излишне скромно, знает мой голос, знаком с его звучанием, привык к его тембру, перед народом, дыхание которого я научился познавать, - это я хотел бы считать своей силой. Что я должен сказать этому народу? Неужели я должен сказать ему „лейх лехо“, архаическими звуками повеления „ступай себе“. Куда, почему, с какой целью? Может быть, это просто значит назвать станцию назначения. Но с каких пор я оказался в роли дежурного по маленькой станции в старину, который объявляет, куда уходит поезд? Почему? Что иное могу я сказать, кроме того, что объявить, что так приказано? Вряд ли этого ждет он, народ, от меня, а другое я сказать не могу. Разве кто-нибудь сочтет убедительным мой довод, что и я иду вместе с ним? Ведь „ступай себе“ относится ко всем, и никакого не может и не должно быть исключения. „С какой целью?“ Не окажется ли, что после моего ответа на вопрос: „Почему?“ - я услышу надрывный голос: „Если приказано - „ступай себе“ - и ты счел возможным передать это мне, можешь ли ты думать, что убедил меня, сообщив, что и ты идешь со мной, что другое я могу подумать о твоих намерениях, кроме того, чтобы заподозрить, что ты готов сделать второй шаг и по пути ударить меня ножом в спину“. Так ли неправ этот голос? Прийти к народу и сказать ему: „Собирайся, сту-

пай себе", - не звучит ли такой призыв криком, идущим рядом с ударом в спину народа. Ударить в спину народа я не могу.

Секретарь ЦК ерзал на стуле, но не оборвал Маркиша и дал ему досказать все до конца. Когда Маркиш закончил свое слово, секретарь ЦК объявил перерыв до следующего дня. Час будет сообщен по телефону.

Были отмечены пропускные листки, и приглашенные поспешно вышли из здания ЦК. Вскоре все они были взяты.

Известно, что все арестованные были расстреляны.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Идею создать Международный еврейский комитет для борьбы против фашизма первыми подали два известных деятеля польского Бунда - социалисты Эрлих и Альтер, лишь недавно перед тем освобожденные из советской тюрьмы. Осенью сорок второго года в куйбышевской гостинице они ожидали ответа на свое предложение, которое было передано самому Сталину. Сталин на их письме начертал такую резолюцию: „Расстрелять обоих”. Поздним вечером ноябрьского дня в номере двух бундовцев раздался звонок: обоих срочно вызывали к наркому внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии - „получен ответ на их письмо Сталину”. Живыми Эрлиха и Альтера больше никто не видел. А идею создания Еврейского антифашистского комитета подхватил Берия, и он же приставил к этому комитету „своего человека” из органов - стихотворца Ицика Фефера.

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) был создан в самом конце сорок второго года. Его председателем стал знаменитый еврейский актер Соломон Михоэлс, художественный руководитель Государственного еврейского театра, человек огромного обаяния и неиссякаемой энергии. В комитет вошли многие известнейшие деятели еврейской культуры. Комитет издавал свою газету, имел свое издательство, помогал чем мог жертвам нацистского геноцида. Широкую работу комитет вел за рубежом, поддерживал контакты с международными еврейскими организациями. В 1943 году

Михоэлс и приставленный к нему Фефер совершили триумфальную поездку по Америке и собрали миллионы для Советского Союза.

Нацисты истребили на советской территории около трех миллионов евреев, почти половину всего еврейского населения СССР. Помочь уцелевшим залечить кровоточащие раны, начать нормальную жизнь - в этом видел свою главную задачу Еврейский антифашистский комитет. У Михоэлса возник проект - просить правительство образовать Автономную Еврейскую республику в Крыму, где еще перед войной существовали еврейские колонии. В руководстве ЕАК возникли разногласия - Маркиш против этого проекта возражал. В конце сорок седьмого года Полина Жемчужина (жена Молотова) устроила встречу Михоэлса с Молотовым и Кагановичем, Каганович предложил подать „крымский проект” на имя Сталина. А 13 января Михоэлс был убит в Минске. Распоряжение о командировке в Минск ему передал личный секретарь Сталина Поскребышев. Поздно вечером его и театрального критика Голубова-Потапова так же, как шестью годами раньше Эрлиха и Альтера, вызвали из гостиницы телефонным звонком. Официальная версия гласила, что произошел „несчастный случай”. В оборот эту версию пустил сам организатор убийства в Минске. Много лет спустя Светлана Аллилуева вспомнила о случайно подслушанном разговоре отца. „Да, да, автомобильная катастрофа”, - уверенно диктовал он по телефону, давая „нужную формулировку” гибели председателя ЕАК. И в официальную версию многие поначалу поверили. Но не Перец Маркиш. „О, вечность, я на твой поруганный порог иду зарубленный, убитый, бездыханный!” - вложил он эти вешние слова в уста Михоэлса в своем посмертном стихотворении памяти великого артиста. Обезглавили Еврейский антифашистский комитет, обезглавили еврейский театр, обезглавили еврейскую культуру. Это был первый, далеко рассчитанный удар.

...И вот они, соратники Михоэлса, сидят в кабинете на Старой площади и ждут, что скажут им в ЦК. От его имени к ним обращается сталинский порученец, делающий быструю карьеру партийный функционер Суслов. Обкатанными фразами он говорит о жертвах еврейского народа в минувшей войне, о заботе партии и правительства о советских евреях, о поддержке, которую Советский Союз оказал новому государству Израиль. И тут же, почти без перехода, они слышат нечто совсем иное, прямо противоположное только что сказанному: „Государство Из-

раиль оказалось враждебным государством, оно ведет еврейский народ к гибели". „Надо создать на с т о я щ е е еврейское государство” - на окраине Сибири, в Биробиджане. И вслед за этим следует „категорический императив”: в э т о н а с т о я щ е е еврейское государство должны переехать все евреи, проживающие на территории СССР. Предвосхищена и реакция, которую от них ждут: „Многочисленные представители еврейского народа с энтузиазмом восприняли эту идею”. И указана их новая роль: „Еврейский антифашистский комитет должен подготовить осуществление этого исторического решения”. *Moment de la verite!* Вот она, реакция на „крымский проект”, вот подлинная официальная позиция в отношении Израиля. Двух мнений быть не может - евреев хотят силой загнать в новое гетто на край света, чтобы там их было проще изолировать и уничтожить. А руководителям Еврейского антифашистского комитета предлагают выполнять роль подручных в этом деле. Ясно, что вердикт окончательный и отмене не подлежит, он спущен из самого высокого кремлевского кабинета. Но, может быть, есть хоть какой-то шанс спасти положение. Быть может, не все еще потеряно, надо попробовать найти убедительные контраргументы. И они пытаются это сделать.

Берет слово Лозовский, один из последних могикан - старых большевиков, в недалеком прошлом начальник Совинформбюро и член ЦК, еще недавно вхожий в высокие коридоры власти. За Лозовским его партийный авторитет и репутация одного из соратников Ленина (много ли, впрочем, это значило в т о й ситуации?). Он пытается отвести беду ссылками на мудрую марксистско-ленинскую национальную политику, клянется в верности партийному знамени. Заранее отводит возможные обвинения в национализме. И находит в себе силы назвать идею выселения всех советских евреев в Биробиджан „бессмысленной”.

Беспартийному Маркишу сложнее. Временный руководитель Антифашистского комитета, возглавивший его после гибели Михоэлса, - беспартийный. Он начинает издали. Сетует на то, что комитет вовремя не предупредили и не было возможности обсудить предложение ЦК. Напоминает о катастрофе европейского еврейства в годы войны, о подвигах воинов-евреев, о преданности евреев советской родине, о самоотверженной работе Михоэлса. Вновь и вновь он повторяет набор трафаретных советских лозунгов тех дней о „заботе партии и правительства о еврейском народе”, о расцвете наций и народностей в Стране Советов. И оттачивает свою главную мысль: „Что я должен сказать моему народу?

Ступай себе? Куда, почему, с какой целью?.. Не звучит ли такой призыв криком, идущим рядом с ударом в спину народа? Ударить в спину народа я не могу”.

После заседания в ЦК Еврейский антифашистский комитет был ликвидирован, а его деятели арестованы.

Три с половиной года держали их в застенках Лубянки, пытали, домогаясь признаний в „буржуазном национализме”, „измене родине”, „шпионаже”, намерении „отдать Крым американцам”. Под пытками на следствии все они, кроме Шимелиовича, „признали” свою вину. На закрытом суде летом пятьдесят второго года их судила Военная коллегия, без прокурора и адвокатов. Все они, как один, от своих признаний отказались, даже Фефер, подыгрывавший следствию. Лозовский в последнем слове на суде назвал его „свидетелем обвинения”. А Перец Маркиш бросил в лицо судьям, когда оглашали смертный приговор: „Вы - фашисты! Нас убивают потому, что мы евреи!” Двенадцатого августа пятьдесят второго года все арестованные деятели Еврейского антифашистского комитета были расстреляны, за исключением академика Лины Штерн. ...Три с половиной года они были отрезаны от жизни тюремными стенами и до самой смерти не узнали, что „дело ЕАК” было только началом Большого еврейского погрома, развернувшегося после их ареста. Не узнали о закрытии Еврейского театра и уничтожении набора Черной книги, в которой рассказывалось о гитлеровском геноциде против советских евреев. Не узнали об антисемитской кампании борьбы с „космополитизмом”. Не узнали об антиссионистском процессе Сланского.

Уже без них затеялось „дело врачей-вредителей - „убийц в белых халатах” и началась практическая подготовка к отправке всех евреев в Сибирь, идею которой перед ними развивал Сулов. И уже без них умер Сталин - главный инициатор их гибели и всех перечисленных антиеврейских акций.

...На бойне, чтобы загнать упирающийся гурт скота под нож, выбирают послушного бычка, который, перебирая копытцами как ни в чем ни бывало, ведет за собой на гибель все стадо. Его называют „бычком-провокатором”. У руководителей Еврейского антифашистского комитета достало мужества отринуть эту роль.

Лев ШТЕРН

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

**„НЕ БЕЙТЕ МЕНЯ,
Я ЛЕЖАЧИЙ!“**

В один из последних дней февраля 1989 года в моем доме раздался телефонный звонок. На другом конце провода я услышал голос старого знакомого, Саши Серебрянникова, сотрудничавшего тогда с Международной литературной ассоциацией. Моей жене Оле он сообщил следующее: „У нас в конторе был Евтушенко. Ищет книгу Эдуарда „Поэзия русского рассеяния“. Мы найти ее не можем. Евтушенко завтра утром улетает обратно в Москву. Очень просил ему помочь в составлении антологии. С текстами стихов зарубежных поэтов у него настоящий прокол. Я дал ему номер вашего телефона, он вам сам позвонит. Помогите ему, ребята!“

Почти незамедлительно последовал второй звонок из Нью-Йорка. Собеседником жены на сей раз был сам Евтушенко. Ему легко удалось установить дружеско-доверительный тон разговора, кончившегося „панибратским“ - Оля-Женя. Поэт просил нас обязательно приехать к нему сегодня

вечером, привезти стихи поэтов-эмигрантов, чтобы над ними сообща поработать, и буквально вымолил один из последних экземпляров книги „Поэзия русского рассеяния 1920-1977“.

Сам я в это время был в Массачусетсе по делам издательства. Оля связалась со мной, и все завертелось вокруг просьбы Евтушенко. Через несколько часов мы уже были по пути в Нью-Йорк, а с собой везли приблизительно двадцать ксерокопий редчайших поэтических сборников.

В своем гостиничном номере Евгений Евтушенко встретил нас радушно и тепло. От его позы и напыщенности, которые отчетливо проявляются во время выступлений поэта, не осталось и следа. Очень скоро последние барьеры, разделявшие нас, улетучились, и до конца встречи нас не покидало ощущение, что с Женей мы давнишние, настоящие друзья. Естественно, все наши разговоры велись вокруг горестных судеб поэтов-изгоев, их неизвестного литературного наследия. За это время в номере то появлялись, то исчезали какие-то люди. За ненужностью поэт попросил уйти из гостиницы переводчика - профессора Тодда, правда, тот нас потом все-таки „настиг“ в ресторане, очевидно, десятым что ли чувством почувствовав, что Евтушенко угощает. Из издательства „Вайкинг студио букс“ поэту принесли один из первых экземпляров его книги „Разделенные близнецы. Аляска и Сибирь“. Это фактически собрание замечательных фотографий Евтушенко и американца Бойда Нортон. Пожалуй, мы были первыми, так называемыми рядовыми читателями, которые ознакомились с этим прекрасным изданием.

В течение всего вечера и части ночи Евтушенко старался буквально вдолбить в меня мысль о том, что у него практически в запасе всего лишь шесть месяцев, и за это время он сумеет издать антологию стихотворений поэтов-эмигрантов. Если же эти сроки не будут использованы, то поезд уйдет и исчезнет из вида навсегда... Признаться, мы были потрясены вниманием Евтушенко к незнакомым ему лично поэтам русской диаспоры, его желанием увековечить их память, вер-

нуть их стихи отечественному читателю. И верилось нам, что все это предельно искренно. Правда, я заметил поэту, что со стихотворением Александра Гингера „Имя” он в своей рубрике в „Огоньке” „Русская Муза 20-го века” поступил, к сожалению, беспардонно - просто исказив его и лишив это сильное стихотворение всяческого смысла. На это он лишь махнул рукой: „Каждый раз воевать с редакцией и мне не под силу. Они сильнее меня и творят, что хотят!”

Во время нашего обмена мнениями выяснилось, что зачастую наши поэтические пристрастия совпадают. Я высоко ценю поэзию Странника, любит его стихи и Евтушенко. Я посвятил целую книгу творчеству Лариссы Андерсен - „Остров Лариссы” (с двумя „с” пишет свое имя сама поэтесса), творчество бывшей „китаянки”, по мнению Евтушенко, представляет большой интерес. Тут же поэт рассказал нам забавную историю своего знакомства с Лариссой Андерсен на... Гаити. Как и меня, раздражает Евтушенко холодность Валерия Перелешина. Не сошлись мы во вкусах лишь на Игоре Чиннове и Иосифе Бродском.

На проработку (очень поверхностную) моей книги „Поэзия русского рассеяния 1920-1977” у нас ушло часа три. Почти о каждом поэте-изгнаннике я давал Евтушенко маленькую справку или указывал источник информации. Все, сказанное мною, скрупулезно записывалось. Мы преподнесли Евтушенко воистину царский подарок: около двухсот неизвестных ему стихотворений эмигрантских поэтов, книгу Т.Фесенко „Содружество” - антологию стихотворений поэтов „второй волны”, которая снабжена богатейшим библиографическим аппаратом. Евтушенко клялся, что в одной из первых же после его возвращения в Союз публикаций он отдаст должное и моему вкладу в дело сохранения поэзии изгнания. Конец нашей встречи прошел уже под знаком более земных вещей, о них и рассказывал Евтушенко. Оказываясь, он сам должен был платить за свой номер, а это „кусается”. Правда, ему удалось получить какую-то небольшую

скидку, но 75 долларов в сутки, и мы с этим согласились, довольно много даже для именитого советского поэта. Успел похвастаться Евтушенко и своим библиофильским приобретением - всего лишь за 500 долларов он купил комплект берлинского журнала „Жар-Птица”. Позавидовал я тогда поэту: недавно и мне предлагали купить такой комплект, но за 2,5 тысячи долларов...

Часа в три ночи мы расстались. На прощание Евтушенко подарил нам свой последний маленький американский сборничек стихотворений. Мы договорились, что будем поддерживать контакт через его переводчицу, милейшую и добрейшую Нину Буис.

Дни, как и публикации Е.Евтушенко в „Огоньке”, потянулись своим чередом. Многие „свои” стихи я не узнавал: им отрубала „голову” гильотина публикатора. И вот однажды я не выдержал: беспардонная ложь Евтушенко окончательно вывела меня из себя. Я отправил на имя господина Коротича письмо в „Огонек”. Оно не было опубликовано, ответа тоже не последовало, поэтому считаю себя вправе предать его гласности.

„ПОЭЗИЯ ЗАРУБЕЖЬЯ НА СТРАНИЦАХ „ОГОНЬКА”

Обещание, данное Георгию Иванову Музой, сбылось: он все-таки вернулся в Россию стихами. Еще „вчера” его друг, поэт Игорь Чиннов, грезил:

**Приятный сюрприз будет, если Россия
Эмигрантских поэтов почтит... потом.**

Условно-уступительное „если” стало реальностью и прежде всего в значительной степени благодаря журналу „Огонек”, а еще точнее - популяризаторской деятельности Евгения Евтушенко. Страница журнала „Русская Муза 20-го века” позволяет нам сказать о поэтах зарубежья словами Ольги Скопиченко:

**Вернись к тебе не изгнанным изгоем -
Строителем вернись в твои поля...**

Казалось бы, что журнал, преодолев всевозможные преграды, будет и в дальнейшем сеять, если и не „вечное“, то во всяком случае „разумное“. Увы, это не так. Недавно, например, на страницах эмигрантской прессы довольно широко обсуждалась „работа“ Е.Евтушенко над стихотворением Александра Гингера „Имя“. Советский поэт самовольно четвертовал прекрасные стихи, превратив их в лишенный смысла обрубок.

И вот новые „открытия“. В № 18 журнала от 29 апреля он заявляет: „О Е.Рубисовой ничего не удалось узнать, о С.Прейгель - тоже. Полного справочника эмигрантских писателей не существует...“ Во-первых, поэтессы Прейгель в эмиграции никогда не было, а творила Софья Прегель. Во-вторых, Евтушенко знает, что в классической антологии „Содружество“ (Вашингтон, 1966) приведены автобиографии и О.Рубисовой, и С.Прейгель, а следовательно, их нужно использовать. Кстати, библиографический аппарат этой антологии я подробно обсуждал с поэтом во время его последнего пребывания в США.

Искажает истину Е.Евтушенко в главном. В эмиграции существует целый ряд справочников-библиографий. Прежде всего это работа Л.А.Фостер „Библиография русской зарубежной литературы 1918-1968“. Труд М.Шатова „Полвека русской периодики 1917-1968“, монументальный том „Русская эмиграция. Сводный указатель статей“, наконец, и моя скромная работа „Поэзия русского рассеяния 1920-1977“.

И последнее: в вышеуказанной подборке Е.Евтушенко опубликовал стихотворение В.Ропшина (Борис Савинков) „Гильотина“. Напомним, что посмертный сборник поэта „Книга стихов“, вышедший в 1931 году, подготовила к печати Зинаида Гиппиус. Она же автор предисловия, после прочтения которого Е.Евтушенко должен был бы воздержаться от своей пустопорожней врезки.

Э.Штейн

1 августа 1989 года. Оранж, Коннектикут

Прошло почти два года. Как-то вернувшись домой, я заметил мигающий красный огонек автоответчика. Приятный на слух тембр голоса извещал меня: „Эдуард, говорит Женя, Женя Евтушенко. Я сейчас с женой в Филадельфии. Наш номер телефона такой-то, такой. Перезвоните, пожалуйста, если получится. Привет Оле!“ Я решил связаться со знаме-

нитым поэтом России и высказать ему все, что о нем думаю. Не успел я открыть рот, как меня буквально захлестнули тирады Евтушенко: „Не бейте меня, я лежачий! Сейчас все лежачие, Россия лежит... Все ваши материалы я потерял и записи тоже. Я ничего не помню... Неужели вы мне все это дали? Эдуард, простите, но получилась какая-то нелепость. Давайте лучше встретимся и вместе поработаем. Пригласите меня к себе денька на два, вместе и почитаем стихи...“ (У меня крупнейшее в Америке собрание сборников стихов поэтов-эмигрантов.) И вдруг я почувствовал моральное опустошение: не было ни злобы, ни желания продолжать этот глупо-лживый разговор. Правда, я все же кое-как выдал из себя одну информацию. Оказывается, Евтушенко и Тодд нигде не могли найти дату рождения Елены Щаповой. И опять почти братские нотки в голосе Евтушенко: „Я жду вашего звонка и приглашения...“ Нет, не стал я больше звонить поэту. Как любил повторять мой литературный учитель Аркадий Белинков: „Без меня!“ Без меня, Евгений Евтушенко, ведите свою рубрику в „Огоньке“, без меня издавайте свои антологии, без меня дурачьте своих читателей, без меня, без меня!

Э.Штейн

2 июля 1991 года, Оранж,
Коннектикут

МИР, В КОТОРОМ ЖИЛ „МАЛЬЧИК МОТЛ”

Среди множества наших утрат мы как-то почти и не заметили гибели целого большого пласта жизни, целого мира - российского еврейства, в течение девяти веков обитавшего на наших западных землях, в XVIII веке присоединенных к обширной Российской империи. Воистину горестной была его судьба - с пресловутой „чертой оседлости”, гонениями, дикими погромами, бесправием. Мерил ли кто-нибудь меру страданий еврейского народа, в массе своей нищего, сбившегося в тесноту жалких убогих „местечек”, вроде знаменитой „Касриловки” Шелом-Алейхема?

Исчезла „Касриловка”, но она успела оставить миру свои поэтические образы - своих старцев в полосатых талесах, своих романтических влюбленных, животных с таинственными человеческими глазами, которых так великолепно запечатлел М.Шагал. Она родила С.Михоэлса и А.Тышлера, И.Бабея, Л.Квитко, Л.Каплана... К этой же плеяде русско-еврейских мастеров принадлежит и Григорий Бениционович Ингер.

Как и все упомянутые мастера, он сочетает в своем творчестве интерес к общечеловеческой, мировой, русской культуре со специфически еврейскими чертами жизни и быта. Интонации его графики близки звучанию всего искусства XX века, круг тем обширен. Значительный раздел в его творчестве занимает музыка, образы Бетховена, Шостаковича, Паганини. Много графических листов отдано Чарли Чаплину. Обширный цикл иллюстраций посвящен Дон Кихоту, представляя необычную, оригинальнейшую трактовку великой книги Сервантеса.

Графический язык Ингера вобрал в себя богатство художественных исканий русской графики с ее свободой, мастерским использованием черного и белого цветов, смелой живописностью и точностью рисунка тушью, черной акварелью.

А вместе с тем неумолкающей нотой звучит вот уже 60 лет в искусстве Ингера неповторимая еврейская мелодия - шемящая, веселая, нежная, причудливая, - родственная поэтике Шелом-Алейхема, „Фрейлехсу” в постановке Михоэлса. Иллюстрации к „Мальчику Мотлу” и к „Народным еврейским песням” - лучшее ее воплощение.

В листах Ингера воскресает исчезнувший мир еврейской „черты оседлости”. В нем много жалкого и смешного, уродливого и нелепого, но за гротескными, характерно-анекдотическими его чертами проступает тысячелетняя жизнь народа во всей ее горестной и мудрой правде. Как у большинства еврейских художников, будь то Шагал, Тышлер, Каплан, этот мир встает у Ингера не в конкретной своей натуральности, а как далекое видение детства, как пестрый сон, как детский рисунок, словно бы сам маленький Мотл попытался проиллюстрировать свой рассказ живописными яркими картинками. Обращение к детскому ри-

сунку - нелегкий и рискованный для художника прием: здесь очень легко впасть в стилизацию, холодно и внешне воспроизвести лишь неумелость ребенка, его художественное „косноязычие”. Но у Ингера - и в этом подлинная уникальность его работы - „детскость” оказалась органичной, естественной. Кажется, что старый художник, обладающий блестящим мастерством, властвующий над всеми техниками рисунка, действительно перевоплотился в ребенка, снова стал тем Гершелем, что когда-то, в какой-то иной жизни, бегал с другими Гершелем и Мотлами по сонному городку, нарушая тишину летнего украинского дня звонкими мальчишескими голосами.

Человек на редкость музыкальный, лишенный тяжким недугом возможности слушать музыку, страстно им любимую, Ингер сумел в своих работах на темы Шелом-Алейхема создать поистине „цветомузыку”, передать ощущение звонкой ликующей песни. „Ах, если бы моя мама была хорошей мамой, она сделала бы меня музыкантом”, - мечтает Мотл. Но, по понятиям местечка, работа музыканта, как и работа ремесленника, недостойна мальчика „из хорошей семьи”, сына кантора. Своя, местечковая спесь, свои сословные предрассудки...

При всей примитивности „детского” рисунка узнаваемым и очень привлекательным предстает перед нами герой - мальчик Мотл с огромными черными глазами, тонким горбатым носиком и оттопыренными ушами. А вместе с ним оживают и добрая толстуха Песя, и криволицый Менаше-фельдшер, и рыжая Броха, и множество других обитателей богом забытого городишки, от которого 45 верст до железной дороги. И невольно улыбка соединяется с горечью при виде семьи, тесно сгрудившейся под висячей керосиновой лампой вокруг голого стола, на котором сиротливо лежат единственная рыбка и два пера зеленого лука...

Рисунки на темы еврейских песен и близки иллюстрациям к „Мальчику Мотлу”, и резко от них отличаются. Это острые, прекрасно нарисованные тушью легкие наброски, одной линией, двумя-тремя пятнами обрисовывающие фигуры, типы, на редкость точные и живые в своей образной характеристике. Сидящий на столе портной, худой, большеглазый, похожий на какую-то встревоженную длинноклювую птицу; музыканты, самозабвенно погруженные в свою игру - маленький скрипач с удивленно поднятыми круглыми бровями и темнолицый бородастый контрабасист; одиноко пляшущий в своей каморке еврей в длинном лопсераде - все разные, неповторимые.

Но при всей своей на этот раз безукоризненной реальности рисунка, нас не оставляет ощущение поэтической дымки, призрачности, зыбкости воссозданного художником мира, едва проступающего тонкими линиями из белизны листа бумаги.



„Мальчик Мотл“ 1974



„Мальчик Мотл“ 1975



„Мальчик Мотл“ 1975



Рисунки на темы еврейской народной поэзии



Рисунки на темы еврейской народной поэзии



Рисунки на темы еврейской народной поэзии



Рисунки на темы еврейской народной поэзии



Рисунки на темы еврейской народной поэзии

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК. Родился в 1945 году в Москве. Изучал живопись в художественной школе для юношества, а затем тополию в Московском университете. Сотрудничал в журнале „Театр“. Эмигрировал в 1975 году в Израиль, где был режиссером первого русскоязычного театра-студии при Иерусалимском университете, а затем был приглашен работать на Би-би-си и переселился в Великобританию. Живет в Лондоне. Автор повестей и романов: „Извещение“, „Уклонение от повинности“, „Перемещенное лицо“, „Ниша в Пантеоне“, „Русская служба“, „Русофобка и фунгофил“. Проза Зиника переведена на английский, французский и другие европейские языки. Как рецензент и критик постоянно сотрудничает с Би-би-си и лондонскими периодическими изданиями.

АНДРЕЙ КУТЕРНИЦКИЙ. Драматург и прозаик. Родился в 1948 году в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградское мореходное училище. Работал мотористом в Балтийском морском пароходстве, инженером, участвовал в археологических экспедициях. Автор пьес „Еще не вечер“, поставленной в Московском драматическом театре имени Станиславского (1974), „Нина“ - во МХАТе (1975), романа „Сочетание браком“ (1988), вышедшего в „Советском писателе“, и др. В журнале „Время и мы“ была опубликована повесть А.Кутерницкого „В сумерках, в одиночестве“.

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. См. вступительную заметку Юрия Дружников.

МИХАИЛ КРЕПС. Родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. Работал преподавателем английского языка и литературы Института имени Герцена. В СССР не печатался. В 1974 году эмигрирует в Соединенные Штаты Америки и начинает широко публиковаться в русскоязычной прессе. Автор ряда книг. Профессор русского языка и литературы. Постоянно живет в Бостоне.

ЛЕОПОЛЬД ЭПШТЕЙН. Родился в 1949 году в Виннице. По образованию математик, окончил Московский университет. С 1971 года, до эмиграции, жил в Ростовской области, работал научным сотрудником, преподавал в Ростовском университете и Новочеркасском политехническом институте. В 1985 году был уволен с работы по представлению КГБ и в связи с делом Н.А.Ефремова. Работал дворником, кочегаром и монтировщиком в театре. В 1987 году эмигрировал в США, живет в Массачусетсе, работает в компьютерной компании. Стихи пишет в течение 25 лет, публиковался в журналах „Континент“, „Стрелец“, „Дон“, „Весы“, альманахе „Поэзия“.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: „Ядро ореха“ (1965), „Обрученный с идеей“ (1971, 1986, 1988), „30-е - 70-е“ (1978), „Лев Толстой и кинематограф“ (1980), „Лесковское

ожерелье" (1982, 1986), „Локти и крылья" (1990), „Билет в рай" (1989) и многие другие.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. Родился в 1965 году. Окончил юридический факультет МГУ. Работает литсотрудником журнала „Диалог", постоянно выступает на страницах московской периодической печати. С 1991 года - представитель журнала „Время и мы" в Москве.

ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД. Родился в 1928 году. В 1953 году студентом Московского педагогического института имени Потемкина был арестован, получил 10 лет ссылки, а в 1955 году был реабилитирован. В 1957 году окончил Педагогический институт имени Ленина в Москве и до 1968 года работал в школе, откуда был вынужден уйти потому, что подписал письмо в защиту Гинзбурга и Галанскова. К этому времени уже выступал со статьями и рецензиями в московских газетах и журналах, а в театре „Современник" шла в его переводе героическая комедия Э. Ростана „Сирано де Бержерак". Начиная с 1973 года на Западе выходят две книги стихов и прозы „На грани острой" и „Високосный год". В 1982 и 1984 годах в издательстве „Чалидзе публейшен" было опубликовано двухтомное исследование Айхенвальда „Дон Кихот на русской почве". В СССР до последнего времени печатались только театроведческие работы, а сейчас начинают публиковаться стихи.

Ю.КАГАН. Кандидат филологических наук, независимый литератор. Более двадцати лет преподавала латинский язык в Московском государственном институте иностранных языков им. Мориса Тореза. Автор ряда работ по античной и русской литературе, среди которых: „Генрих Бебель. Фацети" (перевод с латинского языка и комментарии). „Томас Мор. Письмо к монаху" (перевод с латинского языка и комментарии). „Томас Мор. Письмо к Дорпу" (перевод с латинского языка и комментарии к книге „Томас Мор"). „Эразм Роттердамский. Философские произведения" (перевод с латинского языка и комментарии) и др.

В.ЛЕМПОРТ. См. его воспоминания „Эллипсы судьбы".

ЯКОВ СИМКИН. Родился в 1922 году, доктор филологических наук. Занимается педагогической и научной деятельностью более сорока лет. Был профессором Среднеазиатского и Ростовского университетов, опубликовал четыре монографии и свыше 150 работ в журналах и сборниках. Автор книг: „Дмитрий Писарев. Личность и публицистика", „Сатирическая публицистика", „Семь лет из жизни А.П.Чехова" и других.

ЛЕОНИД КРАСИН. См. предисловие Юрия Фельштинского к „Письмам Красина".

ИРИНА МИХАЙЛОВА. См. вступительную заметку к публикации.

SUMMARY for Vremya i My No. 113

ZINOVY ZINIK, *The Road Home*. A short novel about a meeting between a Russian emigre in London and his father, who came from the USSR—a meeting of two worldviews, two worlds. The author takes us into the past of the father and the son, and shows that even today this past lives on in their minds and continues in many ways to shape their psychology.

ANDREI KUTERNITSKY, *Without Love*. A psychological short story about an encounter between a young man and a young woman. The writer focuses on the emptiness, banality, and uselessness of human life in the USSR.

ELENA AXELROD, *Lyrical poetry*.

MIKHAIL KREPS, *Modern verses*.

LEOPOLD EPSTEIN, *Modern verses*.

LEV ANNINSKY, *Glasnost and the Russian People*. A well-known contemporary Russian critic and political analyst studies the Russian national character, showing what the era of freedom and openness means to the Russian and how this new era affects their psychology and their behaviour.

ANDREI KOLESNIKOV, *The Press of the Party Drawing-Rooms*. A colourful picture of the newspaper revolution in today's Soviet Union. Ideological bite and partisanship invariably accompany the birth of virtually every new publication.

YURI AIKHENVALD, *The Slaying of the Dragon*. A historical and literary essay chronicling the persecution to which one of Evgeny Shvarts's best plays, *The Dragon*, was subjected by the Writers' Union of the USSR.

YURI KAGAN, *The Rozanov Phenomenon*. A critical assessment of the life and work of the turn-of-the-century Russian

philosopher Vasily Rozanov, and a look at the anti-Semitic motives that permeate many of his works.

V.LEMPORT, *The Ellipses of Fate*. Reminiscences about well-known Russian literary figures and artists of the Stalin and Khrushchev years.

YAKOV SIMKIN, *Bogrov and Stolypin*. A historical essay that attempts to revize Solzhenitsyn's and some other writers' views of Dmitry Bogrov, the man who fatally shot Stolypin. In this writer's view, Bogrov did not change or arrest the development of Russian history; rather, he hastened its progress by removing Stolypin.

Revolutionary, Terrorist, Businessman. L.B.KRASIN's letters to his wife and children.

From the correspondence of IRINA MIKHAILOVA: the life and mores of Soviet society.

Conference Before Murder. Previously unknown facts about the conference of the Central Committee of the Communist Party which considered Stalin's project of a "final solution" of the Jewish problem in the USSR. The execution of members of the Jewish Anti-Fascist Committee followed immediately after the conference.

EMMANUEL SZTEIN, *A Literary Find* by Evgeny Yevtushenko. A letter to the editor alleges an unethical action by the well-known Soviet poet.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 16 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 111

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и вышедшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость **ВСЕГО ИЗДАНИЯ** в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеуказанные благотворительные цели.



E. Sztein's Antiquary

PUBLISHING AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
594 CHESTNUT RIDGE RD. ORANGE, CT 06477-U.S.A.
Phone (203)387-0597

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

АРСЕНИЙ НЕСТЕРОВ

БЕЗ

РОССИИ



АНТИКВАРИАТ 1990

СТР. 480.

ЦЕНА

35 ДОЛЛАРОВ

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора.

Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу это — исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде, чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$18.

Заказы и чеки высылать по даресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605.

ALMANAC PANORAMA

панорама

**The largest independent
American Russian publication**

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Поповец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

ГЛОБУС. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

ПУБЛИЦИСТИКА. В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ АВС, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман /Лос-Анджелес/, П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин /Нью-Йорк/, М. Лемкин /Сан-Франциско/, Д. Савицкий /Европейская хроника-/, В. Пазарис, Ю. Шаргородский, Э. Копелювич /Израиль/.

ЛИТЕРАТУРА. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саша Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

ЮМОР. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33,00, полугодовой — 18,00 дол. Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и выслать его в адрес издательства «Альманах»:

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прочту подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА» на срок ...12 мес./33,00 дол./
...6 мес./18,00 дол./

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64,00 дол.

Чек /мони-ордер/ на сумму дол. прилагаю.
Газету прошу направлять по адресу:

Имя _____ Телефон: _____

Номер дома Улица _____ Город _____ Штат Зип-код _____

panorama American Russian weekly

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ
ВОЗНЕСЕНИЕ
ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.

Книгу можно заказать в издательстве OPI
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU, England
или в книжном деле

A. Neimanis
28 Bauerstrasse
8000 Munich 40, West Germany

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги - 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль;
Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк;
«Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол;
Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному ев-
рею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили...
Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про
Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Ле-
фортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать
и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1991

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов;
с целью экономической поддержки редакции — 69 дол-
ларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американ-
ских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и
высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на....год. Высылать
с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

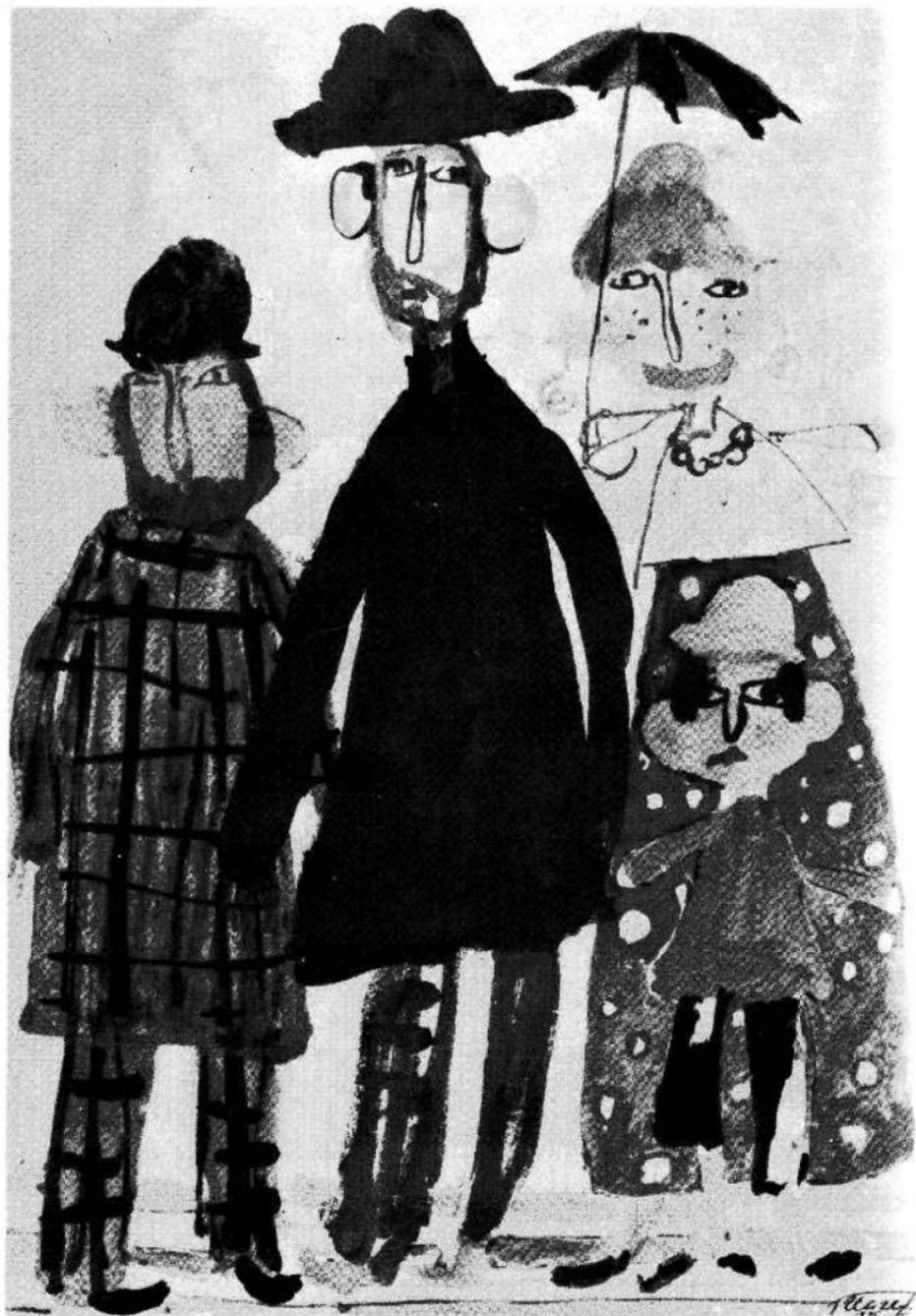
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

Набор, изготовление оригинал-макета выполнены ИПО „Автор”
123423, Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, корп. 1.
Тел.: 943-90-91

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Материалы Вернисажа „Время и мы” подготовлены
Галереей „Московская коллекция”.

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки Н.: Григорий Ингер
„Мальчик Мотл”, 1975**



1944